МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

6•1981

МАТЕРИАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 40-ЛЕТИЮ ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ, ЧИТАЙТЕ НА СТР. 170.

В памяти навсегда...

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал ЦК ВЛКСМ

6 • 1981

Основан в 1922 году

В НОМЕРЕ:

К 40-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

А. П. БЕЛОБОРОДОВ, генерал армии, дважды Герой Советского Союза. **Завещано историей** 3

РАССКАЗЫ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Надежда ПЕТРУНИНА. **Сдвинутое сердце.** Шакро РОМАНАДЗЕ. **Возвращение.** Перевел с грузинского А. Ким. Андрей КРИВОШАПКИН. **Белый олень.** Перевел с эвенского Александр Подмогильный 9

ПЕРЕКЛИЧКА МОЛОДЫХ ПОЭТОВ

Час присяги. Анатолий ВЕРШИНСКИЙ. **Родство.** Олег ИГНАТЬЕВ. **«Замер строй...».** Анатолий СУЗДАЛЬЦЕВ. **«Прижимаюсь губами...».** Борис ПОПОВ. **Вечный город.** Петр ПЕРЕБЕЙНОС. **Терновый платок.** Перевел с украинского Игорь Федоров. Евгений ЮШИН. **Тишина.** Стихи 36

НАШИ ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Михаил ТЕНЯКОВ. **Земные соки.** Стихи 41

Егор ИВАНОВ. **Негромкий выстрел.** Роман-хроника. Книга вторая. **Вместе с Россией.** Продолжение 44

Иван САВЕЛЬЕВ. **Земля живая.** Поэма 102

Михаил БУБЕННОВ. **Жизнь и слово.** (О времени и о себе). Окончание 127

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ «ТОВАРИЩ» 161

Суюнбай ЭРАЛИЕВ. **Благодарю великую природу.** Стихи. Перевел с киргизского Станислав Куняев 227

Георгий РЫЖЕНКОВ. **Высота.** Новеллы 230

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Анатолий ОМЕЛЬЧУК. **Города на память** 243

Никто не забыт, ничто не забыто

Виктор ИЛЬИН. **Не ищите их среди мертвых** 247

Анна ТИМОФЕЕВА-ЕГОРОВА, Герой Советского Союза. **Горячее небо.** Записки летчика. Предисловие Ивана Падерина 254

ИСКУССТВО

О. ВОРОНОВА. **К мышлению высокому и образному** 283

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЧАЛМАЕВ. **Зов вершин.** О молодых героях Петра Проскурина 294

НАШЕ ОБОЗРЕНИЕ

Л. ВУКОЛОВ. **Символ зрелости.** Леонид АСАНОВ. **На пути гражданственности.** Татьяна МАРУСЯК. **Становление.** Светлана ФЕДОРОВСКАЯ. **Живая душа природы** 309

Наш адрес:

125015, Москва, А-15, Новодмитровская ул., д. 5а. Телефоны редакции: приемная — 285-88-58; отдел прозы — 285-80-55; отдел поэзии — 285-88-40; отдел очерка и публицистики — 285-80-26; отдел критики — 285-80-14; отдел «Товарищ» — 285-89-66; секретариат — 285-80-16.

© «Молодая гвардия», 1981 г.

К 40-ЛЕТИЮ НАЧАЛА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

А. П. БЕЛОБОРОДОВ,
генерал армии,
дважды Герой Советского Союза

ЗАВЕЩАНО ИСТОРИЕЙ

День 22 июня занимает особое место в нашей жизни, в истории Советского государства. Ровно сорок лет назад фашистская Германия вероломно обрушила на нашу Родину свою чудовищную военную машину. Гитлеровцы без объявления войны прервали мирный созидательный труд советских людей и принесли им неисчислимые бедствия. По своему размаху, ожесточенности подобной войны человечество не знало. Она вошла в историю как самое крупное вооруженное столкновение социализма с ударными силами империализма и потребовала от Советского государства неимоверного напряжения всех экономических и моральных возможностей.

Изучая историю войны, мы получаем наглядное представление о том, как империализм развязывает агрессию вообще и агрессию против социализма в особенности.

Нападение на СССР готовилось долго и тщательно. В 30-х годах возникли два очага агрессии — фашистская Германия в Европе и милитаристская Япония на Дальнем Востоке. Избрав фашистскую Германию в качестве своего ударного отряда,

международный империализм помог ей развить военную экономику, создать необходимые условия для нападения на СССР. Германские фашисты не скрывали своих намерений. Получив пост рейхсканцлера, Гитлер 3 февраля 1933 года заявил, что лучшим вариантом завоевательной программы является «захват нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадная германизация».

Заключение западными державами «мюнхенской» сделки развязало руки Гитлеру. Перед Советским правительством встала задача предотвратить войну. Именно наша страна выступила тогда за решительный отпор фашистским захватчикам. Однако эта политика, отвечавшая жизненным интересам народных масс, встретила сопротивление Англии и Франции, которые стремились не к объединению против агрессии, а к тому, чтобы направить эту агрессию на Восток.

Советский народ не хотел войны. Ему навязали ее, вынудив взяться за оружие, чтобы отразить фашистское нападение.

Много времени прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Благодаря самоотверженному труду советские люди залечили раны, наша Родина добилась поистине величественных успехов в строительстве коммунизма. Но время бессильно изгладить из памяти события того героического прошлого.

Мне, прошедшему фронтовыми дорогами вместе с воинами стрелковой дивизии, стрелкового корпуса, общевойсковой армии, которыми довелось командовать, так же, как и всем, кто перенес суровые испытания войны, никогда не забыть этого прошлого.

Особенно суровые испытания выпали на нашу долю в начале войны.

Гитлеровцы располагали милитаризованной экономикой, в их руках оказался военно-промышленный потенциал и арсенал вооружения не только Германии, но, по существу, всей покоренной Западной Европы. Нацисты заранее отмобилизовали громадную армию, сосредоточили ее в приграничных районах и создали многократное превосходство в живой силе и технике на направлениях своих главных ударов. Уже в первый день войны из 190 вражеских дивизий, нацеленных против СССР, 117 вступили в сражение. При этом противник имел немалый боевой опыт. Немецко-фашистская армия того времени была самой могущественной армией капиталистического мира.

Известно, что эти преимущества врага носили временный характер.

Наша партия предвидела возможность нападения империализма, схватки с фашистской Германией и готовила страну, народ, Вооруженные Силы к противоборству.

В ходе строительства социализма, решая сложнейшие задачи индустриализации, коллективизации сельского хозяйства, проводя культурную революцию, партия одновременно делала все возможное для усиления обороноспособности Родины, закладывала фундамент нашей Победы. Но история отпустила нам слишком мало времени. Оно оказалось недостаточным для всесторонней подготовки к отпору врагу. В оценке возможного времени нападения гитлеровской Германии на Советский Союз были допущены известные просчеты Это, разумеется, создало для нас дополнительные трудности.

Используя фактор внезапности, немецко-фашистское командова-

ние вложило в свой первый удар огромную мощь. Одурманенные ядом шовинизма и расизма, легкими победами в Европе, полчища гитлеровцев и их сателлитов уже в середине июля глубоко вклинились на нашу территорию, вышли к Западной Двине и к Днепру. Всюду, куда ступала нога нацистов, лилась кровь, чинились насилия, совершались зверства, пылали пожары. Даже сегодня горько вспоминать ту пору. Но в памяти навсегда сохранились образы советских солдат, их беспредельное мужество и героизм, которые они проявляли с первых часов нападения врага на нашу землю.

Надуманны и абсурдны утверждения буржуазных идеологов, будто начало войны было для немецко-фашистских войск триумфальным шествием. Известно, что только за первые 22 дня войны гитлеровцы потеряли около ста тысяч человек убитыми и ранеными, большое количество танков, самолетов и другого оружия.

Недооценка гитлеровским генералитетом сил и возможностей Советского государства, морально-боевых качеств его армии сказалась очень быстро. К середине июля темпы наступления фашистских войск снизились в несколько раз. В ходе сражений на Западном, Юго-Западном и Северо-Западном направлениях в первые месяцы войны был нанесен серьезный удар пресловутой доктрине «блицкрига».

Бредовая идея «молниеносной» войны была окончательно похоронена на заснеженных полях Подмосковья. Разгром фашистских армий в битве под Москвой явился важным поворотным пунктом в ходе второй мировой войны и имел огромное военно-политическое значение. Народы всех стран воочию убедились, что в мире есть сила, способная сокрушить немецко-фашистскую машину.

Страна Советов, ее героический народ и доблестные Вооруженные Силы, руководимые ленинской партией, преодолев неимоверные трудности и лишения первого периода войны, неуклонно шли к победе над ненавистным врагом. Исторической вехой на пути к ней стала грандиозная Сталинградская битва. Важное политическое и стратегическое значение имела битва за Кавказ. Невосполнимые потери понесли гитлеровские войска на огненной Курской дуге, в крупнейших сражениях 1944 года, в результате которых немецко-фашистские захватчики были полностью изгнаны с территории нашей страны.

Советские Вооруженные Силы своими активными действиями подорвали физические, материальные и морально-психологические устои вражеской армии. Тем самым создались благоприятные условия для действий американских и английских войск на Западном и Средиземноморском военных театрах. Советский народ, наша армия, сломав бронированный хребет врага, уничтожили его основную живую силу и военную технику и тем значительно облегчили борьбу союзников по антигитлеровской коалиции на других фронтах.

Боевые операции второй мировой войны развернулись на обширном пространстве трех континентов. В ней участвовало свыше ста миллионов человек. В оккупированных гитлеровцами странах самоотверженно и активно действовали партизаны и подпольщики. Но основная борьба шла на советско-германском фронте. Гитлер послал для завоевания Советского Союза пять с половиной миллионов солдат, многие тысячи самолетов, танков, орудий и минометов. В ходе войны враг перебрасывал с других театров военных действий большое количество дивизий. Чтобы добиться победы

над фашистской Германией, нужно было разгромить ее вооруженные силы.

Искусное проведение Советской Армией многих наступательных операций начиная с контрнаступления под Москвой привело в конечном счете к полному военному поражению фашистской Германии. Немецко-фашистские войска потеряли на советско-германском фронте более 500 дивизий. Не менее 100 дивизий потеряли здесь и союзники Гитлера. Фашистская Германия лишилась на советско-германском фронте более 70 тысяч самолетов, 48 тысяч танков, 167 тысяч орудий. Именно Советская Армия перемолола живую силу и технику врага.

Для решения этой главной задачи войны потребовались героические усилия народа. Советская Армия и Флот, партизаны, труженики тыла, сплоченные Коммунистической партией в единый боевой лагерь, отдавали все силы разгрому врага. Армия и флот были обеспечены необходимым вооружением для борьбы с врагом. Они получили в ходе войны свыше 100 тысяч самолетов, около 100 тысяч танков и самоходно-артиллерийских установок, многие сотни тысяч орудий и минометов и другую разнообразную военную технику. Советские воины не испытывали недостатка в обмундировании и продовольствии.

В зарубежной буржуазной литературе усиленно муссируется версия о том, что будто бы в 1941—1942 годах Советский Союз спасли Соединенные Штаты Америки, поставившие ему военную технику, стратегическое сырье, автотранспорт, продовольствие. Без ленд-лиза, заявляют иные американские «историки», Советская Армия не смогла бы сдержать натиск немецко-фашистских войск. «Колючая проволока, сделанная на американских заводах, помогла Советскому Союзу спасти Ленинград, Москву и Сталинград», — пытается всерьез утверждать американский профессор Эдгар Эриксон. Нетрудно понять, какую цель преследуют подобные лжеисторические заявления — представить советскую экономику неспособной обеспечить свою армию, создать миф о том, что якобы в США находился «арсенал» победы над гитлеровской Германией.

Советским людям, особенно тем, кто непосредственно участвовал в минувшей войне, хорошо известна степень заокеанской помощи. А что касается действительной помощи — открытия второго фронта в Европе, на чем настаивало Советское правительство, — то правящие круги США и Англии оттянули эту акцию вплоть до лета 1944 года и тем самым создали неимоверные трудности для Советского Союза, несшего основную тяжесть борьбы с фашистской Германией. И, разумеется, каждый, кто сколько-нибудь знаком с историей, знает, что не американские владельцы заводов и концернов, а советский народ — воин и труженик — был главным творцом победы.

Советский Союз, верный ленинским принципам интернационализма, избавил народы Европы от фашистского гнета, с честью выполнил свою освободительную миссию.

Очистив территорию Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков, советские люди считали священной обязанностью оказать братскую помощь народам европейских стран в избавлении от гитлеровского ига. Не считаясь с жертвами и тяготами войны, длившейся уже три года, Советская Армия развернула широкие наступательные действия, осуществляла их с неослабевающей ре-

шимостью. Наши воины-герои оказали огромную помощь народам Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Югославии и других стран в восстановлении их национальной независимости. Советский солдат-победитель принес освобождение и немецкому народу. Берлинское сражение явилось завершающим актом войны, венчавшим окончательный разгром немецко-фашистской армии, принудившим гитлеровцев к безоговорочной капитуляции.

Сегодня, спустя сорок лет после начала войны и тридцать шесть лет после Победы, размышляя над итогами минувших сражений, люди во всем мире понимают, что без СССР фашизм не был бы разгромлен, ясно сознают, что сокрушить его удалось только благодаря Советскому Союзу, колоссальным усилиям Коммунистической партии, ее мудрой политике.

Наша победа была закономерной. В гигантском военном противоборстве с ударными силами международного империализма победил советский общественный и государственный строй. Источниками нашей силы и могущества явились социалистическая экономика, социально-политическое и идейное единство нашего общества, советский патриотизм и дружба народов СССР, их тесная сплоченность вокруг партии коммунистов. Справедливые цели борьбы рождали беспримерный массовый героизм и мужество воинов армии и флота, бойцов-партизан, тружеников городов и сел.

Всемирно-историческое значение победоносного исхода Великой Отечественной войны состоит в том, что в ней была одержана победа и в области идеологии. Защищая свое социалистическое государство, наш народ проявил глубочайшую верность идеям марксизма-ленинизма, высочайшую патриотическую стойкость. Он отстаивал не только свою землю, национальную культуру, но и коммунистическую идеологию. Сражаясь с германским фашизмом, мы боролись за коммунизм.

Советские люди всегда будут благодарны родной ленинской партии, вырастившей, воспитавшей и закалившей бесстрашных защитников Отчизны. С врагом сражался весь народ. Многие не вернулись домой — и тот, кто погиб в первый день войны под Брестом и кто упал, смертельно раненный, у Бранденбургских ворот в ее последние дни. Их подвиги бесконечно дороги и незабываемы, в них для всех поколений советских людей как бы в единое целое слились день первый и день последний великих битв минувшей войны.

Оценивая события военных лет сквозь призму прошедшего времени, мы яснее видим грандиозность Победы над фашистской Германией. Главный итог Великой Отечественной войны состоит прежде всего в том, что война, ее ход и результаты еще раз подтвердили непобедимость социалистического общественного строя, разоблачили империализм как злейшего врага человечества.

За четыре десятилетия, минувших с начала Великой Отечественной войны, многое изменилось на нашей планете. Но и сегодня на всех процессах международной жизни, в мировом революционном движении, в национально-освободительной борьбе народов, в политической, идеологической, экономической сферах — всюду сказываются последствия войны. История тесно смыкается с современностью. Реакционные буржуазные политики, стратеги Пентагона и НАТО, планирующие различные варианты новой войны против СССР и других социалистических стран, не могут не

считаться с результатами второй мировой войны и ее главным уроком — всемирно-исторической победой Советского Союза, возникновением и развитием мировой системы социализма.

В то время как в послевоенный период страны социалистического содружества все укрепляются, капитализм с прогрессирующей быстротой теряет свои позиции. Это ежедневно ощущают империалисты. Они видят, какое революционизирующее влияние на народные массы оказала Победа, одержанная советским народом над фашизмом, насколько возросло влияние СССР на ход мировой истории.

Советский народ, осуществляя коммунистическое строительство, кровно заинтересован в сохранении мира. Ленинская внешняя политика, целеустремленно проводимая КПСС и Советским правительством, надежно служит делу мира и безопасности народов. Однако наиболее агрессивные круги, вся международная реакция пытаются противопоставить нашей миролюбивой внешней политике свой курс на взвинчивание гонки вооружений, грубое вмешательство во внутренние дела других народов, нагнетание международной напряженности. В этих условиях Коммунистическая партия, сочетая последовательную борьбу за мир с твердым отпором всяким попыткам реакции подорвать этот мир, делает все для того, чтобы обороноспособность нашей страны отвечала современным требованиям. В Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду КПСС товарищ Л. И. Брежнев сказал, что «партия и государство ни на один день не упускали из поля зрения вопросы укрепления оборонного могущества страны, ее Вооруженных Сил. К этому нас обязывает международная обстановка. Прочный сплав высокой технической оснащенности, воинского мастерства и несокрушимого морального духа — таков боевой потенциал Советских Вооруженных Сил».

Партия, весь наш народ считают своей священной обязанностью сделать все, чтобы 22 июня 1941 года никогда не повторилось. К этому зовут нас память о миллионах, павших в борьбе с фашизмом, кровь, обильно пролитая на полях сражений за свободу и счастье Родины, долг перед живущими, великая историческая миссия первопроходцев к вершинам мировой цивилизации, к коммунизму.

●

Надежда ПЕТРУНИНА

СДВИНУТОЕ СЕРДЦЕ

Анюта стояла за прилавком и боялась взглянуть на дверь.

Время шло к обеду. «Того и гляди появятся... Как улыбаться-то?»

Они вошли в магазин — ее брат Василий и его семья: жена, две девочки, — и сразу покупатели перестали щупать драп, мерить перчатки; все смотрели на приезжих.

Василий, огромный, тучный мужчина с круглым, как и у Анюты, лицом, но только не белым, а красным, суетливо переводил взгляд с жены на сестру, на детей и улыбался глуповато-деликатной улыбкой. Жена его, худая, будто вся из одних жил, тихо, сквозь зубы, одергивала

дочерей. Чужая непонятная речь настораживала Анюту. Ей все казалось, что эта накрахмаленная немка цедит о ней что-то обидное. И только девчонки сияли. Старшая, Кора, движением уверенной в себе женщины откидывала с плеч длинные тяжелые волосы и кокетливо улыбалась. Младшая, десятилетняя Аннетка, легла животом на прилавок и ластилась к тете: пухлой горячей щекой жалась к руке Анюты.

Брат Василий приехал вчера с семьей оттуда. В гости. Сегодня утром Анютин муж, Никола, возил их по городу на автобусе, который дал ему завод.

Василий пришел не за носочками, не за варежками... Никола привез его сюда... на экскурсию. Хорошая одежда и ухоженность всех членов семьи казались Анюте маскарадом: ряженые ведь тоже всегда показывают веселье и платьем и раскраской...

Анюта знала одно: там нельзя жить хорошо, с душой. Там убивают. Ей никто не внушал этого. Наоборот, по телевизору показывали красивые города Западной Германии с острыми башнями. Но Анюта знала: там укрылись те, от кого они с матерью убегали, осиротив дом. Те, что убивали так же привычно, как она продавала чулки. И поэтому Анюта знала — там убивают...

Когда по радио сказали о войне, мать осела на лавку, а потом пронзительно закричала:

— Нюрка! За спичками беги! Шибче беги!

Анюта бестолково завертелась в сенях, выскочила на улицу и понеслась. Через два дома оступилась ногой в небольшую канавку и рассадила ступню осколком от бутылки. Острый испуг, рваная рана, набитая грязью, сквозь которую сочится кровь, режущая боль — все это разом слилось в больной живой клубок, называемый войной. Так она и запомнила...

Они жили в поселке. Ей было пятнадцать, Васятке — четырнадцать. Мать и отец были молодыми, но тогда она этого не понимала.

Мать собирала отцу вещи в мешок. Что положила — Анюта не помнит, помнит только длинную морщину, делившую лоб матери пополам, а еще помнит, как отец укорял мать: «Ну куда ты все ложишь и ложишь?»

Отец оставил свою памятку-зарубку каждому: матери велел «не кричать», ей, Анюте, обещал воротиться через

два месяца, а Васятке приказал быть опорой и защитником. Но местный фельдшер всегда говорил про Васятку по-другому: «Не защитник. Редкая аномалия — смещение сердца!» Фельдшер любил ученые слова, но умел объяснить и по-русски: сердце у Васьки сдвинуто на целых три сантиметра! Таким уж уродился! А почему — про то темная ночка одна знает!

Присказка фельдшера пугала. И темными ночами Анюта часто и подолгу боялась, что Васятка умрет. Даже вставала проверить, дышит ли. Мать сердилась на нее, а сама вставала и того чаще.

Мать иногда говорила:

— Ты уж, Нюрка, не серчай, когда Васятке чего поболе перепадет! Ему выжить надоть. Со сдвинутым сердцем-то — кто ее знает, как оно... фершал еще в весну сказывал: дохтур из города — и тот не знает, чего и как!

Анюта и сама подсовывала Васятке что получше. Тут с нормальным-то сердцем есть хочется, а уж каково со сдвинутым...

Запасы проедались быстро. А от отца вестей не было. Мать дни и ночи пропадала на работе, на элеваторе.

Анюта хлопотала по хозяйству. Жарила ландорики — картофельные оладьи — сначала из самой картошки, а потом из картофельных очистков. Эвакуированные научили ее варить кофе из желудей. Все ничего. Лишь бы отец вернулся...

Кончились дрова — ходили на Лысую гору за сушняком. Никогда потом Анюта не видала такого чистого, без лишней веточки, леса. Лесничий Марьяныч гонялся за всеми, грозил судом и не шутил. Анюта дрожала, но шла. Святым духом печь не растопишь.

Раз пошли с Васяткой. Захватили пилу — лишнюю какую ветку смахнуть. От мороза деревья остекленели, чуть что — звонко разносится. Марьяныч хромой и косой, зато слух отменный. Учуял и погнался за ними. Хромой, а догнал! Анюту по спине костылем огрел, пилу отобрал.

Когда прибежали домой, Анюта клацала зубами на всю избу: хочет сомкнуть челюсти — не получается. Рыдала и стучала зубами от холода, от боли, от обиды.

А Васятка лежал на сундуке, прикладывал к левой стороне груди руку с худыми голубыми пальцами и шептал:

— Сердце щас сиганет! Щас сиганет!

И Анюта, с ужасом думая, что такими тощими пальцами он не удержит свое прыткое сердце там, за ребрами, подбежала к нему и надавила на грудь обеими широкими ладонями.

А вечером приковылял Марьяныч, принес пилу. Мать совала ему ландорики. Он не ел, только ругал фрицев так, что хоть святых выноси...

Когда бой шел у их поселка, мать до последнего не хотела уходить. «Гнездо свое самим разорять — последнее дело. Отец велел ждать его тута». Но не под фрицем же оставаться! Хватились Васятки — как в воду провалился. Какая-то баба, пробегая мимо их дома, крикнула, что ребята «подсобляют ранетым». И Васятка там. Они догонят.

Так с болью, в суматохе и ушли, осиротив дом. А Васятка так и не догнал... Анюта слышала потом, как бабы между собой перешептывались: «И ребятенки-то, видать, сгибли тама...»

Васятка не догнал их, а похоронка на отца догнала...

Домой вернулись через год.

Копаясь на чердаке, мать нашла карточку, на которой они были сняты всей семьей, когда детям миновало шесть и пять лет. За эту карточку Васятке тогда здорово влетело: шилом он выколол всем глаза («А че они пялятся на меня, анчутки!»). Теперь мать любила подолгу смотреть на эту карточку.

Анюта стала работать подавальщицей в чайной. Там ее и приметил Федор — застенчивый лейтенант. Он был непохож на сельских парней, хотя родился и вырос на хуторе.

Тонколикий, глаза огромные и прозрачные. Вместо предложения сунул ей в руку записку с адресом гарнизона, в который посылали служить, и спросил:

— Приедешь?

— Приеду, — ответила, хоть и испугалась: Дальний Восток за тридевять земель, да и мать не на кого оставить...

— Ехай, раз позвал. Ноне мужики на дороге не валяются, — сказала мать и испекла на дорогу большой пирог с картошкой.

Федор ждал: на окно повесил марлевую занавеску для уюта. В небольшой комнатушке стояли казенная оттоманка, колченогий стол, один стул и два ящика вместо других стульев.

Анюта приладила на оттоманку покрывало с кружевным подзором, около нее постелила лоскутный коврик.

Открыли консервы, позвали дружков Федора — отпраздновали свадьбу.

А весной у них родился сын — Владимир, Вовка. В роддом за ней должен был приехать Федор на машине: начальство обещало отпустить его. Анюта удивилась, когда увидела, что встречает ее не муж, а его друг.

Она спросила про Федора, а друг сказал про Вовку: какой крепыш, она опять спросила, а он протянул руки, чтобы взять малыша, и Анюта увидела: его пальцы дрожали. Она безвольно выпустила ребенка на его руки, в голове пронеслось: граница!.. граница!.. — и мучительно закричала...

С крохотным Вовкой Анюта вернулась домой.

Мать сильно постарела. Часто она садилась на сундук, упиралась ладонями в колени и начинала механически раскачиваться из стороны в сторону. Глаза ее мутнели.

Как-то раз в теплый день Анюта оставила Вовку на одеяле в палисаднике, а сама забежала в дом за косынкой.

Мать сидела на сундуке и раскачивалась. Она была в теплом платке, в фуфайке. Анюта хотела подсказать, что на дворе жарко, и окликнула ее. Мать не услышала. И тут в палисаднике горласто запищал Вовка.

Мать дернулась и старческой рысью бросилась к двери. Вдруг остановилась и начала оседать на пол. Анюта подбежала, просунула свои сильные руки ей под мышки, но не могла поднять ее: тело будто свинцом налилось... Анюта испугалась, закричала — тогда мать очнулась, и поднять ее было уже нетрудно...

Покачиваясь, мать прошла к сундуку, легла на него ничком — и так лежала до ночи. Ночью хотела встать, да не смогла. Через месяц ее похоронили.

Жизнь опостылела Анюте. А надо было просыпаться в сумерках, глотать холодные куски, идти на работу в магазин, возвращаться к соседке за Вовкой.

Она хорошо помнила, как подошел к ее прилавку Никола. Высокий и худой, а лицо чудное: нос длинный, глаза льнут к переносью, сидят близко друг к другу.

Сказал, что работает «в заводе», и купил «тройной» одеколон.

В другой раз купил детский барабан и пошел проводить ее. Подождал, пока забрала Вовку. В Анютин горь-

кий дом вошел без приглашения. Барабан дал Вовке: «Держи, разбойник, гостинец!» Увидел, что ножка у стола в кухоньке подломилась, сам нашел инструмент, починил. Походил так с неделю, а потом и переехал к ней. Жизнь стала налаживаться: Вовка рос с отцом, семья крепла.

Никола работал механиком. В получку все до копейки отдавал Анюте: даже маленькой заначки не оставлял. Когда что надо — Анюта сама купит. На заводе его уважали. Как в лета вошел — Николаем Дмитричем стали величать. Если с доски Почета и снимали портрет — только чтобы на новый заменить. Уважали...

Сына раз и навсегда принял за родного. На родительское собрание кровных-то отцов учительница не могла дозваться, а он, Никола, всегда за полчаса приходил: о Владимире обстоятельно расспрашивал учителей до собрания и после него.

Владимира хвалили, называли гордостью школы. Он получил золотую медаль за отменные успехи в учении. Думали, будет ученым, а он поехал в военно-морское... Высокий, красивый — настоящий морской офицер.

Переехали Никола с Анютой в новый дом.

Прихрамывая (с годами сильнее), Никола шел по новой, пустой и гулкой квартире, похлопывал по стенам, иногда вдруг с силой упирался в них, как бы проверяя на крепость, говорил:

— Ну че? Довольная? Угодили тебе?

Анюта улыбалась.

Никола любил читать газеты. Навыписывал их видимо-невидимо. Раскладывал газеты на большом столе, так что они закрывали его весь, садился и надевал квадратные очки. Глаза за стеклами сразу расплывались, делались огромными, как у телка. Анюта мотала головой и широко улыбалась.

— Ты че, — смеялся он и серьезнел. — Смешного-то кот наплакал!

— Это почему?

— А потому! Шебуршатся они!

— Кто?

— Все грозятся, чтоб им! Ну ниче! Мы им супонь-то затянем! Ишь ты, морду разъел! Вертушкой поганой сучит!

Анюта заглядывала в газету через его плечо. Там, на

фотографии, толстомордый парень тряс плакатом со свастикой.

Никола снимал очки и вертел их нещадно. Казалось, вот-вот отлетят дужки или брызнет стекло.

Если в программе обещали интересную передачу, то включали телевизор. «Новости» Никола смотрел аккуратно, каждый день.

Увидев корабль (военный ли, пассажирский ли — без разницы), кричал:

— Гля, Нюр! Вовка поплыл!

Как-то раз он позвал Анюту — она пришла с кухни, глянула на судно и... заревела...

— Ты че? Нюр, а? — испугался Никола, стал усаживать ее: кухтался с ней, будто наседка с цыпленком.

— Моряки, если топнут, и могилки-то не сыскать, Никол...

Он резко выпрямился, шагнул назад:

— Ты че?! Ты че?! Рехнулась?!

Вмиг посуровел. Анюта пояснила:

— Я не к тому... Я к тому... Васятка-то наш вроде моряка... И могилки нету... Папкину могилку знаем... А у его и могилки нету...

Она притиснула ладони к лицу дощечками и стала раскачиваться из стороны в сторону. А сильная рука Николы гладила ее голову.

Ночью Анюта вдруг проснулась. Темно, и Николы нет рядом.

Он стоял на кухне, у черного окна, и со злом тер правой ладонью левую руку, вздрагивая.

Анюта быстро подошла к нему, прижалась крепко, просто-таки вжалась в него: будто надеялась, что судорога уйдет в нее... Когда боль утихла, сказала:

— Знаешь, Николушка, а уж Васятка никак не должен был сгибнуть в войну. Он ведь и воевать не должен был, и не только лишь по летам! У него ведь болезнь редкую узнали — сердце сдвинутое...

Никола тяжело провел ладонью по ее волосам и тихо сказал:

— Оно у всех у нас сдвинутое... войной...

В середине зимы на работу Анюте неожиданно позвонили и попросили приехать в райисполком.

Анюта собиралась тщательно. Надела белую гипюро-

вую блузку, синий трикотажный костюм. Подушилась «Красной Москвой».

Тревожилась: по какой такой надобности позвали? Недостач у нее не было. Вот только прошлой зимой сама оплошала: забыла просчитать чеки, вышла недостача в шестьсот рублей. Аж в голову ударило! Пришла домой — слегла. Никола тогда горячился: «Не думал не гадал я, что ты такая жмотка! Подумаешь: шесть сотен! К свиньям их! Я те за два месяца погашу! Не думал я, что ты из копейки удавиться готовая!»

Так ее раззадорил, что она сама чуть не кричала: «Не из копейки я — из принципа! Все мы свои! Доверие есть! Откуда ж недостача-то, а?»

На следующий день просчитали злосчастные чеки — все сошлось тютелька в тютельку.

Так что вроде незачем ее звать...

В просторном кабинете кареглазый мужчина усадил ее, назвал Анной Иванной и попросил не волноваться. Вот тогда-то Анюте стало страшно. Страх побежал к ней по знакомой стежке: друг покойного Федора тоже сбивчиво просил ее не волноваться в тот день в роддоме...

Анюта набралась духу и сказала:

— Вы мне говорите, зачем звали... Я стерплю... А то совсем невмоготу...

Мужчина встал и тихо сказал:

— Анна Иванна, ваш брат Василий нашелся. Он в Западной Германии. Просит вызова. Хочет приехать к вам в гости с семьей.

Наверное, с ее лицом что-то случилось, потому что мужчина подбежал со стаканом воды, начал тормошить ее и почему-то просил поплакать. А ей плакать не хотелось. Перед глазами толчками маятника сменялись две картинки: Васятка, длинный, прозрачный, и толстомордый парень со свастикой на карточке...

— Если хотите пригласить, приглашайте. У нас возражений нет.

Через какое-то время ей пришло письмо на хрусткой тонкой бумаге.

«Здравствуй, сестренка Нюра!..»

Письмо дрогнуло в ее руке, не удержалось и с диким грохотом, с воем сирены обрушилось куда-то вниз...

Василий писал, что работает автомехаником, что всего не расскажешь, что жену зовут Хельгой, что жалеет и

маманю, и папаню, и Нюру, что дочки у него непослушные, а младшая вся в конопушках.

— Ну и что ж, — сказала Анюта, крепко проглаживая кулаком письмо, лежавшее на коленях. — Ну и что ж... Пусть... Один, то есть... Сам... А им нету гостеприимства! Нету нашей хлеб-соли им! Нету...

Она легла на кровать, лицом к стене. Слышала, как Никола вернулся с работы. Он заглянул в комнату, решил, что жена спит, и сам начал мастерить ужин. Смастерив, позвал Анюту.

Она вошла в кухню, села.

— Ты че? У тя все лицо синее! Захворала? — Он весь подался к ней.

Анюта махнула рукой.

— Опять чеков, что ль, каких недосчитались, а?

Анюта достала из-за зеркала свернутое вчетверо письмо, развернула его с хрустом, положила на стол перед мужем. Необычный конверт с водяными знаками удивил его — она видела...

Осторожно, почему-то двумя пальцами, задубевшими, неуклюжими, он достал листок. Прочитал строчку, ошалело глянул на жену и пригнул голову к самому письму, не доверяя своим слабым и, видно, поглупевшим глазам. Перечитал раза три-четыре. Запихнул листок в конверт. Выдохнул и сказал:

— Значит, так...

Ночью у Николы опять сводило судорогой руку, обмороженную под Сталинградом. Когда Анюта вышла на кухню пожалеть его, он притиснул жену к себе:

— Ниче! Пиши им: «Ехайте!» К лету и припожалуют! Привезем поросенка из деревни! Всех родичей! Это им не ихний хлеб из керосина!

Анюта привалилась к его плечу головой и заплакала...

Они стояли около Анютиного прилавка, и все смотрели на них. Было видно: они приехали из чужих мест и сами чужие.

Анюта помнила длинного худого Васятку и не могла понять, как это он превратился в здорового краснолицего мужчину с глубокими потными залысинами...

Домой ехали на заводском автобусе. Брат жадно смотрел в окна. Эта жадность — первое, что пришлось Анюте по душе за два дня.

Хельга сидела прямо и косила глаза на окно больше из вежливости. Кора развалилась на сиденье как-то по-заграничному. И только Аннетка, конопатая, кудрявая, грела душу. Анюте казалось, что от племяшки тянет парным молоком. Теплая головка лежала у Анюты на сгибе локтя. Вдруг малышка вскинулась и начала дергать тетю за рукав.

— Что, конопуша? — спросила Анюта и сей же час без слов поняла — мороженое.

Киоск стоял у дороги. Вчера ей брали здесь пломбир, и, гляди ты, запомнила!

Анюта крикнула шоферу остановить и вышла с племянницей. Малышка вмиг подскочила к киоску и стала на пальцах объясняться с мороженщицей.

Когда подошла Анюта, киоскерша, выкладывая брикеты, кивнула ей и жалостно сказала:

— Вот горе-то...

И собственные беды показались киоскерше пустячными перед горем матери, у которой немой ребенок...

Анюта вернулась в автобус с таким лицом, что Никола шутливо погрозил девчонкам пальцем и приказал:

— Ну немтыри! Поскорее учитесь по-нашенски выражаться, а то тетку в гроб вгоните!

Василий с готовностью перевел и первым громко рассмеялся шутке. Хельга в улыбке показала большие зубы. Анюта крепко прижимала к себе маленькую головку и думала: «Даже хлеба спросить по-русски детей не выучил... Все быр-быр...»

Дома столы уже ломились от еды. Многочисленные родичи, близкие и дальние, в хлопотах бегали по квартире.

— Ну чисто сва-адьба! — дребезжащим голоском говорила соседка тетя Груня, совсем дряхлая, но отчего-то похожая на младенца.

— Гулять так гулять! — потирая руки, сказал Никола.

Сели за столы. Василий рядом с Анютой. За ней — тетя Груня, Никола. Выпили по первой — «со свиданьицем!».

Брат повернулся к Анюте, стал рассказывать.

Квартиру они снимают из четырех комнат. Библиотека у него огромная: много русской классики, он ценит ее. Правда, классику как-то забирали на проверку, но вернули... Дети? Кора учится в колледже. Да, взрослая... чересчур! Эти патлатые обрывают их телефон. Он против.

Он за строгие нравственные устои. Падение нравов — болезнь века. Он не позволит. Он...

Анюта глядела на брата. Благость разливалась по его лицу и какое-то услужливое внимание к собеседнику, будто он, грузный мужик, готов был по малой прихоти говорившего с ним прыгнуть с места и делать, что прикажут.

— А ты, Нюра, — сказал Василий, — толстая, ой, нет! Другое! Вот так: когда доверху!

Она не могла понять.

— Ну, доверху! Как это? Полная! Да!

— Она полгода назад еще лучше была! — с укоризной сказал Никола.

Тетя Груня вдруг засуетилась и, тыкая сморщенным кулачком в сторону Хельги, забубнила:

— Твоя-то баба плоха-ая... плоха-ая... Нюрке-то, ей чего? За хорошим-то мужем!

Василий очень радостно улыбнулся, со значением двинув бровями: простим старушке ее беззлобную нетактичность, простим. Николе эта сахарная улыбка не понравилась. Он грохнул локтями по столу и с придыханием сказал:

— Значит, Василий, все у тя тама в ажурах, в заграннице в твоей... Сладкая тама жизня... Да... У тя рупь есть?

Василий смешался, но тут же полез за бумажником.

— У тя, спрашиваю, рупь есть? Имеется! Вот поди на базар, купи на энтот рупь гуся — и ему мозги канифоль! Ему, а не мне!

Василий понял. Он провел ладонью по одной, по другой залысине и сказал:

— Я понимаю, о чем ты, Николай... Ты не думай... Но ты и меня... Надо было выжить. Я зла никому не делал. Не делал зла. Выжить... надо было...

Никола качнулся, и прядь длинных прямых волос нависла над его диковатыми сейчас глазами.

— Это да! Это конечно! Тебе надо было! Да! А дружкам моим? Сашке Хомуту! Петьке хуторскому! Им не надо? Им не надо было?! Им без надобности!.. Им надо было помереть... Когда мы... пять дней... и ночей... не разгибаясь... валялись на снегу... под Сталинградом...

Никола вдруг увидел Анюту, она сидела гордо, как на поминках, и в лице ни кровинки. Он мотнул головой, стукнул кулаком по столу и крикнул:

— Гармонь мне! Сей минут!

И стал наяривать «Барыню». Гости пустились в пляс — просить себя не заставили.

Хельга и Кора настороженно улыбались, Василий крякал, а конопушка вертелась среди пляшущих, повизгивала и старалась отбить чечетку в такт.

Когда половицы начали ритмично прогибаться, Василий нагнулся к Николе и прошептал:

— Могут выселить.

В ответ Никола рявкнул так, что в ближних квартирах уж точно услышали:

— «Степана»!

И сразу мощно, в три десятка голосов, запели могучее:

— Из-за острова на стрежень, на простор речной волны...

Добрая и вместе с тем сокрушительная сила была в этом пении. Раскрасневшиеся лица посуровели и все до единого стали значительными.

Хельга испуганно таращила глаза, и Василий с раздражением подумал, что у нее никогда не было такого лица, как у поющих. Он не знал только, что у него не бывало тоже...

Никола выдал последний аккорд:

— Все!

К нему подскочил белобрысый кудрявый парень. Подмигивая с намеком, выкидывая коленца, он запел неприличную частушку, где «пороху набьем» приходилось в лад с «всех фашистов перебьем».

Никола вдруг напрягся, шарахнул по столу кулаком и прохрипел:

— Замри! Не суйся в пекло поперед батьки! Если чего требуется — я ему сам скажу! Не смолчу! А ты замри! Не моги! Ты мордой в снегу, почитай, по сто часов не валялся! И ты замри!

Он взял бутылку и поднес к стопке Василия. Тот прикрыл ее левой ладонью, а правой похлопал себя по груди:

— Сердце...

И тогда Анюта по-бабьи жалостливо спросила:

— Ну как... оно... у тебя? Мамка-то не дождала! Кабы знала!

Василий встал, сильно качнув стол, и быстро вышел в коридор. Анюта, торопливо двигая стулья, ударяясь об их углы, побежала за ним.

Он стоял на кухне, упершись лбом в стекло окна. Не оборачиваясь, сказал:

— Я никого не предавал, Нюра... Я никого не предавал...

Анюта прижалась к нему сзади. У него была широкая и крепкая, заслонная, спина. Гладя ее, Анюта вдруг ясно услышала слова сельского фельдшера о том, что Васятка не защитник...

После застолья сели на диван, и Хельга стала показывать фотографии. Хельга-наследница стоит около отцовского гаража и победно улыбается, оскалив зубы; Аннетка, голенькая, лежит на животике; Хельга за рулем; Кора в длинном форменном платье; Василий чинит машину и... Анюта вздрогнула... Хельга молодая, в фашистской форме, глухой ворот душит горло. Тыча в эту карточку длинным красным ногтем, Хельга быстро лепетала по-немецки.

— Их заставляли, — сбивчиво переводил Василий. — Насильно заставляли. Она ведь старше меня. Ее заставили. Она была просто телефонисткой.

Анюта механически кивала головой, и ее рука тянулась к вороту гипюровой блузки — давило... хотелось сорвать пуговицу.

Когда сели ужинать, Никола спросил:

— Правду говорят или брешут, что у вас тама отец с сына по счету берет, ежли тот в гости зашел, а?

Василий улыбнулся скованно.

— Нет! Это значит, — не слушая его, продолжал Никола, — Вовка мой посидел у меня, а я ему бумагу, да?! Я ему — плати! Плати за хлеб-соль отцу! Да? Это сынуто?! — Никола кричал все громче и разбушевался так, словно кто уже заставлял его брать с Вовки по счету.

Анюта трогала его за руку.

— Ты погоди!.. А я так скажу: у вас тама, раз ты с сына по счету! У вас тама, в загранице в вашей...

Всю неделю Анюта хлопотала: варила студень в ведре, красный борщ. На сковородке с велосипедное колесо жарила оковалки мяса. Такие хлопоты, когда дым коромыслом, были ей впору. Они не оставляли времени думы думать...

Провожать Василия поехали в Москву на том самом заводском автобусе.

Около поезда, перед отходом, конопушка пристыла к Анюте. Хельга отрывисто буркнула.

— Жена ее спрашивает: хочешь остаться? — перевел Василий.

Конопушка судорожно оторвала головку от тетиного локтя и, сглотнув слюну, гортанно ответила:

— Йа-йа!

— Да?! — спросил Василий с ужимкой взрослого, который, вроде бы соглашаясь, в два счета разложит детские капризы железными доводами. — А как же мама и папа? А как же твой Франц? («Любимый медведь», — пояснил сестре).

Конопушка зачастила, и Анюта разобрала — «Николя».

— Ах! Франца теперь уже зовут Никола! — объявил Василий тоном остроумного диктора.

Никола схватил конопушку и подбросил вверх.

Василий обнял Анюту, тихо отстранил... Быстро прижал опять, три раза свирепо поцеловал, сказал покорно:

— Значит, мамка велела меня за упокой поминать...

И кивнул...

К концу лета Анюта начала сохнуть. И еще Никола заметил, что она стала разговаривать вслух сама с собой. Идет по улице и говорит, а прохожие оборачиваются вслед.

Он повел ее к врачу.

Анюта сидела в чистом, холодном своей белизной кабинете и рассеянно смотрела на молодого доктора. Он говорил тихо, настороженно поглядывая на нее, поспешно во всем соглашаясь с ней, и Анюта подумала, что, может, и впрямь больна...

Доктор водил перед ее носом блестящим молоточком, приказывал поднять руки, потрогать нос, согнуть ногу в колене — она трогала и сгибала...

Когда сели на кушетку, покрытую холодной клеенкой, то, глядя в окно, сказала:

— Со сдвинутым сердцем как жить-то?

Доктор подумал, что это она ему, и стал, захлебываясь, толковать, что у нее хорошее сердце, что она чуть-чуть устала, что отдохнет, что все будет куда лучше, чем раньше, что и сейчас-то все хорошо — только надо понять это...

Анюта не слышала. Мерно раскачиваясь, она шептала:

— Когда оно сдвинутое-то... Со сдвинутым-то...

Через день ее положили в больницу.

Потеряв сознание, она металась на больничной койке и все рвала ворот рубахи, хотя выкат был глубоким. А она все рвала, будто силилась отодрать от горла что-то накрепко прилипшее...

Со дня смерти Анюты прошло семь лет.

Все эти годы Никола получал и получает письма в аккуратных хрустких конвертах. Василий зовет в гости. Никола не едет.

Каждый год проведать отца приезжает Вовка.

Темнеет. Отец с сыном вечеряют на кухне. И отец говорит о своей боли:

— Ведь оно как! Она ведь попусту не балабонила! Все в себе держала... Доктора учат: так-то хужей! Пустобрехам-то легше: он балабонит — на сердце ничего не держит! А у ней все на сердце налегло...

— Бать, не трави ты себя, — тихо просит сын.

— Да я ведь чего! Я ведь! — Никола зло рвет ворот рубахи. — Ведь враг ее не достал! А Васька... достал! Загубил. Нюрку мою! Загуби-ил! Враг не достал, а он достал!

— А как там Анютка-конопушка? — спрашивает сын.

— Во! — выкрикивает Никола. — Про конопушку-то я и хотел тебе доложить! Убежала от них конопушка-то — пишут... Ушла из дому. Найти не могут. Жалко ее... Ночью проснусь — мне мысли страшные лезут... А только я так тебе скажу: плоховато у их там, в загранице в ихней, раз от них дети сбегают!

●

Шакро РОМАНАДЗЕ,
участник VI Всесоюзного совещания молодых писателей

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Два года меня не было дома.

Я стою на дороге, и жадно оглядываюсь, и жмурюсь, чтобы сдержать слезы. Все мои сны, тревожившие меня целых два года, возвращаю я сейчас тебе, Аджария!

Помните, дорогие мои друзья в зеленых гимнастерках,

я говорил вам, что нет на свете другого такого края? И это так!

Но почему я не узнаю своей деревни? Горы вокруг все те же и все вокруг как будто то же, но я не узнаю своей деревни. Да, два года — это очень много по нашим временам.

В центре деревни появились школа, клуб, детский сад, разбежались во все стороны столбы электролинии. А дорога, какая дорога!

Проследив взглядом по всем крутым извивам дороги, я как бы добрался к нашему дому. Я взбегаю напрямик по склону, через мандариновую рощицу. Сердце мое стучало, и я часто останавливался, прижимал руку к груди.

Весь народ, видимо, был на плантациях. А иначе... О, вы не знаете наших людей! Если бы хоть один человек увидел меня, какой начался бы тарарам! Деревня загудела бы как улей: Нодар приехал! Шутка ли, человек вернулся из армии!

Ах, мое родное небо, моя дорога! Как мучились мы раньше, чтобы подвезти что-нибудь к дому. Подъехать к нам можно было только на арбе. Чтобы привезти со склада кукурузу, муку или пшено (все это выдавали нам на трудодни), мы запрягали пару сильных быков. Подъехав к горе, отец призывал на помощь соседей, и вот пять-шесть здоровенных мужчин подталкивают арбу сзади. Когда же мы везли сдавать фрукты из нашего сада, то колеса арбы увязывали веревками да еще на спуске тянули за задок арбы, упираясь пятками в землю, иначе все полетит вниз: и арба, и быки, и наши мандарины.

Шальной осенний ветер ворошит опадающую листву яблонь и груш. Золотая метелица! А в России я оставил морозы и снежные бураны.

Дом уже рядом. Я вижу новые высокие ворота — отец расстарался. На повороте я остановился, поставил чемодан и стянул с головы пилотку. Да, жарковато. Глубоко вбираю в себя воздух. Стоит аромат мандаринов и лимонов.

И вдруг в траве, возле засохшей корявой ольхи, я увидел большие темные черепки. Это были те самые осколки квеври *, которые мы с отцом бросили когда-то под это дерево. Они лежат все там же, их слегка завалило глиной.

---

* Квеври — большой глиняный кувшин для хранения вина в земле.

Квеври! И мне вспомнилось, как два года назад я, склонив голову, стоял на краю разворошенной ямы...

...Через неделю я должен был идти в армию.

У отца я был единственным сыном. В эти последние дни перед разлукой он как-то переменился. Вдруг бросал работу и подолгу издали смотрел на меня. Затем крякал и отворачивался в сторону.

Однажды утром он повел меня вниз, к самому дальнему краю нашего приусадебного участка. Там, позади мандариновой рощицы, стоял огромный граб. Ветви его были обрублены, но мощный ствол высоко поднимался к небу. Вокруг дерева цепко сплелись заросли диких колючек.

Отец указал мне на колючки.

— Это наш позор. Во всей деревне ни у кого не осталось такого безобразия. Только у нас. Давай-ка, сынок, сведем всю эту срамоту и устроим что-нибудь путное. Ну, мандаринов насажаем или чай.

— А как мы управимся с этим деревом? — Я показал на старый граб.

— Он уже гниет. Срубим.

Однако у граба оказались могучие корни, и нам пришлось просить в колхозе трактор.

Никогда не забуду, как маленький тракторишко сполз по склону и, натянув трос, замер, натужно рокоча. Казалось, он повис, зацепившись тросом за граб. Огромное дерево удерживало от падения неловкую в горах машину. Ему это не стоило никакого труда, только чуть подрагивали мелкие колючки, обвившие ствол.

Но вот дрогнула вершина, граб замер на миг, словно пытаясь еще устоять, и повалился под откос, тяжело ломая все на пути. Когда макушка дерева скрылась среди зелени, из земли вывернулся неохватный комель. Толстые корни лопались с таким звуком, как будто кто-то стрелял. Корни разбрасывали комья глины, камешки, валуны.

От поднявшейся пыли отец начал кашлять. Он стянул с головы белую шапочку и стал выбивать ее о колено. А я вытряхивал из-за ворота рубахи колючую труху.

Возле нашего дома собрался народ: старики с палками, бывший директор школы, ребятишки. Старики хвалили отца: доброе, мол, затеял дело. Они вспоминали, как неуютно выглядели раньше окрестности деревни, как задыхалась земля под зарослями колючек. А сейчас какую красоту развели кругом: лимоны, мандарины, чай!

Один из стариков, крошечный, тщедушный, но с грозными усами, заметил что-то в путанице рваных корней и ткнул тростью.

— Люди, кто мне скажет, что это такое? Видеть мне такого еще не приходилось.

Люди, стоявшие вокруг, посмотрели в яму. Оборванные корневища белели, как кости, мелкие корешки свисали со стенок рыжими лохмотьями. Какой-то босоногий мальчишка спрыгнул вниз. И вот пошел из рук в руки странный камень. Бывший директор школы взял у отца лопату и очистил камень от земли. Он тихо, взволнованно произнес:

— Квеври!

Да, сотни лет назад кто-то закопал в землю огромную глиняную квеври. Эта весть облетела всю деревню.

Старый граб своими корнями намертво обнял огромный древний сосуд, сверстницу своей зеленой юности. Проходили годы, века, объятие это становилось все крепче. Постепенно в прохладной глубине земли корни дерева и глиняная квеври стали одним целым, и старый граб уже никому не хотел отдавать свою добычу. Он раздавил квеври в своих объятиях.

Перед притихшими людьми явилась древняя повесть, драматическая, как сама история Аджарии.

Тощий старичок с усами, как кинжалы, вскинул над головою руку.

— Это настоящий грузинский винный сосуд! — торжественно произнес он. — Здесь, в нашем жемчужном краю, в старину было развито виноградарство. Только турки оторвали Аджарию от матери-Грузии и в первую очередь вырубили все наши виноградники. Они уничтожали наш виноград, даже дикий, в лесу. А если у кого находили вино хотя бы на донышке кувшина, всю семью вырезали.

Старик умолк, набираясь сил после непривычно долгой речи. Все вокруг почтительно молчали. Старик отдохнул и продолжал:

— А выливать на землю вино, добытое таким трудом! Нет, грузину было легче умереть. И некоторые прятали вино. Запечатывали квеври пчелиным воском, закапывали, а сверху сажали грабовое деревце.

— А почему именно грабовое? — спросил парень в клетчатой кепке.

— Тебе должно быть известно, какой сырой бывает наша земля. А вино не любит сырости, от нее вино превра-

щается в воду. Там же, где растет граб, не бывает сырости.

И утомленный рассказчик умолк, склонившись на трость.

Несколько человек подняли из ямы большой осколок квеври. На внутренней его стороне присохли окаменевшие зернышки виноградных косточек.

Отец молча стоял среди других на краю ямы. Морщинистое, доброе лицо его светилось тихой гордостью. Иногда он высоко поднимал голову и орлиным взглядом окидывал соседей, глаза его светились спокойным торжеством, сухие губы трогала наивная, почти детская улыбка. Никогда раньше я не видел такой улыбки на его лице.

Белая шапочка отца была запачкана землей. Я снял с него шапочку, выбил ее о колено и осторожно накрыл седые отцовские волосы. Казалось, отец этого и не заметил.

Два года меня не было дома, целых два года! Как торопил я время, как спешил в пути, и вот до родного порога осталось всего несколько шагов.

Меня остановили осколки старой квеври, эти глиняные таблички, на которых записана история моей родины.

Возле наших новых ворот я увидел еще несколько больших кусков квеври. Отец, помню, решил перевезти их к дому. Мы подняли один осколок на арбу и потом толкали арбу в гору.

Я вспомнил письмо отца: «...когда строили дорогу, прямо перед нашим домом я нашел еще одну квеври. Помнишь, там когда-то тоже рос граб, но его срубили, корни мы тогда не выкорчевали, и квеври уцелела. В этой квеври у меня сейчас молодое вино. Храню его для тебя, сынок...»

...Оглушительный гвалт, визг, смех, звонкие детские голоса обрушились на меня. Я хватаю кого-то и целую, хватаю всех подряд. Наши соседи спешат ко мне, широко раскрыв объятия.

А вот и отец, мой сгорбленный отец. Он стоит в воротах, пиджак накинут на одно плечо, в руке новое топорище, на морщинистом лице его улыбка. Мы обнялись, я уткнул лицо в его твердое плечо.

— Отец, ты нашел еще одну квеври?

— Да, сынок. Совсем целую.

Вечером был устроен пир в честь моего возвращения.

Об этом празднике отец давно мечтал, и вот день настал, и отец устроил все, как полагается.

Тосты! О наши грузинские тосты! Главный тамада, чудовищного роста человек, стоя во главе стола, поднял в руке огромный рог.

— Друзья мои! Да здравствует наш народ! Низкий поклон тем, кто сохранил древнюю квеври, хранящую нам чудесное вино. Такое вино пили наши предки, и пьем мы сейчас...

Рекой лилось вино, перебродившее в той самой квеври, что нашел отец перед нашим домом. И вкус этого вина был особенный.

Отец не стал сажать мандариновые деревья. На землю, что давала нашим предкам виноград, должна была вернуться виноградная лоза. И отец поехал в Кахетию. Он решил привезти такой сорт винограда, какой когда-то разводили у нас в Аджарии: чхавери — самый старинный сорт. Виноград у нас прижился, тогда вслед за отцом потянулись в Кахетию со всех дворов нашей деревни. А вслед за нашей деревней тронулась вся округа.

И теперь на наших праздниках мы пьем вино, которое таит в себе и свежесть нашего края, и горечь его старины.

Перевел с грузинского А. КИМ

●

Андрей КРИВОШАПКИН,
участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей

БЕЛЫЙ ОЛЕНЬ

...Белый красавец олень, смежив мягкие веки, пережевывал сочную жвачку. Слабеющий порыв ветра коснулся его нежных, влажных ноздрей. Олень вздрогнул, вскинул гордые рога. Отвердели и стали похожи на прихваченные морозом длинные листья чуткие уши.

А встревоженное оленье стадо уже жадно ловило каждое движение вожака.

Тревожный запах, задевший ноздри вожака, пропал вместе с ветром, но белый красавец уловил в ночном пространстве дальние неясные шорохи. Он пружинисто двинулся по лесистому склону вниз к реке.

Стадо с многоголосым ревом ринулось в разбуженную таежную ночь.

Среди костистых, словно селедочные хребты, лиственниц низко над белой землей появились две длинные тени.

Белый олень был настоящим вожаком. Он уже не первый год водил по границе тайги и тундры тысячное стадо. Первый среди оленей, самый стройный и самый крупный, был самым умным. Сама природа отметила его ослепительно-белой мастью.

Две длинные тени, хищно изгибаясь, приближались к стаду. Белый олень ждал. За свою долгую жизнь под этими веселыми, беспечно перемигивающимися звездами он хорошо изучил волчий нрав. Стая хищников выбирает себе в жертву самого крупного, самого упитанного оленя и принимается его преследовать. Горе стаду, если намеченная волками добыча избежит своей ужасной участи! Разъяренная стая станет резать оленей без разбора, исступленно и ненасытно.

Вожак с тревогой оглянулся на охваченное страхом стадо. Он услышал тоненький звон сталкивающихся рогов. Чувствуют они, кровожадные хищники, этот терпкий волнующий дух оленей — запах панического бегства? Если они кинутся преследовать стадо, то не заметят его, одинокого оленя, бросившего им вызов. Еще миг — и будет поздно.

Белый олень, разбрызгивая сыпучий снег, крупными прыжками бросился хищникам наперерез. Пусть они его увидят и погонятся! Только так он спасет неопытных бычков и важенок.

Волки, увидев белую тень, заскулили от радости. Добыча была рядом.

А белому оленю осталось надеяться на себя и на свои ноги.

Он не замечал ни глубоких сугробов, ни тугих ветвей, ни хрупких сучьев. Он проваливался по брюхо в снег, ветки хлестали его по бокам, а сучья, сбитые рогами, падали ему на спину.

Сильные ноги легко несли белого оленя над родной землей, он комьями проглатывал упругий воздух, в его

груди клокотала радость. Во всем теле он чувствовал вдохновенный ток разбуженной бегом крови.

На бегу он косил глазами и каждый раз убеждался, что его преследуют оба хищника.

Волки, экономя силы, бежали след в след. Висели розовые языки, злая слюна срывалась клочьями, их мокрые морды обросли курчавым куржаком.

Расстояние между вожаком и хищниками постепенно сокращалось. Можно было остановиться и встретить врагов тяжелыми и острыми, как вилы, рогами и твердыми копытами. О, им не удастся свалить его в истоптанный окровавленный снег!

Олень знал, что волки в конце концов его настигнут. Что ж, он примет бой! Главное, не дать им вонзить клыки в сухожилия задних ног.

Но пока они не настигли, пока дышит грудь и бегут ноги, нужно увлечь хищников как можно дальше от стада.

Оленьи упряжки легко бежали по снежной целине. Умные животные по едва заметному знаку Орана петляли между каменными глыбами и поваленными бурею деревьями. За бригадиром, не отставая, следовал на своей упряжке молодой пастух Ирэт.

Резкий февральский утренник обжигал лица, приходилось растирать нос и щеки. Одинокие заиндевелые лиственницы грустно глядели людям вслед.

В устье таежной речки Навталкан оленеводы остановились. Здесь начинался лиственничный бор, богатый ягелем. Нартовых оленей привязали подальше друг от друга, чтобы они свободно копытили корм.

На верховых оленях пастухи поднялись на седловину сопки. За ней начиналось пастбище. На длинном пологом склоне виднелось множество снежных лунок. Здесь недавно кормились олени. Следы говорили Орану, что олени паслись спокойно: подножие сопки и часть лощины были вытоптаны. Пастухи достали из-за пазухи бинокли. Вокруг пусто и тихо. Куда же девалось стадо?

— Олени умчались этой лощиной. — Оран показал палкой вниз. — Видишь, весь снег в глубоких бороздах.

Друзья спустились в лощину, ведя в поводу ездовых оленей. Снег на склонах лежал сухой, глубокий. Спускаться было тяжело. Оран то и дело наклонялся над следами.

Ночью олени были здесь. Отдыхали. Но почему они вскочили и пустились с места галопом? Кого испугались? Волка? Росомахи?

Вот размашистые следы крупного быка. Оран узнал своего любимца. У вожака на левой передней ноге копыта притупленные. Такого не спутаешь с другим оленем. Оран узнает его след даже на тропе, по которой прошло целое стадо.

След белого оленя пересекли волчьи следы. За ним погнались два матерых хищника. Кровь бросилась в смуглые щеки Орана.

Поднимался ветер и гнал по лощине снежную пыльцу. Лощина запестрела снежными вихрями. Бригадир взглянул на небо. Появлялись плотные облака, приближался снежный заряд.

Пастухи встревожились. Снегопад заметет оленьи следы. Ищи тогда ветра в поле!

— Ирэт, — приказал Оран, — на базу. За Сергеем и Димой.

Ирэт сел на нарты и сразу же погнал оленя вскачь.

Белого олененка Оран спас от двух верных смертей.

Он ехал по лесистому берегу и увидел, как, распластав двухметровые крылья, орел стремительно спускался на одинокого олененка. Перепуганный малыш бежал со всех ног к речке и жалобно звал мать. На открытой местности он был верной жертвой для орла.

Молодая важенка с отчаянным хорканьем неслась детенышу на помощь.

Оран вскинул ружье.

Орел грохнулся о каменистую землю. Эхо выстрела долго шарахалось от сопки к сопке.

Олененок рванулся к матери и сорвался со склона в бурлящие, свивающиеся мутные струи. Оран прыгнул в воду, вытолкнул олененка и с трудом вскарабкался на скользкий обрывистый берег. Олененок дрожал от холода и страха. Оран вытер его своим плащом и понес домой.

Через месяц на Орана свалилось невыносимое горе: в схватке с медведем погиб отец. Пастухи нашли его в луже крови. Рядом лежал убитый зверь.

Отец Орана не расставался с оленями. Он родился и вырос среди них и погиб рядом с ними. В оленеводческом

колхозе «Заря коммунизма» был бессменным бригадиром. Пастухи не знали, когда их бригадир спит и ест.

Оран характером пошел в отца.

Когда он приезжал на каникулы, то вместе с отцом пас оленей, караулил стадо от хищников.

Бешено мчится стадо оленей... Целый лес рогов! На рогах мелькают солнечные блики. Попробуй найти рога твоего оленя и так набросить на них чаут, чтобы он не зацепился за другие!

Насупленный лобастый мальчишка, такой же молчаливый, как отец, вскоре стал опытным оленеводом. Он словно родился для того, чтобы продолжать дело отца.

Окончив школу с серебряной медалью, Оран вернулся домой к постаревшему отцу.

Мало пришлось им поработать вместе. Оран принял отцовское стадо как наследство. С тех пор прошло десять лет: столько же, сколько белому оленю.

Снег слепил глаза, хлестко бил по лицу. Началась настоящая пурга.

«Растеряем оленей. Какой позор!»

Верховой олень спотыкался и норовил повернуться к ветру боком. Оран его одергивал. Снег запорошил следы, пропали деревья, сопки.

«Такая резвая пурга ненадолго», — успокаивал себя Оран.

Между лиственницами мелькнули черные тени. Две. Три. Четыре...

— О! — обрадовался Оран. — Четырех оленей я уже нашел. Они меня выведут к остальным.

Снег вокруг продолжал свою неистовую пляску. Порою Орану казалось, что в таежное урочище вломилось большое белое чудовище. Оно наваливалось на человека, пыталось свалить его с ног. Но самое страшное — белое чудовище злобно затаптывало оленьи следы. Оран с трудом угадывал, куда бежало стадо.

На вершине горы, куда завела бригадира четверка оленей, ветер бесновался так, словно собирался сбросить его вниз. Мелкая снежная пыль била по глазам, Оран прикрывал мокрое лицо рукавицей.

Он узнавал знакомые места. Сейчас будет распадок, а там большая река. Оран спешился. Верховой олень шел за ним, как привязанный, словно боялся потерять челове-

ка. Оран помогал ему выбираться из сугробов и скользить по зализанному ветром насту. Случалось, что и олень помогал бригадиру: приседая, он медленно сползал по крутому склону и удерживал человека. Оба они покрылись мохнатым серебристым куржаком.

Но где же белый олень? Сумеет ли он обмануть упорных кровожадных хищников?

Здесь, на этой реке, Оран приучал оленя ходить в нарте. Сколько понадобилось терпения и ласки! Сначала олень мгновенно порвал замшевые ремни и вырвался. От негодования он дрожал всем телом. Оран, приговаривая ласковые слова, осторожно приблизился и положил теплую ладонь на вздрагивающую холку. Нежное поглаживание, знакомые слова понемногу успокоили оленя. Только в больших темных глазах горело недоумение. Оран потихоньку заменил рваные лямки. Снова рванулся белый олень, но хозяин железной рукой остановил его.

Так повторялось много раз, пока человек не покорил гордого оленя лаской и терпением. Вскоре олень и человек научились понимать друг друга.

Однажды бригадир увидел Нямгит — дочь охотника Олегэни. Стоял ослепительный летний день. Нещадно пекло солнце. Девушка купалась в ручье. Она наслаждалась одиночеством, горячим песком, жаркими камнями, прозрачной водой. Оран остолбенел. Тоненькая, как молодая лиственница, фигурка, черные, как спелая смородина на речных островах, глаза, сияющие из-под густых и длинных ресниц. Девушка присела на теплый камень и о чем-то задумалась, смутная улыбка блуждала по ее милому лицу.

Нямгит не видела Орана. Неслышной походкой смущенный Оран обошел ручей и вернулся в тайгу.

Встреча у ручья разбудила Орана. После смерти отца он был сумрачным, казался взрослее своих лет. Редко кто видел улыбку на лице бригадира. А теперь его смех и шутки звучали все чаще и громче, а глаза всюду искали Нямгит.

Сколько будет длиться эта смертельная погоня? Олень уже чувствовал, что на его копытах повисла усталость.

Волки на бегу скулили от злости!

Олень почувствовал во рту соленый привкус. Это уста-

лость добралась до его горла. Он облизнулся, ему хотелось соли. Горсть белой вкусной соли!

А волки настигали...

Браня пургу, Оран искал свежие следы оленя.

— Я распутаю этот чертов клубок! — выругался бригадир и содрал с лица ледяную коросту.

На лесистом угоре верховой олень неожиданно повернул голову, и Оран увидел придавленную снегом палатку. Из сугроба торчали нарты.

— Это еще что? — удивился бригадир. — Может, охотник?

Он повернул своего оленя к палатке.

Из-под нарты тявкнула собачонка. Оран спрыгнул с оленя и увидел у порога заледенелые капли крови. Он рывком распахнул полог. В палатке было холодно, столбом стояла мелкая снежная пыль. У маленькой железной печки лежал под оленьей дохой человек и тихо стонал. Бока печки заиндевели.

— Что случилось? — Оран встревоженно наклонился над человеком, поднял край дохи. Он узнал пенсионера Кэнели Колтэкинэ.

— Что с тобой, дедушка? Где твои олени?

— Волки приходили. Бежали олешки...

Оран набил снегом плоский алюминиевый котелок. Мысли о разогнанном волками стаде не давали ему покоя. Что теперь делать? Человека надо спасать. Олешки подождут. Приедет Ирэт с ребятами... Соберем!

— Кто же ходит в тайгу без аптечки? — удивился Оран и достал из нагрудного кармана бережно завернутый в целлофан пакет. Он осторожно поднял голову старика и помог ему выпить растворенный в теплой воде порошок.

— Спасибо тебе, Оран! Ты настоящий сын своего отца.

— Давай, дедушка, собираться. Дорога неблизкая. Пуржит...

Оран прислушался к вою ветра за стенками палатки: «Хоть бы стихло. До базы километров пятьдесят».

В предутреннем небе проклюнулись звезды. Затмевая их мерцающий свет, по небосводу полыхнули розовые, оранжевые, голубые всполохи. Волшебно заискрился снег.

Оран обрадовался необычному празднику света в родном вечернем небе.

— Дедушка, глядите!

В глазах Кэнели Колтэкинэ вспыхнули огненные брызги.

Оран торопил оленя, помогал ему тащить нарту, проваливался в сугробы. Они выбрались к руслу реки.

— Уф! — с облегчением вздохнул Оран. «Теперь успеем к радиосеансу, вызовем вертолет. Но до чего же тяжелый этот дедушка Кэнели!»

Перед взором Орана открылась широкая долина. Олени прибавили ходу. Они почуяли других оленей. Оран услышал знакомые окрики пастухов.

Радостно заколотилось сердце Орана.

— Это Ирэт! Какие молодцы!

Из-за молодых лиственниц хлынули в долину олени. Их было много, тысячи. Они шли кротко, красиво. Оран затаил дыхание. Колыхались в морозном тумане ветвистые рога, золотым ожерельем повисали на них лучи утреннего солнца. Казалось, само солнце, улыбаясь, радостно плыло над оленями.

Но что это? Оран вздрогнул. Впереди стада, гордо подняв голову, размашистой рысью выступал белый олень.

Вожак стада узнал своего друга. Он вытянул гибкую шею и помчался прямо на Орана. Они встретились. Олень ткнулся в грудь человека и притих. Оран обнял вожака за крепкую шею и прижался. Здравствуй, мой белый олень! Кто расскажет, от какой беды ты ушел сегодня ночью? И как тебе это удалось?

Потом Оран увидел своих друзей. Пастухи, улыбаясь, стояли в сторонке и любовались встречей двух друзей — человека и оленя...

Перевел с эвенского Александр ПОДМОГИЛЬНЫЙ

ПЕРЕКЛИЧКА
МОЛОДЫХ ПОЭТОВ

ЧАС ПРИСЯГИ

Анатолий ВЕРШИНСКИЙ

РОДСТВО

С годами начинаешь понимать,
что Родина — не только дом
с березкой,
она еще — твои отец и мать,
и старший брат, зарытый в землю
в Томске;
и девушка любимая твоя,
которую не ты назвал женою,
и старые надежные друзья, —
все это именуется страною.

Мне скажут: — Ты, приятель,
близорук,
твое родство утрачивает силу,
когда уйдут любимая и друг,
когда сойдут родимые в могилу.
А между тем в любые времена
случалось только так и не иначе:
живые умирали, а страна —
страна жила! Так что же это
значит?

— А это значит, что в моем отце,
и в матери, и в каждом из сограждан
есть то, что не кончается в конце
и дружбы, и любви, и жизни каждой, —
то самое, что с верой, столь большой,
по прихоти людской — слепой, капризной —
всегда звалось бессмертною душой,
а я зову бессмертною Отчизной.

г. Красноярск

Олег ИГНАТЬЕВ

* * *

Замер строй.
Мы почти не дышим.
Нас присяги высокий слог
Поднимает
Все выше, выше —
Видим запад мы и восток!
И родительский дом, и друга
По рассказам знакомый дом...
Нам — от севера и до юга —
Светит Родины окоем.
Час присяги!
Будь славен трижды
Самый главный в судьбе поворот!
Коль солдаты есть у Отчизны —
Верен будущему народ.

г. Железноводск

Анатолий СУЗДАЛЬЦЕВ

* * *

Прижимаюсь губами
К морщинкам твоим дорогим.
Стала старенькой ты и от слез набежавших незрячей.
Убран трап. И пропеллеров хищных круги

Набирают разбег — все быстрей, и быстрей, и
прозрачней.
Ты не хочешь поверить, что все это вышло всерьез,
До сих пор не поймешь, чем он сердце мое приневолил,
Этот край, где ни ласточек нет, ни берез,
Ни горячего марева в белом распахнутом поле.
Показалось тебе, что дыханьем жестоких ветров
Обжигает лицо — на мгновенье закрылась рукою...
Ты не бойся, родная, что Север далек и суров, —
Я на свете, пожалуй, чего-нибудь стою.
Он меня для хорошего дела берет.
И живут там такие ж, как мы, россияне.
От родного крыльца до полярных высот
В четверть шара земного легло расстоянье.
Все мощнее турбин нарастающий гром,
И расплавленный воздух стеклянно клубится.
...И огромный внизу, словно айсберг,
аэродром.
И на кромочке мама.
Не может проститься...

пос. Синегорье,
Магаданская область

Борис ПОПОВ

ВЕЧНЫЙ ГОРОД

Снятся мне у Магнитной ковыльной горы
золотые, веселые, злые костры!
В бездорожье осеннее, в мокрый туман —
поднимается в памяти дед мой Иван.
Это было в тридцатом голодном году,
это было и будет...
Пустели луга.
Остывала листва тополей на лету.
И казалось: Казань далека-далека!
Из Казани тогда-то вот, в хмурый денек,
пуще жизни храня комсомольский билет,
по путевке приехал сюда паренек —

мой ровесник, мой сверстник,
мой правильный дед!
И, попутные ветры вручив поездам,
краснозвездное время летело вперед.
И с кайлом и лопатой, упорен и прям,
наступал тридцать первый решительный год!
О, железное племя — партийный закал!
Что титаны трагедий — легенда и миф?
За авралом — аврал,
за авралом — аврал,
за чахоткою — тиф,
за чахоткою — тиф!
...Я не знаю, какая мне выпадет честь —
разведу ли свои золотые костры?
Только счастлив до боли,
что был он и есть —
Вечный город у Вечной
Магнитной горы!

г. Магнитогорск

Петр ПЕРЕБЕЙНОС

ТЕРНОВЫЙ ПЛАТОК

Вижу я снова и снова:
во поле жито растет,
мамин платочек терновый
над колосками цветет.

Грозы над маминой долей
кровью кропили жнивье.
Тернии горести вдовьей
не пощадили ее.

Милая мама!
Сквозь дали
светит родной огонек.
Снова в тумане печали
вижу терновый платок.

Вижу: восходит полночный
светоч лица в небосвод.
Мамин терновый платочек
над колосками плывет.

г. Киев

Перевел с украинского
Игорь ФЕДОРОВ

Евгений ЮШИН

ТИШИНА

Какая тишь!
Луна глядит совой.
Ночь южная: тепло, как на экваторе.
Тень проползла,
Проходит часовой,
Да уши растопырили локаторы.

Как облака над степью, ходят сны,
Туманами
Отчизна укрывается.
И я стою у края тишины
И счастлив,
Что она не прерывается.

Москва

НАШИ ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Михаил ТЕНЯКОВ

Михаил Теняков родился в городе Вязьме Смоленской области в 1953 году. Окончил десятилетку, служил в Советской Армии, в танковых войсках. В настоящее время живет и работает в поселке Малаховка Московской области.

Публикуемые стихи — первое выступление молодого поэта в центральной печати.

ЗЕМНЫЕ СОКИ

ВЕРБА

Краса апреля, здравствуй, верба!
Тебе привет мой и поклон!
Признайся мне: в тебя, наверно,
весь предвесенний лес влюблен.
Стоишь, боясь пошевелиться...
Какое счастье расцветать,
угадывая в почках листья,
как скорого ребенка — мать.
Прохладным утром, утром ранним
я шел к реке смотреть разлив,
тебя увидел на поляне
и замер, обо всем забыв.
И долго, нежный и счастливый,
к губам тугие ветки гнул
и жадно слушал гул бурливый,
подземных соков мощный гул...

ТУНДРА

Кто придумал слово «тундра»?
Заполярный местный житель?
Кто же? Коми узкоглазый,
или маленький нанаец,
или, может, чукчи, в нартах
разъезжая по пустыне,
вьюжной, снежной, бесконечной,
с чукчиянкою веселой?
Нет, наверно, все же русский,
самый первый поселянин,
в мерзлый грунт вбивая сваю:
— Трудно, — вымолвил сквозь зубы,
сел, вздохнул и рукавицы
вдруг швырнул с досадой наземь...
Но потом же над собою
посмеялся в бородищу,
поднял молот — и со скрипом
свая толщу льда пробила...
— Трудно, эко дело — трудно!.. —
Ветер с Баренцева моря
слово новое услышал
и разнес по русским землям,
исказив его случайно.

* * *

Как много здесь осталось от войны:
Окопы, рвы, воронки от снарядов!..
Возможно ли средь мирной тишины
Привыкнуть бессознательно, что рядом
Копнешь лопатой — и найдешь свинец,
Что бомба яму вырыла, где — силос,
И что под липой, где трава сгустилась,
Лежит герой — наш летчик, наш боец;
А та сосна без сучьев, на горе,
С заржавленными гнутыми скобами
Была дозорной вышкой над полями,
И много пуль лежит в ее коре...
Следы жестоких лет, вы заросли,
Но не настолько, чтоб совсем сровняться
С лицом измученной врагом земли.

И до сих пор полям совхозным снятся
Сожженные деревни, города,
Растущие теперь в соседстве близком.

И в чистом небе каждая звезда
Мне кажется звездой над обелиском.

* * *

И лес, и вид холмов отлогих,
и блеск еще живой травы,
и перевесьевской дороги
изгибы, выбоины, рвы,
и та тропа в кустах под горкой,
и речка, и над речкой кладь,
и чей-то взгляд вдогонку зоркий,
когда иду один гулять;
и стол под липою двуствольной,
и листья серые на нем,
и мяч забытый волейбольный
в крапиве редкой за двором;
туман над голыми полями,
зола холодная костров,
полуразмытая дождями,
и грусть осенних вечеров,
и ветер, праведник безбожный,
поющий по ночам в трубе, —
мне все с тоскою безнадежной
напоминает о тебе.

Егор ИВАНОВ

НЕГРОМКИЙ ВЫСТРЕЛ

Роман-хроника

КНИГА ВТОРАЯ

ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ

КОБЛЕНЦ, ДЕКАБРЬ 1914 ГОДА

В тихий милый Кобленц к рождеству собиралась вся семья доброго «папы Вильгельма». Прибыла императрица, которую супруг в грош не ставил и на которую позволял себе повышать голос в присутствии посторонних. Вместе с ней в одном литерном поезде приехала принцесса Цецилия, единственная и любимая дочь императора.

Примчались принцы — пять крепышей в военной форме, с ярко-красным румянцем на щеках, веселые и беззаботные, как и положено в молодости.

Прибыл главнокомандующий военно-морских сил принц Генрих Прусский, брат императора.

Последним, буквально за два часа до начала мессы в сочельник, когда «папа Вильгельм» начинал уже злиться из-за его отсутствия, явился кронпринц Вильгельм, тридцатидвухлетний командующий 5-й армией. Кронпринц, разумеется, мог быть в Кобленце и пораньше. Ведь город лежит всего в паре сотен километров от Диденхофена, где стоял его штаб. Однако старший сын и наследник императора хотел показать независимость и занятость фронтовыми делами. К тому же он страдал чувством антагонизма к своим родственникам, которые платили ему той же монетой.

Короли и императоры никогда особенно не любили тех, кто должен был наследовать их корону и власть, даже если это и были родные дети — плоть от плоти и кровь от крови. В свою очередь, те из кронпринцев, кто стремился к власти и жаждал ее, никак не могли дождаться естественного свершения событий. Правда, так бывало в средние века, а в просвещенный двадцатый отцы и сыновья, дядья и племянники из-за корон уже не душили и не травили друг друга. Они сохраняли видимость добрых отношений.

Первенец Вильгельма Гогенцоллерна, увы, не имел царственного вида и осанки. Это был узкогрудый и суту-

---

Продолжение. Начало в № 4 и 5.

ловатый молодой человек, довольно хрупкий на вид, с худощавой физиономией, похожей на лисью. Кронпринц не производил на окружающих впечатления умного и проницательного деятеля. Скорее наоборот: его считали довольно заурядным любителем дешевых политических эффектов и громких демонстративных заявлений. Но надо отдать ему должное: престолонаследник Вильгельма II всерьез готовился стать повелителем Германии и всего мира. Он примчался в Кобленц в забрызганном грязью автомобиле, в походной форме.

Праздничный ужин после мессы был накрыт в парадной зале королевского дворца, перед камином, в котором горели огромные дубовые бревна.

Как водится, мужчины удалились после ужина поболтать за глотком коньяка и сигарой, дамы остались за столом пригубить ликеры, от которых сон делается спокойнее, а лицо розовее. Молодые принцы испросили разрешения уйти и отправились в офицерское казино. Остались кайзер, кронпринц Вильгельм и принц Генрих Прусский.

Настроение кайзера, несмотря на веселый и милый праздник, было довольно мрачным и подавленным. Ему уже надоела эта игра в войну, когда нет побед, а со всех сторон докладывают об одних лишь неприятностях. Вот и вчера канцлер счел возможным представить доклад, из которого следовало, будто запасы нитратов на складах химических трестов истощаются и скоро не из чего будет делать порох.

Голосом, в котором сквозила жалость к самому себе, кайзер начал разговор с братом и сыном.

— Австрийцев бьют русские... А из-за чего? Австрийское офицерство крайне неудовлетворительного состава — вот почему австрийская армия не дает того, что могла бы дать...

Кронпринц и принц Генрих встрепенулись.

— Сказались роковые последствия того, что в Австрии знать не несет тягот военной службы. Она держится в стороне от армии, а офицерство из-за этого состоит только из профессионалов. А профессионалы, известно, сражаются не за императора, а за жалованье...

— Вилли, как глубоко ты прав! — пробасил принц Генрих. — У них и не могло образоваться истинной внутренней спайки в офицерском корпусе.

— Меня удручает эта позиционная война! — брякнул Вильгельм без всякого перехода. — Мои силы скованы,

плотность войск на фронте уменьшается, и становится невозможным наступление! Надо что-то делать!..

— Ваше величество! — вдруг вмешался в разговор кронпринц. — Отец, я тоже много думал над всеми этими вопросами и пришел к выводу, что нам следует искать возможность заключить мир хотя бы с Россией — тогда мы сможем повернуть все армии на Париж и одним броском закончить войну...

Император, отвернувшись, молчал.

— Отец, — настойчиво повторил кронпринц. — Я совершенно сознательно заговорил о сепаратном мире с Россией. По-моему, это блестящий выход из положения! Если Николай пойдет на мир с нами, мы сможем перебросить все войска на Запад и легко прорвем франко-английский фронт. Если русский царь не сможет или не захочет вести с нами переговоры, сам факт наших с ним контактов внесет смуту в отношения между державами Согласия, и мы на этом кое-что выиграем...

Вильгельм-старший перестал капризничать и внимательно посмотрел на кронпринца. Отблески язычков свечей в кабинете то и дело хищно зажигали глаза на лисьей мордочке его первенца и престолонаследника.

«Он не так глуп!» — подумал император.

— А на каких условиях ты мыслишь заключение мира с русскими?..

— Ваше величество, я полагаю, что мы вполне можем отдать им на словах и даже на бумаге Константинополь, а следовательно, и проливы, что так страстно добивается, судя по показаниям разведки, вся русская верхушка...

— Это мы можем им смело обещать, тем более что Англия при любом послевоенном урегулировании никогда не даст русским воспользоваться важнейшими частями турецкой территории... Что еще?..

— Учитывая всегдашнюю погоню России за чужими деньгами — я имею в виду займы, которых российские банкиры нахватали в Париже и Лондоне, — можно было бы предложить дяде Ники пять или десять миллиардов золотых рейхсмарок на покрытие издержек войны...

— Неглупо!.. — дал оценку предложениям наследника император.

— Я бы отдал России еще пару кусков Польши, — вступил в разговор принц Генрих. — Одна из идефикс Ники — создать, под своей эгидой, разумеется, польское королевство в старых границах Польши... Для вящего соб-

лазна мы могли бы пойти и на такое предложение ему... Как ты думаешь?

— Превосходно! Идея плодотворна, но как ее осуществить?! Ведь прямо я не могу написать Николаю такое письмо с этими предложениями?! Надо что-то придумать...

...Наутро за туалетом император милостиво принял с докладом полковника Вальтера Николаи, начальника разведки. Поучиться государственной мудрости пришел и кронпринц.

Когда парикмахер закончил поправлять прическу императора, а массажист — обрабатывать его щеки, император встал с кресла.

— Пойдемте в кабинет!.. — ласково обнял он за плечи своего любимца, обер-шпиона Германии.

В рабочей комнате Вильгельм любезно усадил Николаи в кресло, сухо указал на другое кронпринцу и уселся сам. Придерживая здоровой правой рукой сухую левую, кайзер страстным шепотом выдохнул полковнику задание:

— Нам очень нужно поссорить союзников с Россией!.. Какие у нас есть для этого средства?.. Впрочем, средство я называю вам сам — сепаратные переговоры между Берлином и Петроградом... Продумайте эти вопросы, мой сын предложил неплохую идею... Нам теперь требуется дельный исполнитель или исполнительница... Как вступить в контакт с царем, разумеется, совершенно негласно, так, чтобы ни одна живая душа не узнала?

Николаи внимательно слушал, и ему нравилась вся эта комбинация, любой исход которой — удачный или неудачный — одинаково хорошо работал на пользу империи. Руководитель разведки прекрасно понимал, что слухи о контактах Берлина и Петрограда неизбежно просочатся в Лондон и Париж и поведут к охлаждению между союзниками. Он даже решил помочь быстрейшему распространению этой информации в Лондон и мысленно наметил для этого кандидатуру крупного банкира Баллина. Германский финансист, большой друг директора английского банка Касселя, сам найдет способ через надежных нейтралов «проговориться» о первых попытках Вильгельма и кронпринца завязать с русскими разговоры о сепаратном мире.

ПРАГА, ЯНВАРЬ 1915 ГОДА

Пять месяцев томился Алексей Соколов после ареста в военной тюрьме на Градчанах в Праге. После ареста в Германнштадте, неподалеку от границы с Румынией, его привезли в арестантском вагоне в Прагу, где служил в 8-м корпусе начальником штаба его выдающийся агент полковник Редль. Как правильно полагали австрийские контрразведчики, в чешской столице продолжала действовать большая разведывательная организация, снабжавшая материалами Соколова. Максимилиан Ронге рассчитывал, что в Праге удастся заставить русского разведчика давать показания.

Следователь майор Юнгвирт тщетно пытался принудить говорить Соколова о его связях с чехами. Он вызывал его с немецкой методичностью на допрос в здание военного суда на Градчанах из его камеры в Новой Белой башне Пражского кремля каждую неделю, но после любой из этих «бесед» не мог занести в тощую папку с надписью «Оберст Соколофф» ничего, кроме ставшей традиционной строки: «Русский полковник отказался вести разговор на военные или политические темы».

Содержали Соколова на этаже для важных государственных преступников, в одиночной камере, но в довольно сносных условиях. Полковнику сохранили его гардероб, позволяли отдавать в стирку белье и изредка заказывать обед в ближайшем ресторане, разумеется, за счет его денег и с доставкой через вахмистра тюремной охраны.

Маленькая камера освещалась днем крошечным окошком, затянутым толстой железной решеткой. Оно выходило высоко над Оленьим рвом. Кроны деревьев не закрывали дневного света. Впрочем, промозглой осенью и сырой бесснежной зимой даже днем над городом стоял туман, усугублявшийся смогом. Густые клубы каменноугольного дыма из множества каминных, печных и фабричных труб застаивались над Прагой.

Алексей с первых дней своего заключения не терял духа. Он верил, что найдет достойный выход из почти безвыходного положения, в которое попал, как он считал, из-за своей торопливости. Только с течением времени, когда группа Филимона Стечишина, узнав о его аресте и содержании в градчанской тюрьме, смогла установить с ним связь, Соколову передали, что все силы германской

и австро-венгерской контрразведок были брошены на его поимку. Это известие, впрочем, нисколько не облегчило духовных мук Алексея. Их несколько умерило лишь сообщение о подготовке его побега, переданное через одного из тюремщиков, подкупленных Младой Яроушек. Связная группы Филимона оказалась, как всегда, на высоте и буквально в течение месяца через одного из своих служащих, симпатизировавших освободительному славянскому движению, разыскала ходы к человеку, работавшему в Новой Белой башне. Теперь этот охранник регулярно передавал Соколову записки от резидента и носил Филимону послания Алексея.

Режим охраны русского полковника не был очень строгим. Это позволило Алексею получить в переплетах книг, которые он просил «купить» ему, тончайшие пилки для пропиливания необходимого лаза в решетке окна. В буханках хлеба, передаваемых Младой, — части веревочной лестницы из легкого и тонкого шелкового шнура.

Приближался момент побега — он был намечен в ночь на 20 января. К этому времени Алексей условился с Филимоном, что в зарослях Оленьего рва в полусотне метров от того места, куда он спустится в три часа ночи по веревочной лестнице, его будет ждать провожатый от Филимона, который и проведет его в надежное убежище.

Отбой прозвучал вечером девятнадцатого, как обычно, в десять. Соколов погасил керосиновую лампу, освещавшую место его заточения, и выждал, пока на площадке не замолкнет шум обхода, проводящего вечернюю инспекцию.

В темноте Соколов особенно явственно слышал все звуки. Ему казалось, что, начни он перепиливать решетку, шум этот услышит вся тюрьма. Однако надо было приступать к делу.

Занимаясь гимнастикой и подтягиваясь на решетке, словно шведской стенке, Алексей в то же время тренировал себя быстро и на ощупь перепиливать толстые железные прутья. Теперь ему было легко приступить к этому. Мягкое железо, кованное кузнецом, очевидно, еще в средние века, легко поддавалось современной стальной пилке, но потребовалось перепилить шесть прутьев, чтобы образовалось достаточно большое отверстие.

Соколов предусмотрел все — он даже положил под дверь свое одеяло, чтобы сквозняк из открытого во время перепиливания решетки окна не колебал пламя лампы, стоящей на столике у ночного стража на этаже.

Когда последний прут поддался его усилиям и обломился на распиле, Соколов вытер горячий пот с лица. Он быстро вскрыл матрас и достал оттуда веревочную лестницу. Еще вчера ночью он связал все ее части воедино, и теперь оставалось только покрепче привязать ее конец к торчащим зубьям спиленных прутьев. Прежде чем выбросить лестницу наружу, Алексей зажег в окне одну за другой две спички, а затем высунулся и посмотрел вниз. Далеко у подножия башни он увидел две вспышки потайного фонаря, направленные на его окно. Провожающий был на месте.

Алексей выскользнул через окно наружу. От резкого движения чуть не сорвался с двадцатиметровой высоты, не найдя в первую минуту под ногой звена веревочной лестницы. С трудом это ему удалось, и он почувствовал опору.

О стену башни бился пронзительный, сырой и холодный ветер. Соколов был в обычном штатском костюме, спину которого он разорвал об острые края спиленных прутьев. Полковнику помогали железная воля, могучее желание стать свободным и многочасовые тренировки, которыми он изнурял себя в камере.

Спускаться по тонкой веревочной лестнице с высоты многоэтажного дома было нелегко. Делу помог человек, ожидавший внизу. Он поймал конец лестницы и повис на нем, чтобы Соколова меньше раскачивало. Но и при этих, более благоприятных условиях Алексей несколько раз очень больно ударился о выступы шершавой стены башни.

Когда он спустился наконец вниз, только темнота зимней бесснежной ночи скрывала его разодранный костюм, натруженные до багрового цвета руки и в кровь разбитое лицо.

— Карел! — представился человек среднего роста, одетый в форму ландвера. — Надо спешить, пане полковник! Скоро люди пойдут на работу...

Соколов пожал ему руку. Тут же Карел накинул на него теплый плащ с капюшоном и, взяв за руку, потянул за собой по хорошо известной ему тропинке. Алексею удалось бросить только один взгляд снизу на махину башни и выступавший где-то высоко-высоко карниз крыши.

Раскисшая от талого снега почва, покрытая прошлогодней травой, шла резко под уклон. Карел уверенно лавировал между стволами деревьев и ветвями кустарников,

не выпуская руки Соколова. Алексей подумал, что если бы он шел здесь один, то в довершение всего исцарапался бы в кровь в этом лабиринте.

Когда они удалились на полверсты от башни, выход из широкого Оленьего рва преградила крепкая высокая решетка с калиткой, запертой на висячий замок. Для спутника Соколова было делом нескольких секунд открыть замок, отворить калитку, а затем запереть ее за ними такой отмычкой, которая сломает замок и не даст ему больше открыться. Этим Карел старался хоть на несколько минут задержать погоню за ними.

На серпантине дороги, сбегающей здесь к подножию холма, на котором возвышаются Градчаны, стояла карета, запряженная парой лошадей. На козлах темнела фигура человека. Кучер распахнул дверцу при приближении Карела и Соколова. Когда оба оказались внутри, сильные лошади взяли под гору вскачь и легко помчали экипаж по брусчатой мостовой. Промелькнули темные безлюдные улицы Клейнзайте — Малой страны, затем — ремесленного предместья Смихова, и карета выехала за город.

У Соколова не было сил говорить. Он откинулся на мягкие подушки и полузакрыл глаза. Спутник не тревожил его вопросами.

Возница правил привычной рукой, уверенно поворачивал на перекрестках. Наконец подъехали к воротам какой-то усадьбы, кучер соскочил с козел, отворил ворота и подал карету к боковому крыльцу. Никто не встречал гостей. Кучер и здесь уверенно поднялся по ступеням, открыл своим ключом дверь и пригласил войти Соколова и Карела.

В прихожей человек зажег керосиновую лампу, а затем быстро прошел на кухню и тщательно занавесил окно. Только после этого он зажег свет.

Скинув кучерскую накидку, возница оказался хорошо одетым и довольно упитанным господином приятной наружности, с пшеничными усами и пшеничными бакенбардами, между которыми светились голубые веселые глаза и розовел крупный прямой нос.

— Вице-директор Живностенского банка Пилат! — представился он Соколову.

— Полковник Соколов! — ответствовал Алексей.

— Добро пожаловать, друг, в мой загородный дом! — поклонился Пилат. — Здесь будет ваше убежище на ближайшие дни...

— Большое спасибо! — ответствовал Алексей. От усталости и пережитого напряжения он чувствовал себя разбитым и говорил еле слышным голосом. Чехи поняли его состояние.

— Карел останется вам помогать, а мне надо ехать!.. — решительно заявил хозяин и надел снова свою накидку.

Соколов подошел к Пилату, полуобнял его и сказал чуть бодрее:

— Еще раз благодарю за все, что вы для меня сделали!

— Не стоит благодарности, друг! Это наш долг перед лицом общего врага...

ВУДСТОК, ОКСФОРДШАЙР, ЯНВАРЬ 1915 ГОДА

Сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль обожал бывать в родовом поместье герцогов Мальборо Бленхейме. Внук седьмого дюка * оф Мальборо Джона Уинстона, он был сыном третьего, а не старшего сына герцога и не имел поэтому прав на громкий титул, входящий в десятку первых в Британии. Но он родился во дворце Бленхейм — на груде пальто и меховых шуб в комнате, превращенной во временную раздевалку для бала, который давал его дед в своем родовом имении. Уинстон стал вторым отпрыском по мужской линии герцогов Мальборо. В течение двадцати лет — пока у старшего брата его отца был только один сын, с которым что-то могло случиться, — Черчилль сохранял все права на наследование огромного состояния и поместья с дворцом. Правда, впоследствии ему стал известен наказ его родной бабки — герцогини Мальборо, дочери американского мультимиллионера Вандербильта, женщине, ставшей женой ее другого внука, девятого герцога Мальборо: «Вашим главным долгом является рождение ребенка. И это должен быть сын, ибо было бы невыносимо, если бы этот недоносок Уинстон унаследовал титул герцога!»

Динамичная натура сэра Уинстона не позволяла ему долго пребывать в обиде и расстройстве из-за того, что судьба не подарила ему герцогства и миллионов фунтов стерлингов. Иногда он приходил к мысли о том, что никогда не сделал бы карьеру, не принял бы такого весомо-

* Герцог.

го участия в азартной и увлекательной игре, называемой политикой, случись ему по капризу фортуны унаследовать титул.

Из-за проклятой войны сэру Уинстону не удалось после рождества остаться отдохнуть в Бленхейме до крещения, как это могли себе позволить бездельники-аристократы. Военно-морской министр вынужден был первые три дня нового, тысяча девятьсот пятнадцатого года провести в своем кабинете в адмиралтействе и разрабатывать плодотворную идею, которая могла бы повернуть в пользу Британии весь ход войны. Идея была проста, как колумбово яйцо, — захватить силами британского флота Дарданеллы, оседлать их и уже не выпускать из рук, превратив в конечном итоге в новый Гибралтар.

Долгие часы провел сэр Уинстон перед картой Ближнего Востока. Ужас охватывал его при мысли о том, что будет, если русские первыми высадят десант в Турции, обойдут Константинополь по суше и захватят Босфор и Дарданеллы! Майор Нокс и посол Бьюкенен вовсе не исключали подобной операции русского флота. По мнению Бьюкенена, русские исключительно с этой целью добивались втравливания в войну Болгарии, чтобы через болгарскую территорию напасть на Константинополь...

С такими мыслями сорокалетний министр расхаживал вечером накануне праздника крещения по Длинной библиотеке Бленхейма от ее северного крыла с великолепным органом до южного, где уютно пылали дрова в камине. Дым сигары улетал под своды трехэтажной высоты зала.

Со стороны органа показался один из слуг. Он явно кого-то искал. Заметив военно-морского министра, лакей подошел к нему и доложил:

— Милорд, прибыл из Лондона секретарь вашей светлости, мистер Эдуард Марш. Он просил доложить, что имеет важное сообщение...

— Проведи его сюда... — показал сэр Уинстон на диванную группу возле камина и задумался: о чем же так экстренно собирается сообщить мистер Эдди?..

Личный секретарь первого лорда адмиралтейства не заставил себя ждать. Высокий, худой, с неизменным моноклем в глазу, он тотчас появился в дальних дверях библиотеки и торопливыми шагами заспешил к патрону. По дороге он боязливо оглянулся на играющих в вист старичков.

— Милорд! — обратился Марш своим писклявым голосом к Черчиллю, — я привез срочные бумаги от сэра Реджинальда Холла...

— Вы уже ознакомились с донесениями разведки? — поинтересовался сэр Уинстон у своего доверенейшего сотрудника.

— Да, сэр! — коротко ответил Марш и добавил, еще раз оглянувшись на старичков, сидевших неподалеку от места, где расположился министр. — Не сочтете ли возможным, сэр, найти другое помещение, где мы были бы одни?..

Черчилль про себя подивился такой требовательности Эдди и отнес ее на счет крайней взволнованности. Очевидно, сообщение было действительно очень важным и конфиденциальным. Первый лорд легко поднялся с дивана и повел Марша во Второй парадный дворцовый покой, расположенный через один зал от Длинной библиотеки.

Здесь сэр Уинстон устроился на диване в углу и жестом пригласил Эдди сесть рядом. Марш расстегнул кожаную папку, в которой возил всегда самые важные бумаги, достал лист доклада начальника военно-морской разведки сэра Реджинальда Холла и молча протянул его Черчиллю. Пока шеф читал, Эдди Марш с любопытством разглядывал богатейшее убранство зала.

Это занятие Марша прервал возбужденный голос Черчилля:

— Вы читали, что у Вильгельма Второго под влиянием кронпринца и, очевидно, министра иностранных дел фон Ягова созрела идея сепаратного мира Германии и России? Как вы оцениваете эту информацию? — сказал сэр Уинстон.

— Милорд! Это весьма серьезно и идет из совершенно иного источника, чем слухи, доставляемые господину Извольскому министром Сазоновым относительно возможной попытки Австрии заключить сепаратный мир с Россией. Его телеграмму мы перехватили и расшифровали...

— Не было нужды стараться, — буркнул Черчилль. — Все равно этот старый осел обо всем рассказал бы французам, а те — нам!..

— Милорд! — поспешил опровергнуть мнение сэра Уинстона его секретарь. — Французы не всегда сообщают нам важные сведения... Частенько они их скрывают от нас...

— Эдди, насколько серьезны намерения Вильгельма отдать Дарданеллы России в случае сепаратного мира? Как вы думаете? — вернулся к существу вопроса первый лорд.

Эдди задумался. Потом молча пожевал губами.

— Полагаю, сэр, — медленно выговорил он, — что Германия могла бы пойти на разграничение сфер влияния с Россией на Ближнем Востоке и на демилитаризацию проливов. Но если эти две державы разделят Турцию и составные части Оттоманской империи в целом, то нам будет совершенно невозможно удержать не только Персию, но и Индию. Она упадет, как спелый плод, к ногам Вильгельма... или русских... Египет и Северная Африка также станут германскими владениями...

— Вы правы! Союз России и Германии станет концом Британской империи... Я вижу, насколько был дальновиден, предлагая захват британским флотом Дарданелл. Только так мы сможем овладеть тем, что обещано России, и не выпустить это из наших рук после конца войны... Я буду настаивать перед кабинетом о самой насущной необходимости начинать Дарданелльскую операцию... Я сломаю сопротивление тех министров, которые не понимают всей политической важности нашего единоличного вступления в проливы...

— Сэр! По данным милорда Касселя, русские еще не получили германских предложений о Константинополе и компенсации в десять миллиардов золотых марок за причиненный германцами России вред...

Черчилль уже понял, куда клонит его секретарь.

— Очень разумно! — одобрил он не высказанную вслух идею Марша. — Я поговорю с Греем насчет того, чтобы царю в ближайшее время сообщили о том, что мы согласны, при известных условиях, предоставить им Константинополь... Надо дать Романову этот аванс, чтобы не соблазнили его посулы Вильгельма... У Петрограда надо потребовать взамен что-то существенное, например, отправку на фронт последних резервов...

ПРАГА, ФЕВРАЛЬ 1915 ГОДА

Полковник Максимилиан Ронге, начальник Эвиденцбюро *, проклинал свою хлопотливую должность. У него

* Бюро разведки австро-венгерского Генерального штаба.

голова шла кругом от множества забот, свалившихся невесть откуда на его плечи. Сначала, когда русские начали свое наступление в Карпатах, пришлось переводить Главную квартиру армии в Тешин и обеспечивать ее там от неприятельского шпионства.

Полковника бесило также, что, несмотря на отлично поставленную службу осведомителей в императорской и королевской армии, целые роты, батальоны и даже полки, сформированные на славянских землях империи — в Богемии, Моравии и Словакии, — иногда в полном составе, при офицерах сдавались в плен русским. Ненадежность славянских частей становилась все более очевидной, и верхушка армии хотела найти козла отпущения. Ронге боялся, как бы его служба не оказалась в результате под ударом.

Затем, минуя непосредственное начальство — Конрада фон Гетцендорфа, — через самого господина министра иностранных дел графа Берхтольда поступил секретнейший приказ. Максимилиану Ронге следовало организовать встречу двух германских эмиссаров и одного австрийского аристократа, давно оказывавшего негласные услуги Эвиденцбюро, с русской фрейлиной Васильчиковой в ее имении Клейн Вартенштайн. Однако сначала было необходимо рядом административных угрожающих мер подготовить русскую хозяйку австрийского поместья к сотрудничеству с австрийскими властями для организации ее переписки с царем. Так хотели германцы, и граф Берхтольд не мог отказать его величеству Вильгельму Второму в его настоятельной просьбе.

Рассказывая эту историю фон Гетцендорфу, полковник разыграл легкое возмущение эгоистическим поведением германского императора. По тому, как усмехнулся Конрад, подкрутив острые кончики усов, разведчик понял, что германцы отнюдь не опередили своих дунайских союзников. Начальник Генерального штаба не стал скрывать от шефа своей секретной службы, что его бывший подчиненный, князь Гогенлоэ, прослуживший несколько лет военным атташе при дворе в Петербурге, а ныне посол в Германии, уже давно направил царю письмо примерно такого же содержания, какое предстояло теперь переправить с помощью Васильчиковой. Князь Гогенлоэ пытался внушить царю мысль послать в Швейцарию доверенное лицо для встречи с представителем императора Франца-Иосифа.

Царь ничего не ответил. Теперь подобную операцию было приказано проделать при помощи русской фрейлины, но в пользу германцев.

Ронге уже давно предполагал использовать Васильчикову в интересах своей службы. Он заблаговременно, еще с довоенных времен, расставил сеть вокруг придворной дамы царицы, обожавшей свое австрийское имение и не пожелавшей из него уехать даже с началом войны. Полковник досконально, через прислугу в Клейн Вартенштайне, знал настроения Васильчиковой. Он не сомневался, что фрейлина в силу своих проавстрийских симпатий и из-за экономических интересов легко пойдет на сотрудничество. Огорчало Ронге только то, что Мария Васильчикова была глупа, самоуверенна и болтлива. Именно поэтому было трудно сохранить абсолютную тайну вокруг предприятия.

Чтобы исключить утечку информации, Ронге занимался всем делом, связанным с Васильчиковой, только сам. Это отнимало массу времени и требовало постоянных разъездов между Тешином, Веной и Берлином.

А тут еще этот русский разведчик, с которым Максимилиан Ронге так хотел поработать, чтобы перевербовать, бежал из тюрьмы в Праге. Пришлось срочно выехать в чешскую столицу, чтобы на месте разобраться с тем, как это произошло. Полковник Ронге, еще не зная всех обстоятельств побега Соколова, предположил, что русскому помогала целая чешская организация.

В Праге все подтвердилось. Ронге ходил и в Олений ров, чтобы увидеть на местности путь дерзкого побега. Задрав высоко вверх голову на окно, которое ему указал полицей-президент Праги, возглавивший расследование, Максимилиан мысленно содрогнулся, когда представил себе, с какой огромной высоты спускался по веревочной лестнице беглец.

«У этого русского и мужества, и физической силы, наверное, с избытком!..» — подумал уважительно о своем противнике начальник Эвиденцбюро.

Инспекция крутых откосов Оленьего рва, февральский воздух, в котором чуть повеивало весной, нагуляли аппетит у полковника Ронге. Наблюдательный полицей-президент заметил, что интерес начальства к обстоятельствам побега русского разведчика начал угасать. Он весьма своевременно пригласил полковника на обед.

Мотор, клаксон которого приводил в трепет всех поли-

цейских и сыщиков Праги, быстро домчал гостеприимного хозяина города и Ронге от Градчан к Пороховой башне. В легких сумерках рядом с мрачной громадой Порохувки * светились желтыми электрическими лампами огромные перепончатые окна «Репрезентативного дома».

Мотор подкатил к роскошному порталу «Репрезентяка», как в просторечии именовался ресторан. Швейцар услужливо распахнул двери. Ронге остановился у зеркала поправить прическу. Он увидел в нем, как высокий и стройный кавалерийский ротмистр, с затянутой в рюмочку талией, с непременным моноклем и стеком, вышел из зала ресторана. В зеркале промелькнули его иссиня-черные, коротко подстриженные волосы и тонкая нитка усов над энергично очерченным ртом.

Что-то неуловимо знакомое было в его лице. Ронге обернулся, чтобы, может быть, узнать его со спины, но фигура этого человека не напоминала ему никого из знакомых.

«Наверное, я сталкивался с ним где-нибудь на маневрах... — подумал полковник. — А может, это кто-то из здешних аристократов, которых я встречал в венских гостиных или в опере...»

Ронге сделался за столом молчалив, напряженно вспоминая, откуда ему знакомы эти черты лица. Потом он отогнал назойливые потуги памяти и решил целиком отдаться беседе с полицей-президентом. Оказалось, что тот обратил внимание на кавалериста и тоже решил, что где-то встречал его.

Хозяин и гость, перебирая общих знакомых, не могли себе представить, что в самом центре Праги преспокойно разгуливает в австрийской военной форме тот самый Алексей Соколов, обстоятельства бегства которого они только что расследовали на Градчанах. Черты поразившего их лица они видели на фото, разосланных во все концы империи для поимки русского.

Правда, вместо темно-русых кудрей у Соколова остался на голове типичный ежик, как у Гетцендорфа, только не седой, а выкрашенный в черный тон, изменилась форма усов. Но он столь точно и безошибочно держался в образе надменного австрийского кавалериста — представителя привилегированного рода войск, что даже два

---

* Так в просторечии именуется Пороховая башня в центре Праги.

опытнейших сыщика Дунайской империи приняли его за своего знакомого.

Соколов, стараясь держаться спиной к Ронге, оделся, дал на чай гардеробщику *л*, высоко подняв голову, выпятив челюсть вперед, гордой походкой аристократа-кавалериста вышел на улицу. В душе у него все замерло, хотелось ускорить шаги. Но и на улице он не торопясь пошел к Порохувке и свернул от нее на Целетную улицу, в Старый город, чтобы в случае погони затеряться в его средневековых улочках и переулках.

«Надо все-таки удвоить осторожность и не рисковать понапрасну... Было бы нелепо оказаться схваченным всего через пять дней после побега... — размышлял Алексей по пути в убежище. — И дернул меня черт обновить этот мундир, столь быстро доставленный Филимоном, в самом центре Праги... Нет, пожалуй, надо знакомиться с болтунами офицерами где-то в иных местах... С другой стороны, кавалерийскому офицеру неприлично ходить по забегаловкам, а достойно обедать только в самых дорогих ресторанах... На всякий случай надо сделать небольшой перерыв, а потом попробовать потолкаться на вокзале. Там, конечно, можно легко получить сведения о прохождении воинских эшелонов...»

БАРАНОВИЧИ, МАРТ 1915 ГОДА

Тишина и покой, словно в лучшие годы в Царском Селе, царили под огромными соснами барановичского леса, где на специально построенных путях Ставки стояли литерные поезда. Желтый песок, которым аккуратно были присыпаны пути и дорожки между поездами, золотистая кора сосен и зелень хвои в голубом небе, глубокий синий цвет вагонов литерных поездов — все создавало свой особый колорит, который очень полюбился государю. Здесь спокойствие царя разными кляузными и неприятными докладами реже нарушали министры. Здесь он чувствовал себя в среде милой сердцу армии, среди офицеров, которые смотрели на монарха с обожанием. Здесь он даже меньше робел, вынуждаемый говорить...

Утренние доклады Янушкевича об обстановке на фронтах не оседали в памяти императора, они были неинтересны и не требовали никаких выводов. Наверное, это тоже успокаивало нервы государя, который очень не любил, если кто-то пробовал заставлять его думать и принимать

решение. «На все воля божья!» — всегда хотелось Николаю ответить настойчивому домогателю. В Барановичах к нему никто не лез с просьбами, прошениями и всяческой другой чепухой, поскольку здесь был свой хозяин — великий князь Николай Николаевич...

Утром в теплом вагоне-салоне, обитом по стенам и потолку зеленым шелком, сидя у окна, было очень приятно пить, не торопясь, чай, курить любимые турецкие папиросы.

На войне тоже дела шли неплохо. Вот-вот падет Перемышль и Галиция окажется под русскими войсками. Из Лондона пришло уведомление, что союзники согласны отдать России Константинополь. Наконец-то!

Из столового отделения государь прошел в свой кабинет, занимавший большую часть другого вагона. Привычная, как в Царском Селе, темная мебель и глубокие кожаные кресла наполняют продолговатое помещение. На письменном столе возвышается большая груда казенных пакетов с докладами министров.

«Ах, опять эта нудная работа!» — думает самодержец, но, как и каждый день по утрам, заставляет себя сесть за чтение государственных бумаг.

Вдали, на станции Барановичи, прогудел паровоз. Николай поднял глаза на стенные часы, и лицо его, погрустневшее было при виде горы докладов, снова просветлело.

— Прибыл петербургский!.. — прислушался он. — Может быть, Аликс прислала письмо?! Уже второй день от нее ни строчки... Что бы это значило? Не заболел ли кто из детей?!

Проходит полчаса, ухо государя улавливает в приемной шаги нескольких человек. Затем робкий стук.

— Войдите! — командует царь.

Появляется дежурный флигель-адъютант с сумкой фельдъегеря в руках.

— Ваше величество! Почта из Петербурга! — докладывает он.

— Посмотрите, есть ли письмо от ее величества! — говорит Николай.

Мгновение — и необычно толстый конверт со знакомым почерком оказывается в руках царя.

Флигель-адъютант хорошо отработанным приемом успел его вскрыть. Царю остается только вынуть содержимое. Но что это? Из большого конверта, надписанного

рукой царицы, появляются ее записка и другой конверт, на котором адрес Аликс выписан незнакомой рукой.

Николай разворачивает листок от жены.

«Посылаю тебе письмо от Маши (из Австрии), которое ее просили тебе написать в пользу мира. Я, конечно, более не отвечаю на ее письма».

Николай изумился: неужели дело столь важно, что не могло подождать пару дней до его возвращения в Царское? Аликс знает, что он скоро вернется из Ставки, и тем не менее сочла нужным доверить письмо фельдъегерской почте...

Жестом царь отсылает флигель-адъютанта, усаживается за стол и, чтобы унять появившееся невесть откуда глухое волнение, закуривает любимую папироску. Затем медленно вытягивает из конверта листки, сохранившие еще аромат каких-то незнакомых ему духов. Уже адрес отправителя «Клейн Вартенштайн, Глоггнитц, Нижняя Австрия» говорит ему, что письмо от фрейлины императрицы Маши Васильчиковой, которая с началом войны осталась в своем имении под Веной. Об этом случае ему что-то говорила Аликс... К тому же, судя по ее записке, она переписывалась с Машей... Интересно, через кого это женушка передавала свои письма в Австрию?.. По-видимому, через кузин в Дании или Швеции.

Не торопясь, чтобы не упустить самого главного, из-за чего Аликс прислала письмо в Ставку, царь скользит взглядом по строчкам:

«25 февраля (10 марта) 1915 года.

Ваше величество.

Сознаю всю смелость моего поступка писать вашему императорскому величеству... В настоящее грустное время я, кажется, единственная русская, имеющая доступ к вам, ваше величество, которая находится во враждебной нам стране... нахожусь в плену, то есть не смею выходить из моего сада, и ко мне сюда приехали трое — два немца и один австриец, все трое более или менее влиятельные люди...»

«Кто же это мог быть?.. Спросить Сазонова?.. Не стоит!.. Пожалуй, лучше Сухомлинова...»

«...и просили меня, если возможно, донести вашему величеству, что теперь все в мире убедились в храбрости русских и что, пока все воюющие стоят почти в одинаковом положении, не будете вы, государь, властитель ве-

личайшего царства в мире, не только царем победоносной рати, но и царем Мира... Теперь одно ваше могучее слово — и потоки, реки крови остановят свое ужасное течение. Ни здесь, в Австрии, ни в Германии нет **никакой ненависти** против России, против русских; в Пруссии император, армия, флот сознают храбрость и качества нашей армии, и в этих обеих странах большая партия за мир, за прочный союз с Россией».

«Однако Маша взяла на себя смелую миссию...» — думает Николай и никак не может понять — сердится он на фрейлину или испытывает облегчение от ее письма.

«Я была совсем изумлена, когда все это высказали. На мое возражение — что могу я — мне отвечали: «Теперь дипломатическим путем это невозможно, поэтому доведите вы до сведения русского царя наш разговор, и тогда, стоит лишь сильнейшему из властителей, непобежденному, сказать слово, и, конечно, ему пойдут всячески навстречу». Я спросила — а Дарданеллы? Тут тоже сказали: «Стоит русскому царю пожелать — проход будет освобожден».

«Однако... — снова задумался Николай. — Ведь из Лондона только что сообщили, что союзники не возражают отдать проливы России!.. А теперь и неприятель передает о своей готовности замириться и передать мне Босфор и Дарданеллы... Однако что же дальше?..»

«Люди, которые со мной говорили, не **дипломаты**, но люди с положением и которые лично знакомы и в сношениях с царственными правителями Австрии и Германии... Конечно, если бы вы, государь, зная вашу любовь к миру, желали бы через поверенное, близкое лицо убедиться в справедливости изложенного, эти трое, говорившие со мною, могли бы лично все высказать в одном из нейтральных государств, но **эти трое** не дипломаты, а, так сказать, эхо обеих враждующих сторон...»

Царь дочитал письмо и запыхтел новой папиросой. Мысли, изложенные Машей, нашли отклик в его душе, особенно радостное сообщение о том, что в Германии нет ненависти против русских.

Но как же верность союзникам, если вступить с немцами в переговоры?.. Ведь думские круги и так называемая «общественность» не простят даже самых малых контактов с Вильгельмом?! Как же быть? И зачем только Аликс нарушила столь милый сердцу покой?.. И в тайне ли все это дело осталось от недругов в Петербурге?..

Слава богу, он скоро будет в Царском и сможет подробно обсудить с милой Аликс каждое слово письма...

ЦАРСКОЕ СЕЛО, МАРТ 1915 ГОДА

Пасхальное умиротворение царило в душе императора со времени его последнего пребывания в Ставке. Даже письмо Маши Васильчиковой с намеками о сепаратном мире, переданное ему в Барановичи Аликс, и возникшее легкое подозрение, что женушка за его спиной ведет какую-то политическую игру с германцами, нисколько не омрачили настроения Николая.

В первый же день по его возвращении в Царское он строго поговорил с Аликс о ее переписке с Васильчиковой. Нет, он ничего не имел против Маши, но если их корреспонденция вдруг станет известна недругам, хотя бы и притаившимся в их собственной семье, — этим черногорским галкам — Милице и Анастасии, великим князьям и особенно их коварным женам, вроде «тети Михень» — Марии Павловны, то у него, русского царя, начнутся опасные отношения с союзниками и с этой проклятой «общественностью» — всеми этими Гучковыми, Львовыми, Челноковыми...

Он частенько возвращался в эти дни к мыслям о мире, которые вычитал в письме Маши Васильчиковой. Что-то очень сильно привлекало его к высказанным ею предложениям, но он пока еще не мог соединить мыслью все звенья цепи, которая начинала складываться вокруг вопроса о мире с Германией. Сепаратном.

Наконец за несколько дней до пасхи начальник канцелярии министерства двора Мосолов явился, как обычно, на доклад и выложил из папки с бумагами... новое письмо Маши, на этот раз адресованное прямо ему, царю!

— Как оно попало к вам? — изумился Николай, вертя в руках конверт с русской маркой и штемпелями царскосельской почты.

— Ваше величество, оно было неизвестно кем опущено вчера вечером в ящик на станции... — развел руками генерал.

С заметным интересом и без гневного выражения лица, как отметил про себя Мосолов, принялся читать второе письмо Васильчиковой Николай Александрович.

«Не знаю, дошло ли до вашего величества письмо, которое осмелилась вам написать (10 марта нового стиля).

С тех пор многое случилось — Пржемысль пал, наши храбрые воины отчаянно воюют в Карпатах — и вот опять ко мне приехали трое (два немца и один австриец), прося повторить написанное мною в первом письме и, может быть, не дошедшее до вашего величества, — читал царь и припомнил, что Сухомлинов, которому он секретно поведал о первом письме, обещал выяснить имена тех, кто приходил к Маше, но пока ничего не доложил, — а именно — что в Германии и Австрии желают мира с Россией, и вы, государь, возымевший святую мысль о международном мире и по желанию которого был созван в Гааге мирный конгресс, вы, властитель величайшей страны в мире, вы один — тот, который, как победитель, можете первый произнести слово мир, — и реки крови иссякнут и страшное теперешнее горе превратится в радость».

Дальше шли строки, еще больше заинтересовавшие Николая.

«Меня просят довести до сведения вашего величества, что из секретнейшего источника известно, что Англия намерена себе оставить Константинополь и создать на Дарданеллах новый Гибралтар и что теперь ведутся тайные переговоры Англии с Японией, чтобы отдать последней Маньчжурию...»

Как будто уколотый в сердце, Николай отдернул руку с письмом в сторону. Сообщение Маши попало на самое его больное место — проливы и Маньчжурия, которую он уже давно видел в мечтах вассальным государством.

— Александр Александрович! — приказал он неожиданно Мосолову. — На сегодня с бумагами хватит... Я оставлю пока... это письмо... Можете быть свободны...

Начальника канцелярии такой оборот дела нисколько не озадачил.

«Государь, видимо, хочет обсудить письмо с ее величеством...» — решил царедворец и молча стал собирать бумаги в портфель. Он угадал — как только за генералом закрылась дверь кабинета, Николай, изменив своему обыкновению двигаться и говорить не спеша, почти выбежал в коридор.

Взволнованный, он вошел в сиреневую гостиную, Аликс сидела на атласном диване, укрыв ноги шотландским пледом, и что-то вышивала. На ее носу, еще недавно беломраморном, в последние месяцы без всякой види-

мой причины стала проступать краснота, которую царица тщательно запудривала.

— Какие-нибудь неприятности на фронте? — участливо спросила Александра.

— Нет! Маша прислала еще одно письмо, на этот раз адресуясь прямо ко мне... — настороженно, дожидаясь реакции Аликс, вымолвил Николай. Александра сразу поняла, о какой Маше и каком письме идет речь. Она решительно отложила в сторону пяльцы.

— Что же тебя так взволновало, дорогой? — уставилась царица своими белесо-голубоватыми глазами на мужа.

— Она опять пишет о том, что к ней явились трое эмиссаров от германских и австрийских кругов с просьбой посредничать в переговорах о сепаратном мире...

— Ники, но ведь это весьма разумно!.. — прервала его Александра Федоровна. — Многие из близких нам людей в России точно так же считают!

Царь подал ей письмо, интерес к которому у царицы был столь велик, что она немедленно водрузила очки на нос и стала внимательно вчитываться в каждую строчку. Дойдя до слов о намерениях англичан, известных из секретнейшего источника, императрица не удержалась от многозначительного «о!», сказанного нараспев.

Прочитав все письмо про себя, царица вновь вернулась к последним строкам и произнесла их вслух:

— «Если ваше величество желали бы прислать доверенное лицо в одно из нейтральных государств, чтобы убедиться, здесь устроят, что меня из плена освободят, и я могла бы представить этих трех лиц вашему доверенному лицу». И как ты, Ники, думаешь поступить? — подняла Аликс глаза на Николая. — Не правда ли, германцы протягивают тебе руку для мира?! Примешь ли ты ее?

Николай задумался. Он машинально теребил правый ус, потом погладил по тому месту головы, куда когда-то была нанесена рана японской саблей.

— Дорогая, у меня начинает бродить мысль о мире, но... — царь снова погладил правый ус, — думаю, что еще рано начинать быстрые шаги к нему...

— Но, Ники! — мгновенно возразила царица. — Если мы не выйдем с почетом из войны, то ты и Россия будете опозорены и возможна революция, которую возглавит эта мерзкая Дума и все болтуны, которые за ней стоят...

Я тоже думаю, что громко говорить о мире с Германией не следует, ибо это должен быть твой мир, твоя победа! Но я боюсь, что Англия не даст России воспользоваться плодами того мира, в котором она будет, как всегда, всеми руководить... Если же ты заключишь мир сейчас и получишь проливы, часть Галиции, контрибуцию или еще что-нибудь финансовое — то это будет твоя победа! Дума будет вынуждена заткнуть глотки своим мужицким ораторам, которые без конца подрывают твою власть...

Николай внимательно слушал рассуждения императрицы, и некоторое подобие интереса горело в его красивых, но обычно безучастных глазах.

— В Европе нас тоже поймут правильно... — убеждала царица. — Вспомни, что писал тебе король Швеции Густав всего месяц тому назад... Его тоже сильно волнуют ужасы этой страшной войны и его мысли заняты изысканием средств, могущих положить конец этой ужасной бойне... В любой момент, когда ты захочешь и найдешь это удобным, дядя Густав готов всемерно служить в этом деле...

— Аликс, это невозможно так сразу!.. — решил высказаться Николай. — Если мы не подготовим прежде почву, то меня клевреты Англии заколют кинжалом, как закололи моего пращура Павла Первого!.. Его ужасная судьба всегда встает перед моими глазами, когда я думаю о единоборстве с Альбионом... Я не питаю никакого зла к Вильгельму и Францу-Иосифу...

— Вот видишь, дорогой! Вильгельм тоже очень хочет мира с нами! — разгорячилась государыня, и некрасивые красные пятна появились у нее на лице и шее.

— Дарлинг! * Но не может же русский царь так сразу пойти на сепаратный мир!... — возмутился Николай. — Это тоже способно вызвать революцию!..

— Ники, никто и не предлагает так сразу заключить сепаратный мир... — разумным тоном вставила Аликс. — Датский и шведский короли предлагают посредничество, Вильгельм его ищет, но мы можем подготовить условия для этого — например, разогнать назойливую Думу, убрать Сазонова, для которого нет ничего выше интересов Франции и Англии...

Николай молча размышлял над словами супруги. Государыня продолжала натиск. Она даже изменила позу

---

* Дорогая (англ.).

и из спокойной, величественной и ленивой львицы, разлегшейся на диване, превратилась в разгневанную обличительницу с фанатичным блеском в глазах.

— Первый, кто будет всячески мешать твоему триумфу, — главнокомандующий Николай и его черногорские галки! Они вступят в какой угодно заговор с этой взбесившейся «общественностью»!.. Надо убрать Николая из Ставки вместе с его лизоблюдом Янушкевичем, пока дядюшка не потребовал себе корону Галиции, а может быть, и шапку Мономаха...

— Аликс, мы уклонились от существа дела! — деловито остановил излияния императрицы Николай. — Я не возражаю против поисков дороги к миру... Пусть даже сепаратному... Но умоляю тебя ни словом не обмолвиться о нашем намерении его заключить!.. Об этом нельзя даже писать мне в письмах в Ставку, ибо они могут быть перлюстрированы...

— Как?! — возмутилась императрица. — Ты допускаешь, что мои письма к тебе читают чьи-то хамские глаза? Письма жены к мужу?! Это... кощунство!.. Это... богопротивно!.. — задохнулась она в гневе.

— Я не могу ничего с этим поделать! — вздохнул царь. — В военное время цензура на фронте может открывать любые конверты...

— Ники! Ты должен повесить кого-либо для острастки!.. — потребовала царица.

— Но я не могу, цензура подчинена Николаше... — пытался оправдаться царь. Его робость только еще больше подлила масла в огонь.

— Вот видишь, насколько я права! — резко заявила Александра Федоровна. — Этот лошадник и пьяница, оказывается, читает наши письма! — Она заломила руки, и на ее глазах показались слезы.

— Аликс, я этого не говорил! — перебил супругу Николай. — Оставим эту тему и будем впредь в переписке осторожны! Вполне достаточно, что мы с тобой знаем о предмете, который необходимо довести до желаемого конца... На всякий случай, Аликс! — продолжал Николай спокойно и размеренно излагать свои планы жене. — О письмах Маши я скажу Сухомлинову или, может быть, Мосолову, чтобы они подыскали подходящего человека, которого мы направим через Стокгольм, с помощью короля Густава, в Берлин, где он сможет пощупать почву, на которой следует делать шаги к миру... Ты можешь осто-

рожно написать о нашем стремлении к миру твоему брату Эрни, который, безусловно, сообщит о твоем письме и пожеланиях Вильгельму... Будь только осторожна в высшей степени, придумай повод — хотя бы вопрос о гуманном отношении к нашим пленным в Германии...

ПЕТРОГРАД, ФЕВРАЛЬ 1915 ГОДА

Весь четверг Манус нервно готовился к обеду у Кшесинской. Чего только он не предпринимал, чтобы добиться приглашения в ее дом, — посылал корзины орхидей после бенефиса, безделушки от прославленного ювелира Фаберже на рождество... И все безрезультатно. Наконец, когда его секретарь разыскал у антиквара парные статуэтки Камарго, старинный Севр, принадлежавшие Наполеону III, Игнатий Порфирьевич преподнес их после очередного спектакля Матильде Феликсовне. На следующее утро он получил надушенный сиреневый конвертик с выпуклыми инициалами «М. К.» в углу, а внутри — о радость! — приглашение на обед в ближайшую пятницу.

Манус знал, что Кшесинская принимает многих по пятницам с $4^1/_2$ до 6, но самые близкие и нужные останутся на обед — в 8. Игнатий Порфирьевич очень хотел попасть в число нужных Матильде, оставляемых на обед. Но он совершенно не надеялся стать в этом доме совсем своим. Манусу было важно завязать связи с великим князем Сергеем Михайловичем, начальником Главного артиллерийского управления и шефом артиллерии, дабы, пользуясь его поддержкой, устраивать выгодные дела по поставкам армии. Сорокашестилетний дядя царя оставался признанным любовником и покровителем Кшесинской. Он жил месяцами в ее доме, имея на втором этаже трехкомнатный апартамент. Первый этаж собственного дворца, в котором великий князь до войны давал приемы, он уступил санитарному ведомству принца Ольденбургского. Там теперь трудились великосветские дамы, готовя бинты для армии.

Манус почему-то робел даже не перед особами царской фамилии, с которыми ему предстояло разделить трапезу, но перед хозяйкой салона — сорокалетней прима-балериной Мариинского театра, на сцене которого она блистала уже двадцать пять лет.

Чтобы как-нибудь проникнуть в дом Кшесинской, Ма-

нус сначала пошел на то, чтобы стать пациентом ее личного доктора, и переплатил ему массу денег, хотя не нуждался ни в каком лечении. Он кое-что сумел-таки узнать у разговорчивого эскулапа.

Доктор первый рассказал Манусу, отчего Матильдой была выбрана для салона именно пятница: по средам и воскресеньям она может быть в спектакле, а накануне своего выступления она раз и навсегда запретила себе сидеть с гостями допоздна и есть на ночь, пить вино. С помощью лучших профессоров Матильда выработала для себя строгий режим, целью коего было сохранить как можно дольше здоровье, молодую упругость мускулов, свежесть кожи. Теперь, понятно, финансист более реально представлял себе волю прима-балерины, сделавшей такую блестящую карьеру не только на сцене, но и в императорской семье. Манус понял, что имеет дело с незаурядной, яркой и сильной личностью.

В шесть с половиной часов Игнатий Порфирьевич вышел из своего дома на Таврической к авто, пыхтевшему у подъезда. Швейцар открыл перед ним дверцу лимузина и помог влезть на высокую подножку. Манус имел в виду заехать к себе в контору Сибирского торгового банка на Невский, чтобы взять из сейфа деньги на послеобеденную карточную игру у Кшесинской. Для начала он решил проиграть ей и великому князю сотню тысяч — в зависимости от обстоятельств, конечно, — и теперь нуждался в наличности.

Манус все думал об умной, постигшей тайну успеха, хитрой маленькой Матильде, которая всегда улыбается, по словам доктора, даже слугам. И даже о слугах она никогда не говорит дурное. Правда, один раз ее рассердил шофер, который нагрубил управляющему и взял расчет. Об этом мадам с улыбкой поведала князю Сергею, и грубияна тотчас же отправили на фронт.

«Всегда улыбка!» — это ее девиз. «И всегда говорить только хорошее о людях... В том числе о соперницах и врагах». Даже те, кого эта очаровательная женщина ненавидит люто, бывают к ней приглашены, а от этого потом затрудняются сказать о ней плохое. Она ведь так целует гостей, так гостеприимна, так утонченно любезна и так хорошо всегда говорит о них общим знакомым...

Но главное, конечно, — великие князья. Они у Матильды, словно у себя дома — непринужденны и милы, обожают ее, целуют ручки, а она им категорически при-

казывает, капризничает, и все ее фантазии неуклонно исполняются...

«М-да! — подумал Манус. — Ссориться с ней невыгодно, особенно, как вспомнишь, что ссора с Матильдой стоила карьеры двум министрам...»

Размышляя так, Манус незаметно для себя оказался у ворот двухэтажного особняка с кокетливой башенкой. Он вышел из авто, отослал шофера и позвонил.

Дверь отворилась мягко, его впустили.

ПЕТРОГРАД, ФЕВРАЛЬ 1915 ГОДА

Гость сбросил тяжелую шубу на бобрах в невидимые руки умелого лакея и поднялся на несколько ступенек по беломраморной лестнице с толстым ковром. Вместо перил здесь были четыре львиные пасти, которые держат шелковый канат... Он прошел второй вестибюль с колоннами и верхним светом. За вестибюлем открылась белая мраморная зала в строгом стиле Людовика XVI, отделанная тяжелой бронзой. Более дюжины гостей уже уютно и непринужденно расположились на диванах и в креслах вокруг Матильды и великого князя Сергея. Кшесинская поднялась, приветствуя нового гостя.

— Вот наконец и вы, милый Игнатий Порфирьевич! — делает Матильда несколько шагов ему навстречу.

Целуя ее душистую руку по неопытности несколько дольше, чем принято в обществе, Манус глазами следит за великим князем. Он неловко выпускает руку Матильды, когда видит Сергея Михайловича, направляющегося к ним.

— Серж, я думала, что монсеньор Манус уже не придет сегодня к нам, — шутливо представляет великому князю Игнатия Порфирьевича Кшесинская.

— Что вы! Что вы! Разве можно к вам не приехать!.. — оправдывается Манус. — Вы несравненная волшебница, Матильда Феликсовна!..

Пожимая князю руку, Манус снова держит ее чуть дольше, чем следует, кланяется чуть ниже, чем принято, и искательно заглядывает в глаза, что уж совсем выдает его плебейское происхождение. В ответ на его неловкости улыбка Матильды остается чуть дольше на устах, дабы ободрить и поддержать гостя.

Миля садится, и оказывается, что рядом с нею все места уже заняты. Одно место оставлено свободно подле ве-

ликого князя, и Манус не очень ловко плюхается на него, в душе проклиная себя за невоспитанность и неотесанность. Но, по-видимому, это место и было предназначено ему, ибо Матильда великий искусник в рассадке гостей. Столь важного дела она не перепоручает никакому мажордому. Только сама намечает, кто и где сидит за столом, кто с кем играет в покер после обеда.

Манус сначала не знает, что и сказать князю Сергею Михайловичу. Все-таки — великий князь, дядя самого царя, а как мил и любезен! Подумать только! Он держится совсем как обыкновенный человек, но на самом деле он выше закона! Если, например, он убил бы кого-нибудь, то ни один суд империи не примет дела к производству... До чего же приятный человек и как мил с ним, Манусом! — за одно это Игнатий Порфирьевич решает добавить тысяч двадцать к проигрышу.

Разговор перед обедом весьма оживлен. Манус постепенно втягивается в него, высказываясь на свою любимую тему — о банковском деле и как нажить побольше денег. К его удивлению, разные биржевые анекдоты, которые он рассказывает сугубо великому князю, заинтересовывают все общество, в том числе и дам. Вот сила биржи — и здесь собрались люди, которые знают цену деньгам, хотят и умеют их наживать.

Приезжает высокий блондин, похожий на англичанина, — великий князь Андрей Владимирович. Он здесь тоже как дома. Он любезно здоровается со всеми и уходит к себе наверх переодеться к обеду.

Чуть запоздав, входит известный в биржевых кругах, и следовательно, и Манусу, представитель в России французской оружейной фирмы Шнайдера, толстенький, с красным апоплексическим лицом, словно насосавшийся крови комар, Рагузо-Сущевский. Манус всегда завидовал этому польскому пану, который благодаря умелой дружбе с Кшесинской и великим князем Сергеем Михайловичем озолотил за счет российского артиллерийского ведомства не только Шнайдера, но и себя. Как видно, он при этом не забывал и прекрасную Матильду — судя по тому, как бросилась она навстречу этому раскормленному и самоуверенному господину, едва он появился во втором вестибюле.

Рагузу сопровождает дама, по-видимому, как думает Игнатий Порфирьевич, его жена, вся увешанная бриллиантами, искрящимися в электрическом свете сильных

ламп, словно хрустальная люстра. Гостей пригласили к столу. Впереди, почти не опираясь на руку великого князя Сергея, легко шла, словно парила в воздухе, Матильда. Воздушное тюлевое платье ее от самой изысканной портнихи Петрограда Бризак. Абсолютно не кричащее, жемчужно-голубого цвета и в тон платью только сапфировые серьги и брошь, за которые, как гласила молва, его величество государь император заплатил в свое время Фаберже сто девяносто тысяч.

Во второй паре, словно заранее задуманный контраст к скромности Матильды, — жеманная и капризная Мэри, супруга Рагузо-Сущевского, рассыпающая лучики всех цветов радуги при каждом своем шаге рядом с великим князем Андреем.

Как зовут остальных дам и кавалеров, Манус с первого раза еще не запомнил, но, бог даст, поближе узнает за обедом. Всего их человек двадцать. Он решает держаться скромнее, чтобы пригласили еще раз. Внимательно следит за тем, что и как делают соседи, чтобы не опростоволоситься за столом.

По русскому барскому обычаю долго отдают дань закускам в маленькой столовой, отделенной широкой дверью с витражом от зала, где украшен цветами главный стол.

...В большом и грохочущем мире идет война. Миллионы грязных, завшивевших солдат подпирают в этот час спиной холодную глину окопов, младшие офицеры считают убитых и выбывших по ранению за минувший день. Где-то воет вьюга, заметая свежие трупы, или хлещет дождь, превращая траншеи в сточные канавы, не оставляя сухого места в землянках.

А здесь, в уютных стенах элегантного особняка, в тепле и аромате парижских духов, красивые породистые женщины и румяные, налитые сытостью мужчины, стоя вокруг обильного стола и поднимая в серебряных чарочках запрещенный во время войны — но не для них — алкоголь, перебрасываются любезными фразами, обращают к дамам витиеватые и пока приличные комплименты.

После закусок очередь обеда. Учитывая военное время, блюд подается совсем немного.

К концу трапезы все переходят на шампанское.

Дама Рагузы, сидящая по левую руку от Мануса, оказалась глуповатенькой. Она сочетала примитивность мыс-

ли с безапелляционностью суждений. Ее разговор вертится только вокруг мехов и драгоценностей.

От Фаберже общая беседа переходит к бриллиантам графини Бетси Шуваловой, которая поразила всех обилием камней на своем наряде во время последнего бенефиса кордебалета. Она сидела в своей ложе бенуара, «буквально, как икона в ризе», усыпанная камнями.

После Бетси Шуваловой общество вспоминает о бенефисе и обсуждает наряды и драгоценности остальных знатных зрительниц — знакомых и незнакомых Манусу. Попутно восторгаются ножками балерин.

Игнатий Порфирьевич, как профан в балетном и ювелирном искусствах, в разговоре участия не принимал, боясь ляпнуть что-нибудь несообразное настроениям общества. Он сидел и вспоминал ненароком разные сплетни о Матильде, рассказанные ему издателем Сувориным еще двадцать лет назад. Уже тогда Суворин с чьих-то слов утверждал, будто наследник российского престола, а ныне его величество Николай Второй посещал Кшесинскую и спал с ней. Матильда жила у родителей, которые устранялись и делали вид, что ничего не знают. Отец, кстати, тоже талантливый артист балета. Наследник ездил к ним и даже не нанимал любовнице квартиры. Был очень неразговорчив, сер, без конца пил коньяк и жаловался на родителя, который держал его на положении ребенка, хотя Николаю и было уже 25 годков. Он просиживал у нее по 5—6 часов, но очень скучал.

Однажды будущий царь прислал Миле три тысячи рублей, говоря, что у него больше нет, и указал нанять квартиру за пять тысяч. Потом написал, что в этой квартире они заживут «как генералы!». Суворин немало изумлялся тогда хорошенькому представлению наследника престола о генералах. И еще он высказывал предположение, что Кшесинская перешла в православие в надежде когда-нибудь стать царицей...

«А теперь она все-таки втерлась в императорскую семейку... Заимела на царские деньги собственный — и какой дворец... почти жена великому князю Сергею и даже прижила с ним сына... ха-ха... получается: братец Николаю Второму, если князь Сергей женится на Матильде!.. Вот дрянь, хотя и талантливая балерина, — с оттенком зависти к благополучию Мили текли думы Мануса. — А я, такой умный и ловкий в самом главном жизненном деле — в финансах, — вынужден унижаться перед все-

ми этими бездельниками и кокотками, чтобы сорвать выгодный заказ... Даже забастовки и голодные бунты в Питере, которые так тревожны, нисколько не отражаются на образе жизни всей этой своры... Поистине, глубоко прав Терещенко — нужен дворцовый переворот и конституционная монархия на манер английской...»

Его размышления прервал дворецкий, подавший после земляники «мельба» турецкий кофе в миниатюрных чашечках, чай и опять шампанское — кому «натюр», кому «сэк».

«Так когда же завести разговор о заказе снарядов моему Коломенскому заводу?.. — раздумывал Манус, покуда гости, уничтожая десерт, продолжали обсуждать балетный сезон с точки зрения количества драгоценностей в ложах и корзин цветов на сцене от поклонников. — А может быть, лучше пока вовсе не заводить? Наверное, надо сначала хорошенько проиграться великому князю и Кшесинской!..»

ПЕТРОГРАД, ФЕВРАЛЬ 1915 ГОДА

За несколько месяцев, что Настя работала в лазарете Финляндского полка, она стала опытной сестрой милосердия. Госпиталь до войны был сравнительно небольшой, всего на триста кроватей, но когда с фронта стали прибывать не только переполненные санитарные поезда, но и теплушки с ранеными, лежавшими на покрытых гнилой соломой полах вагонов, все лазаретные палаты уплотнили. Кровати для раненых стали ставить даже в коридорах.

Перевязки, обмывание, измерение температуры, кормление с ложечки раненых, которые не могли двигаться; ночные дежурства — во все Анастасия вкладывала заботу и участие. Каждый раз, когда она подходила к этим красным кирпичным зданиям в два этажа на 18-й линии, она задумывалась о том, где сейчас томится ее Алексей, здоров ли он. От Сухопарова Настя знала, что Алексей арестован в Австрии и находится в плену, но никаких подробностей больше не имела. От этого ей делалось еще тяжелее.

Специально для того, чтобы не пропустить мгновения возвращения Соколова домой, Настя не стала жить у родителей, где ей были очень рады мать и отец, а вместе с Марией Алексеевной, тетушкой Алексея, коротала свобод-

ные дни в большой и полупустынной квартире на Знаменской улице.

В госпиталь приходилось ездить через весь город. Раз от разу Настя видела, как война меняет облик Петрограда, как на челе столицы возникают морщины, скрытая боль и усталость. Появилось на улицах, и особенно на Невском, множество людей в серых шинелях — солдаты запасных полков, расквартированных в Питере, выздоравливающие раненые... На их лицах, особенно солдатских, не всегда можно было заметить благостное изумление перед величием столицы. Иногда из глаз били в толпу заряды злости и ненависти к сытой гладкой статской публике, с предупредительностью уступавшей дорогу на улицах «серым героям».

Небывало росли цены, и куда-то исчезли товары. Беднее день ото дня становились витрины магазинов на Невском и просто опустели на других проспектах. Извозчиков стало значительно меньше — лучшие лошади лихачей были реквизированы в кавалерию. Зато появились новые десятки фыркающих газолином четырехколесных металлических чудовищ.

Гнетущая усталость от войны стала ощущаться повсюду среди простого народа. Она была особенно заметна на рабочих окраинах, куда Насте иногда приходилось ездить по поручениям Василия, впрочем, ставших довольно редкими. Военная дисциплина и заряд шовинизма, полученный солдатами с началом войны, еще делали свое дело, и открытых выступлений пока не отмечалось. Но в солдатских разговорах стали все чаще проскальзывать ноты недовольства, обида за то, что у армии не оказалось достаточно боевых припасов и оружия, наивное недоумение глупостью царских генералов. Ощущалась злость на разорение и непосильный труд жен и стариков, оставшихся в деревне, нещадно эксплуатируемых богатеями-кровопийцами.

Долгими вечерами, когда госпиталь постепенно затихал, с лавок, стоящих неподалеку от столика дежурной сестры милосердия, доносились до Насти страшные истории, которые накрепко запечатлевались в ее памяти.

— Как вернусь — долго дома не заживусь, — говорил однажды своему соседу, чернявому мужику с забинтованными руками, одноногий калека, — на каторгу живо угожу... Женка пишет, что купец наш до того обижает, просто жить невмоготу. Я так теперича думаю: мы за себя

не заступники были, с нами бывало что хошь, то и делай. А теперь нас германец да ротный повыучили... Я каждый день под смертью хожу, да чтобы моей бабе для детей крупы не дали, да на грех... Нет, я так решил: вернусь и нож Опуфрию в брюхо... Выучены, не страшно... Думаю, что и казнить не станут, а и станут — так всех устанут...

— Воистину так, милок, — поддакнул тихий голос, — вот я давеча в журнальчике усмотрел картинку, «Современный Козьма Минин» называется... на ей чисто наш Прокоп-лабазник на мешках стоит и надрывается — грит, почему я должон цену сбавить, а не вы заложить жен и детей!.. Хе-хе...

— А об ценах и не говори!.. — вступился третий собеседник. — А то еще в тринадцатом на Фоминой пришел к нам дед из Питера. По многим местам ходил хожалым, бывалый мужик. Тот за верное принес, что затевают наши министры войну с немцами али с японцем по-новой и что нужно ту войну-де провоеваться, чтобы понял народ, какой он ни до чего не годный и никаких себе глупостей не просил бы... И про дороговизну сказывал, что еще хужее будет...

Настя сидела неподвижно и боялась пошевелиться, чтобы ненароком не спугнуть солдат. Она вспомнила слова Василия о том, что крестьяне в серых шинелях стали умнеть, они устали от войны, и рабочим-пропагандистам теперь гораздо легче работать в запасных полках, расквартированных в Петрограде. Солдаты помолчали, повздыхали, потом один из них продолжал:

— А я, Сидор, и не знаю, что опосля войны делать буду, ежели господь подаст пожить... Так я от всего отпал, что и сказать не могу. Здеся ты ровно ребенок малый: что велят, то и делай. И думать ничего не приказано, думкой-то здеся ничего не сделаешь... Чистая машина — что я — то Илья, что Евсей — то и все...

— Ты, Никола, дурак, хоша и грамотный! — спокойно и веско произнес тот, кого назвали Сидором. — Задаром нас, что ли, палить из винтовки научили? Утомились мы на барских работах... Когда и по заповеди верили, что за труды много грехов простится... А теперя? У тебя на хозяйстве разор, а Тит Титыч ваш второй али третий лабаз построил... Землица-то без мужика скудеет! А на хрен энтот Царьград — до него, чай, и в сапогах не дойдешь, истреплешь?! Вот и рассуди — куда нам прямее

дорога: в окоп от германского «чемодана» прятаться али на деревне своей порядок навесть...

— Ты говори, брат, да не заговаривайся! — отозвался второй. — Куда ты клонишь, мать твою... В дезертиры наводишь, что ли?..

— Куды тебе с твоим Егорием! — поддразнил его Сидор. — Одно скажу — думаю я, что скоро дело сменится. Мы с покорностью идем, покуда греха боимся. А грехи разрешим — и другие нам пути найдутся...

Снова помолчали, потом Николай зашелестел бумагой и сказал:

— Я, братцы, душевную песню у антиллериста списал — так теперь выучить охота...

— Давай сказывай песню!.. — встрепенулся Сидор.

Николай прокашлялся важно и, читая по слогам, начал:

Ты тоска, моя тоска,
Гробовая ты доска.
Куды глазом ни гляну,
Только видно, что войну!
Оглушилось мое ухо
От военного от духа,
Поустала и рука
От железного штыка.
Оттоптались мои ноги
От военной от дороги...

Насте надо было идти давать лекарство в палату тяжелораненым, она скрипнула стулом, и голос мгновенно замолк. Солдаты притихли. Когда она ушла, Сидор успокоил собеседников:

— Не бойсь, братцы! Анастасия Петровна барынька незлая, у нее душа за солдата болит, самым тяжелым раненым завсегда помочь готова...

Настя вернулась через четверть часа, раненые уже разошлись по своим палатам. В госпитале было тихо-тихо. Казалось, что из-за окна доносится шелест падающего снега. Настя раздумывала над тем, что говорили солдаты. Она слышала в госпитале и другие разговоры. Напрашивался единственный вывод — народ, «серые герои», как их называли устно и в печати, устали от войны, от кровопролития. «Массы крестьян, — как говорил Василий, — одетые в солдатские шинели, получили теперь представление об организации в подразделения, научились стрелять и колоть штыками, озлились на мучения своих род-

ных в тылу и свои собственные на фронте больше, чем на неприятеля».

ПЕТРОГРАД, ФЕВРАЛЬ 1915 ГОДА

Между тем Игнатий Порфирьевич никак не может дождаться главной цели своего прихода во дворец Кшесинской — покера. Он изнывает за ужином, не смея ввязываться свободно, как Рагуза и другие гости, в разговор, и томится, слушая рассказ самой Кшесинской, как великий маэстро — имелся в виду Петр Ильич Чайковский — аккомпанировал ей в репетиционном зале в партиях «Щелкунчика» и «Спящей красавицы». А затем, как Петр Ильич явился к ней после спектакля в артистическую уборную поздравить ее. Новелла, выразительно и в красках поданная Матильдой, вызывает бурю восторгов, в которой звучит и низкий голос Мануса: «Восхитительная! Несравненная!..»

Наконец хор похвал стихает, заканчивается ужин, и гости переходят в малую гостиную, где все уже готово для покера.

За первым столом — Кшесинская, великий князь Сергей Михайлович, великий князь Андрей, Рагузо-Сущевский и Манус. Мэри не играет, она лишь сочувствует своему супругу и одновременно строит глазки князю Андрею. Манус очень любит покер за то, что в нем можно проиграть, «блеффируя» именно тому играющему, которому хочешь, не возбуждая неудовольствия партнеров и не показывая окружающим, что делаешь это намеренно. Во всякой другой карточной игре такое сразу же становится ясным опытному игроку.

Манусу в этот вечер везет, и ему приходится изворачиваться и «блеффировать» тем больше, что карта не идет к великому князю Сергею. Игнатий Порфирьевич покупает на что попало, когда собирается играть князь Сергей или Матильда, но с большими ухищрениями ему удается проиграть всего тысяч девяносто.

Прежде чем купить новых перламутровых фишек — в этом доме неприлично играть прямо на деньги, — Манус прикидывает, сколько и кому он уже «передал» денег: князю Сергею — тысяч пятьдесят, тысяч тридцать — Кшесинской, тысяч десять — князю Андрею, а остальные — Рагузе-Сущевскому. Игнатия Порфирьевича безумно раздражает проигрыш этому польскому пану, явному

конкуренту, жаждущему прибрать к рукам те заказы, которые мог бы получить для своих заводов Манус. Он еще пару раз «блеффирует» против Матильды и доводит свой проигрыш до ста тысяч.

Самоуверенный Рагуза попыхивает египетской папироской и поблескивает глазами на свою жену, прощая ей в хорошем настроении кокетство с великим князем Андреем. Благодушествуя, он делает знак лакею подать шампанское, и тут Манусу приходят два короля. Думая, что князь Сергей пойдет после него, Манус сбрасывает своих двух королей и остается с тремя случайными пиковыми картами. Но князь Андрей и Кшесинская пасуют, и Манус прикупает две карты. Они оказываются тоже пиками. У Игнатия Порфирьевича теперь на руках одна из высших комбинаций в покере — «стрэт флэш».

Игнатий даже чертыхается про себя с досады, что надо идти против князя Сергея с такой картой. Он решает уже бросить их, как великий князь сам пасует. Манус остается с блестящей комбинацией против Рагузы-Сущевского. Радостный фейерверк загорается теперь у него в мозгу.

«Я тебе покажу сейчас, как хватать чужие подряды на шрапнель и ручные гранаты! — злорадно думает Игнатий Порфирьевич. — Ты у меня сейчас попрыгаешь, пся крев! Хоть ты сюда и раньше втерся, чем я, но я тебе сейчас задам перцу!» — торжествует купец.

Рагуза, не зная карт Мануса, но видя, что он постоянно «блеффирует», заранее торжествует победу, имея на руках довольно высокую комбинацию карт, называемую «фул хауз». У него три туза и две двойки.

Оба стараются изо всех сил скрыть свое торжество, не выразить ни одной морщинкой лица кипящих в душе страстей.

Рагуза кладет в старинное золотое блюдо, изображающее банк, горсть перламутровых фишек и доводит ставку до двадцати тысяч. Манус немедленно удваивает до сорока. Польский аристократ, желая побольнее наказать выскочку-купца, удваивает до восьмидесяти тысяч рублей и вопросительно смотрит на Мануса. С еле скрытым злорадством Игнатий Порфирьевич добавляет до ста и откидывается, как бы в панике, на своем кресле. К их столику собираются все играющие по мелочи на других столах, ожидая, что же будет?

Коробочка с перламутровыми фишками пуста. Матильда достает из ящика секретера кости черного перламутра, которые идут здесь обычно по двадцати тысяч, когда случается такая игра, как сегодня. Без слов она дает игрокам по пять костей. В гробовом молчании, чтобы неосторожным словом не испортить игру, Рагуза и Манус ставят еще по две кости и вопросительно смотрят друг на друга. Ни один не хочет сдаваться.

Рагуза кладет оставшиеся три кости и доводит банк до двухсот сорока тысяч рублей. Он весь дрожит от азарта и утирает холодный пот на лбу нежнейшим батистовым платком. Манус тоже кладет свои три костяшки по двадцать тысяч и невинными, словно у младенца, глазами смотрит на Рагузу.

Даже видавший виды лакей с подносом шампанского от любопытства приближается к столику, окруженному всеми гостями. На блюде триста тысяч рублей. Это стоимость имения, которое недавно купил в Ярославской губернии для Матильды великий князь Сергей Михайлович.

Рагуза просит открыть карты. Когда Манус переворачивает свои вниз рубашкой, вся гостиная ахает. Игнатий Порфирьевич выиграл!

Кивок головы всевидящей хозяйки, и для охлаждения страстей вносят мороженое, петифуры, конфеты и замороженные фрукты. Бедный Рагуза умеряет свою досаду тремя бокалами кряду шампанского «сэк» и делает вид, что ничего особенного не произошло. Он начинает откровенно злиться лишь тогда, когда его Мэри ускользает в зимний сад об руку с князем Андреем.

Воодушевленные выигрышем Мануса, игроки вновь рассаживаются вокруг столов, покер продолжается. К пятому часу утра Манусу удается-таки проиграть великому князю Сергею и Кшесинской еще полторы сотни тысяч — из тех, что он возвратил себе блестящей победой над Рагузой.

«Ха-ха-ха, — смеется в мыслях Манус. — Попробовал бы я предложить великому князю и Матильде взятку в двести тысяч рублей до обеда, хоть бы и в самой изящной форме! Меня бы с позором выкинули из этого дома и никогда не пустили бы на порог! А теперь... я спокойно открою бумажник, поднимаясь от стола, и на виду у всех умиротворенных едой господ отсчитаю новенькие пятисотрублевые билеты и подам их Матильде! А завтра столь же открыто приду в интендантство заключать

контракт на поставки снарядов!.. Разумеется, теперь моя очередь приглашать к столу какого-нибудь там титулярного советничишку или другую чиновную душу, чтобы не отказала она мне накинуть пару миллиончиков на стоимость шрапнелей, ввиду подорожания легированных сталей, например... И приглашу я его в свой кабинет ресторана «Медведь», и начнется все сначала: икорка, балыки, грибочки в сметане на закуску и так далее, и тому подобное...»

Психогастрономические мысли Мануса лениво текли в такт ленивой игре. Начинался шестой час утра. На Каменноостровском проспекте затренькали первые трамваи. Азарт игры стихал, гостям для освежения подали снова турецкий кофе, чай и шампанское.

Игнатий Порфирьевич решил, что настала пора откланяться. Через лакея он вызвал свое авто к подъезду. Общество уже разделилось на маленькие кружки в согласии с интересами дам и господ. Манус неуверенно приблизился к группе, где раздавался смех Кшесинской. Матильда по его виду поняла, что банкир пришел поцеловать ей руку на прощанье. Она вполне оценила его ненавязчивость.

— Милый Игнатий Порфирьевич! — прощебетала прима-балерина гостю. — Заходите запросто, теперь вы знаете сюда дорогу!.. А в пятницу прошу на обед!..

ЦАРСКОЕ СЕЛО, МАРТ 1915 ГОДА

По случаю войны пасхальный праздник в Петрограде был упрощен. По-прежнему к слушанию пасхальной заутрени собрался к церквам весь Петроград. Как и раньше, особо торжественные службы имели быть в Исаакиевском и Казанском соборах. Но отменена была служба в Зимнем дворце, куда раньше съезжались все, имеющие право приезда ко двору.

Праздничный завтрак накрыли в кленовой гостиной. Желтые деревянные панели, яркие солнечные лучи за окном, мириады искр на пушистом снегу, тепло, льющееся из калориферов, — все создавало радостную атмосферу светлого христова воскресенья.

Изрядно разговевшись, Николай увлек в дальний угол начальника канцелярии министерства двора. Генерал был одним из самых доверенных его лиц и многажды доказывал, что достоин такой великой чести. Кроме других до-

стоинств, он умел глухо молчать о делах монарха, но при этом собирать массу всяких полезных или интересных слухов, сплетен, разговоров в обществе и тактично докладывать их Николаю Александровичу. Именно из-за этих дефицитнейших при дворе Николая качеств царь и выделял особенно Мосолова. Он решил даже доверить ему одному свою истинную точку зрения на возможность сепаратного мира.

Усадив Мосолова рядом с собой на широкий диван, Николай предложил ему турецкую папироску. Оба с удовольствием закурили.

— Александр Александрович! — обратился государь к генералу. — Я бы хотел вас просить совершенно дискретно об одной услуге...

Мосолов изобразил на лице величайшее внимание.

— Дело, видите ли... касается... э... — Царем овладела его всегдашняя робость, хотя он разговаривал на этот раз не с массой народа, а с одним, к тому же близким по духу человеком. Однако важность темы сковала его уста и мысли. — ...Предложений о сепаратном мире с Германией, которые сообщила в письме фрейлина Васильчикова... Как вы относитесь к этой идее?

— Ваше величество, если цели России — проливы и Галиция — будут достигнуты без кровопролития, то имеет полный смысл начать переговоры! — твердо высказался генерал и добавил: — Политике противопоказаны рыцарство и жертвенность, ваше величество! Интересы России для всех ваших подданных должны быть выше выгоды французов или англичан... Но, к сожалению, не все сановники империи разделяют эту истину... Их не научил даже опыт, когда наши дорогие союзники решили завладеть единолично Дарданеллами...

— Мне нужно доверенное лицо, которое можно было бы послать в Берлин прощупать намерения германцев! — неожиданно прямо в лоб заявил Мосолову царь. — Есть ли у вас на примете такой человек, которому можно было бы доверить эту великую тайну? Достаточно близкий к вам и заинтересованный в ее сохранении? Разумеется, это должен быть дворянин, могущий быть принятым в высоких германских кругах... Может быть, даже германским императором...

— Да, ваше величество! — немедленно ответил генерал. — Осмелюсь предложить кандидатуру молодого князя Думбадзе...

— Это не родственник ли градоначальника города Ялты, генерал-майора свиты? — перебил его государь.

— Его родной племянник, ваше величество... — ответил Мосолов.

— Охарактеризуйте мне его поподробнее, Александр Александрович! — приготовился слушать Николай. Видно было, что к этому лицу он испытывает некоторое благорасположение.

— Ваше величество, Василий Давидович Думбадзе учился в Германии и в 1906 году вернулся в Петербург с дипломом инженера.

— Это хорошо! — произнес государь.

— Занимаясь коммерцией, он одновременно служил главным управляющим вашего наместника на Кавказе графа Воронцова-Дашкова и весьма близок к его старшему сыну...

Мосолов уверенно рисовал царю в приятных красках светского и делового молодого человека, располагавшего обширными связями в петербургских, берлинских и венских кругах, скромного, отзывчивого, находчивого и имевшего смелость брать на себя известный риск. Генерал умолчал лишь о том, что сам находится с ним в теснейших коммерческих связях и проводит через него многочисленные комбинации с передачей за комиссионные заказов на снаряды и автомобили, сукно и патроны дельцам, бессовестно вздувающим цены.

Николай был весьма доволен, что судьба посылает ему как раз такого человека, на которого Мосолов может возложить от его имени деликатную миссию. Настроение царя заметно улучшилось еще и потому, что у начальника канцелярии оказался уже готовый вариант, под каким соусом направить в Берлин личного эмиссара.

— Князя можно послать в Германию, поручив ему официально роль нашего разведчика, который должен выяснить через своих старых знакомых в Берлине участие немцев в разжигании сепаратистского движения на Кавказе, ваше величество! — предложил Мосолов.

ВЕНА, МАРТ 1915 ГОДА

В отличие от петербургской в венскую оперу до третьего звонка приходили все зрители — независимо от родовитости и положения. Не опоздал и полковник Гавличек. По случаю военного времени господа офицеры, в

том числе и Соколов, по документам ротмистр Дауэрлинг, были в полевой форме. Только дамы, блиставшие в партере и ложах, демонстративно игнорировали суровость времен и сверкали драгоценными каменьями, золотом, источали довоенные ароматы парижских духов.

Когда из оркестровой ямы возникли и полились в зал чудесные звуки увертюры к моцартовскому «Дон-Жуану», а внимание всего зала переключилось от созерцания знакомых и незнакомых красавиц к занавесу, который обещал вот-вот открыть волшебный мир, рука Соколова словно невзначай легла на руку полковника Гавличека. Они обменялись рукопожатием. В антракте офицеры вели себя так, словно только что познакомились. Они не обсуждали ничего, кроме дивной музыки Моцарта.

— Господин ротмистр! — сказал в финале спектакля, когда гремели аплодисменты, полковник своему соседу. — Не окажете ли честь отужинать у меня дома?

Во время обильного славянского ужина в присутствии моравачки — жены хозяина предметом обсуждения было резкое ухудшение довольствия войск, установка вокруг Вены в предвидении русского наступления проволочных заграждений и укреплений, рост цен в лавках и другие препоны к бурному развитию цивилизации двадцатого века, порожденные войной. Затем Гавличек и его гость удалились в кабинет. Собственноручно затворив двери, через которые не проходило ни единого звука, Гавличек обнял своего русского соратника и расцеловал его.

Только здесь, в полковничьем кабинете, Алексей сбросил маску надменного австрийского кавалериста и снова стал нормальным человеком. Друзья расположились подле столика с моравским вином и подняли бокалы.

— За Россию! — сказал Гавличек.

— За независимую Чехию! — сказал Соколов.

Затем приступили к делу.

— Алекс, я подготовил тебе документы на имя штабс-капитана Генерального штаба Фердинанда Шульца, имеющего поручение инспектировать железнодорожные сообщения и санитарное состояние маршевых батальонов в пути. Ты можешь вести наблюдение, но только в западных районах империи... Дело в том, что на галицийском фронте разъезжает настоящий Фердинанд Шульц и тебе надо остерегаться, чтобы с ним не встретиться...

Затем Гавличек достал из внутреннего кармана массивный серебряный портсигар, щелкнув крышкой, вынул из

него папиросу, лежавшую с краю, разломил ее. Внутри оказался микрофильм.

— Здесь данные, которые я собрал за минувший месяц... — протянул он еле видимый клочок, завернутый в папиросную бумагу. — А сейчас я тебе обо всем этом расскажу для ориентировки.

Алексей вынул перочинный ножик, сдвинул перламутр, украшавший его, и вложил в образовавшийся тайник микрофильм. После этого он уселся поудобнее и приготовился слушать. Гавличек собирался с мыслями. Молчание несколько затянулось.

— Сначала об общем состоянии империи... — предложил затем полковник, Алексей согласно кивнул. — Война обнажила все язвы нашей монархии, началась вопиющая неразбериха, — начал офицер. — В нашей армии, впрочем, нам известно, что и в русской также, ощущается огромный недостаток оружия, боеприпасов, военного снаряжения... У нас к тому же резко усилилась склока между разными народами, населяющими империю. Дело доходит до ожесточенных потасовок между чешскими солдатами и мадьярами из гонведа *. Богемские немцы презирают всех, пользуются в армии особыми правами и привилегиями... Полки, формируемые в Чехии, — самое слабое звено на галицийском фронте. Они активно вступают в сношения с вашими войсками, сдаются группами в плен. Несколько дней назад, например, два батальона императорского королевского 28-го полка, державшего оборону на Дукельском перевале, во главе со своими офицерами, под звуки полкового оркестра перешли на сторону русских...

Соколов оживился, известие его обрадовало.

— И какие отклики это вызвало в армии?

— Император приказал отобрать знамя у полка и расформировать его... Франц-Иосиф и эрцгерцог, как главнокомандующий, издали приказы по армии, но эти приказы, зачитываемые чешским полкам перед отправкой на фронт, производят обратное действие — они сообщают солдатам о примере, который им показали чехи из 28-го полка!.. Боеспособность императорской и королевской армий упала за последние месяцы. Русские захватили почти все важнейшие перевалы в Карпатах. Фон Гетцендорф считает, что возникла реальная угроза выхода русской ар-

* Воинские формирования в венгерской части Двуединой монархии.

мии на Венгерскую равнину, что будет катастрофой для Центральных империй. Он просил уже Фалькенгайна о переброске новых немецких дивизий с Западного фронта на помощь Австрии, — солидно и обстоятельно рассказывал Гавличек. — Как говорят в Генеральном штабе, Фалькенгайн ответил Конраду, что простое вливание немецких дивизий в состав австро-венгерской армии, как это было не раз в кампании 14-го года, не спасет положения. Фалькенгайн хочет фронтального удара с целью прорыва русского фронта на одном из решающих его участков...

Соколов насторожился.

— А что известно о направлении главного удара? — обеспокоенно спросил он.

— Все по порядку, брат! — успокоил его Гавличек. — Фалькенгайн обсуждал с фон Гетцендорфом три варианта... — Полковник достал из ящика письменного стола карту театра военных действий и склонился вместе с Алексеем над ней, показывая стратегические замыслы австро-германского командования.

В конце концов решили наносить стратегический удар в Галиции между Вислой и Карпатами с задачей не только отбросить русских от Карпат, но и потрясти всю русскую армию. Будет создана мощная группировка германских войск и в случае успеха давление на Италию и Румынию. Важно оттянуть срок вступления их в войну на стороне Антанты. О возможности такого кошмара сейчас усиленно предупреждают наши дипломаты и разведка. Наступление германцев поддержит Турцию, австро-венгерские войска в Карпатах, создаст угрозу окружения южного крыла Юго-Западного русского фронта...

— Разумно придумано... разумно! — высказал свою оценку Алексей.

— В полосе наступления Висла на севере и Бескиды на юге будут сильно стеснять русские войска, а реки Вислока и Сан немцы не считают серьезными для себя препятствиями... В мой оперативный отдел поступили данные германской и нашей разведок о том, что оборона русских организована на этом направлении весьма слабо. Удар готовится в районе Горлице. Для проведения операции выделены отборные войска с французского фронта — Сводный, Гвардейский, 10-й армейский и 41-й резервный корпуса. Мы считаем их лучшими соединениями германской армии... К ним добавлены императорский и королевский 6-й корпус и императорская и королевская 11-я кавале-

рийская дивизия. Все эти войска объединены в 11-ю армию, командовать которой будет Маккензен...

Беспокойство Алексея возрастало. По сообщению Гавличека, немцы задумали осуществить отвлекающий удар в Прибалтике и собирают там группу войск в составе трех пехотных и трех кавалерийских дивизий, усиленных тяжелой артиллерией. Оба понимали, что намерение Фалькенгайна начать таким образом летнюю кампанию 1915 года может привести к тяжелейшим последствиям для всей стратегической ситуации на русском фронте.

— Спасибо тебе большое, брат мой! — протянул для пожатия руку Алексей. Гавличек вместо этого полуобнял его.

— Если бы ты знал, как тяжело мне носить эту голубую форму! — тоскливо сказал он вдруг. — Я готов делать все, что нужно, для победы славянства в этой суровой битве с германизмом, но как мне тяжело!..

Часы в столовой пробили три часа ночи. Соколов поднялся, чтобы уходить.

— Не отпущу! — твердо сказал Гавличек. — Чтобы тебя схватил ночной патруль или как о подозрительном лице донес содержатель гостиницы?!

— Я бы сразу и проверил надежность новых документов! — пошутил Алексей.

— Кстати, завтра утром я достану тебе из сундука свой капитанский мундир... Надеюсь, он тебе вполне будет впору! — не поддержал его шутку суеверный генштабист, прикидывая на глаз, что поджарому русскому другу подойдет униформа, которую полковник сшил себе десяток лет тому назад.

СТОКГОЛЬМ, МАЙ 1915 ГОДА

Ранним майским утром финский пароход «Боре-I» линии Гельсингфорс — Стокгольм бодро бежал по шхерам близ шведской столицы. Фарватер хорошо известен капитану, который дважды в неделю утюжит его своим кораблем. Осталась далеко позади коварная Балтика, чьи воды могут скрывать германскую субмарину, а из-за горизонта — нагрянуть неприятельские крейсеры. Поэтому максимум маршрута проходил по извилистым шхерным фарватерам, что увеличивало расход угля, но зато пассажиры меньше страдали от качки в спокойных водах между

островами, любовались с борта разноцветием гранитных скал и камней.

Островки на подходах к Стокгольму казались более обжитыми, чем финляндские. Такой вывод сделал молодой грузин, уже позавтракавший и теперь с нетерпением ожидающий, когда борт парохода коснется набережной Шеппсбрунн в Старом городе Стокгольма.

Палуба под ногами грузина чуть заметно вибрирует. В такт вибрирует от радости душа пассажира. Еще бы! Ведь он не простой путешественник по собственным нуждам. Грузин догадывается, что о его миссии известно самому государю всея Руси, а также и шведскому королю Густаву. Князь Думбадзе везет для передачи в собственные руки его величества короля шведов пакет, полученный через дворцового курьера от начальника канцелярии министерства двора генерал-лейтенанта Мосолова.

Перед мысленным взором молодого князя разворачиваются воспоминания о пережитых двух месяцах, которые обещают в корне изменить его судьбу.

Два месяца назад князь Думбадзе вместе со старым другом и соучастником по многим деловым комбинациям князем Георгием Мачабели вдруг понадобился срочно и неизвестно зачем генералу Мосолову. Князья в это время были в Стокгольме...

Конечно, когда Мачабели из Стокгольма уехал вместо Лондона, куда был выписан паспорт, в Берлин, а Думбадзе вернулся в Петроград, ему пришлось написать объяснение для контрразведки Генштаба. Конечно, пришлось доложить, что в Стокгольме они с Мачабели подслушали разговоры о том, что немцы на Кавказе усиленно разжигают сепаратистские движения и что ищут для этой цели агентуру. Разумеется, они решили втереться в доверие к германцам и выдать себя за сторонников отделения Грузии от России.

Мачабели был готов «жертвовать собой» и отправился в Берлин, где его очень тепло встретили, ввели в самые высокие круги и даже предоставили отдельный кабинет в министерстве иностранных дел Германии. А он, Думбадзе, вернулся в Петроград, чтобы связаться с Генеральным штабом и по его заданию поехать на связь к князю Георгию...

В памяти встали встречи с военным министром Сухомлиновым после возвращения в прошлый раз из Стокгольма. Владимир Александрович благословил тогда на новую

поездку. «Узнайте, голубчик, какое настроение в Берлине, насколько там стало трудно с продовольствием и насчет других нехваток», — говорил военный министр, но чего-то недоговаривал. Ну да ладно! Вместо него точки над «и» поставил друг и благодетель, граф Воронцов-Дашков, сын самого наместника императора на Кавказе... Князю Василию лестно, что такая персона почтила его своим вниманием и поверяет важные государственные мысли... А мысли у графа великие!.. Это он правильно придумал, чтобы князь Василий не мозолил глаза в Царском Селе и не встречался бы прилюдно с генералом Мосоловым... Ведь известно, что у Бьюкенена и Палеолога везде есть свои глаза и уши.

Зачем лишние разговоры среди «общественности»?! Ни к чему! Курьеры могут быстро доставлять князю письма и записки генерала. Вот когда благодаря усилиям князя выйдет замирение двух императоров, когда откроются границы для коммерции — тогда князь свое возьмет! Наверное, и чин генерала пожалуют за смелость и услуги...

Мягкий толчок бортом о пристань, скрип кранцев, сжатых между корпусом судна и гранитом набережной...

Мощный полицейский не задержался глазом на дипломатическом паспорте князя: «Ваш-гуд!», что означает «пожалуйста», и суетливый согбенный носильщик уже несет чемоданы и баулы элегантного гостя из Петрограда к коляске извозчика.

— «Гранд-отель»! — бросает князь кучеру название лучшей гостиницы, важно откидывается на подушки.

За сладкими воспоминаниями двухмесячной давности князь не заметил, как извозчик подкатил к зеркальным дверям «Гранд-отеля», в которых красиво отражался королевский дворец, стоящий на другом берегу залива. Швейцар распахнул двери, князь попал в уютную суету международной гостиницы наивысшего разряда.

По случаю войны и нейтрального положения Швеции отель был переполнен. Враги, армии которых бились насмерть на полях сражений, мирно уживались в соседних номерах, иногда с общей ванной. Финансисты, разведчики, коммерсанты, дорогие шлюхи, подрабатывающие шпионажем, и шпионки, желающие выдать себя за шлюх, наполняли этажи и холлы нового и модного здания. Князь с жилкой авантюриста почувствовал себя как рыба в воде.

Приятный сюрприз ожидал гостя из России в его номере на третьем этаже. Дорогой друг, князь Мачабели, пылко бросился навстречу князю Василию и сердечно обнял его.

— Не будем терять время, дорогой! — обратился Мачабели к Думбадзе после того, как они оба до красноты натерли усами щеки друг друга в горячих дружеских поцелуях. — Посланник фон Люциус ждет нас, он готов вручить нам дипломатические германские паспорта для скорейшего следования в Берлин!..

Единственное, что испортило настроение князю Василию, — это встреча с гофмаршалом шведского двора, которому он в тот же день передал прошение об аудиенции у Густава V. Чопорный и холодный граф сообщил визитеру о невозможности столь быстро быть принятым королем, которого сейчас нет в столице... Гофмаршал просил также передать пакет от генерала Мосолова ему, а не ждать возвращения его величества из загородной резиденции. Послание из Петрограда будет тогда немедленно направлено адресату.

ПРЕСБУРГ (БРАТИСЛАВА), МАЙ 1915 ГОДА

Новая встреча Соколова с Гавличеком была назначена на конец мая, но двадцать третьего числа в войну на стороне Антанты вступила Италия, и начальник оперативного отдела императорского и королевского Генерального штаба в Вене был настолько загружен планированием обороны по реке Изонцо, что сумел лишь выслать вместо себя связного. Свидание на всякий случай перенесли из Вены в Пресбург, где обстановка была намного спокойнее, чем в наэлектризованной новой политической неудачей Центральных держав столице империи. Фердинанд Шульц вовремя получил сообщение о перемене места контакта и, «инспектируя» по дороге от Праги до Братиславы воинские эшелоны, наводя ужас своей требовательностью на комендантов вокзалов, заблаговременно прибыл в столицу Словакии.

Как всякий уважающий себя офицер Генерального штаба, не привыкший ходить пешком, штабс-капитан заказал себе наутро верховую лошадь. Алексей не только собирался подняться на лошади по крутым уличкам на гору Шлоссберг, где в парке у развалин замка была назначе-

на встреча, но и решил еще раз проверить, нет ли за ним слежки. Верхом сделать это было проще. По узким Замковым Сходам, как называлась улица, офицер поднялся к замку.

Алексей миновал руины и проехал в небольшой парк, разбитый на подпорной стене. Он привязал коня к дереву, огляделся, а затем медленно обошел вокруг стен замка. Он был пока совсем один на вершине этого холма. Затем снова вернулся в парк, балюстрада которого нависала над бывшей столицей Венгрии.

Приближался час встречи. Чуткое ухо разведчика уловило цоканье лошадиных копыт по булыжнику улочки, ведущей к замку. У бывшей кордегардии, от которой остались лишь две стены, показался экипаж. Возница остановил карету и помог выйти даме.

«Вот сюрприз! — подумал Алексей. — Гавличек прислал вместо себя Младу...»

Кучер вновь взгромоздился на козлы, лукаво посмотрев вслед красивой и хорошо одетой даме, устремившейся к явно ожидавшему ее офицеру. Он решил, что это встречаются любовники, и деликатно отвернулся.

Офицер галантно поцеловал даме руку, и они неторопливо пошли к руинам по тропинке среди цветов.

Млада с восторгом смотрела на Алексея, она не скрывала, что немножко влюблена в него, и ей очень приятно быть связной именно Соколова.

Вначале они вели вполне светский разговор, а затем, когда присели на бревно, лежавшее в тени деревьев, перешли к серьезным вещам. Млада отвинтила набалдашник своего кружевного зонта и вынула из его полой части небольшую капсулу.

— Здесь микропленки с ответами на вопросы, которые вы задали в прошлый раз нашему другу полковнику... — протянула она на белой ладони хранилище секретов, устроенное в револьверной пуле. Алексей молча достал из кобуры револьвер, отодвинул барабан, извлек из него патрон. С трудом он вынул пулю из гильзы. Вместо нее примерил капсулу — она без труда села на место, словно специально готовилась для него.

— Самая драгоценная пуля австрийского интендантства, — пошутил «штабс-капитан».

— Мне приказано передать вам содержание и на словах, — деловито продолжила Млада. — На всякий случай запоминайте... Если вдруг вам действительно придется отстреливаться военными тайнами... — Итак, Гавличек разузнал весьма важные вещи. Эвиденцбюро открыло очень действенный способ проникать в русские секреты. Германцы также развивают этот метод разведки. Заключается он в том, что создана служба подслушивания так называемых искровых сообщений, или радиотелеграфа. Подслушивание радиотелеграмм поручено при главной квартире обер-лейтенантам Земанеку и Маркизетти. Земанек хорошо знает русский язык, и ему вменено в обязанность изучать и «раскалывать» русские шифры. С той же целью капитан Покорный командирован на радиостанцию 4-й армии. Он начал свою деятельность с того, что перехватил и расшифровал приказ русской Ставки от 14 сентября о том, чтобы все сообщения по радио шифровались новым шифром. Путем сопоставления старых шифрованных радиотелеграмм, попавших в его руки до 19 сентября, с новыми, а также благодаря счастливому для австрийской разведки случаю он теперь может делать переводы всех русских шифрованных радиосообщений...

— А что за случай? — поинтересовался Алексей.

— В середине октября русские снова изменили шифр, но какая-то телеграмма, посланная новым шифром, осталась непонятой одной из частей. Ее штаб потребовал тут же по радио разъяснений. Ему тотчас же послали ту же телеграмму старым шифром. Таким образом, и новый сделался немедленно известен капитану Покорному...

— Какие болваны!.. — вырвалось у Соколова.

— Вот, вот! — поддержала его Млада. — Австро-германскую осведомленность, как стало известно Эвиденцбюро, русские объясняют ужасным шпионством многих своих офицеров, особенно носящих немецкие фамилии и близко стоящих к царю и царице На самом деле — и австрийцы об этом очень сожалеют — в русской действующей армии среди офицерства немного германских шпионов. Те же германофилы, что сидят в вашей гражданской администрации, не могут угнаться за изменчивой фронтовой обстановкой. Связь, невозможность доставки информации вовремя лишает сообщения предателей всякой ценности... Гавличек просил еще передать, что служба прослушивания у австро-германцев так хорошо поставлена, что австро-германцы установили подроб-

ную дислокацию всех русских сил до дивизий включительно.

— Да, это очень важные сведения... — задумчиво протянул Алексей. Ему, как офицеру Генерального штаба, сразу стало ясно все значение нового способа технической разведки, дающего огромные преимущества стороне, умеющей читать вражеские шифры. Соколов знал, что Россия в области тайного перехвата шифрованных телеграфных сообщений не отставала от своих союзников и противников. Так, специальная жандармская служба еще в период переговоров в Портсмуте графа Витте с японцами о мире при посредничестве Америки успешно дешифровывала указания, которые получали американцы, действовавшие в интересах Англии и Японии. Благодаря этому граф Витте мог играть со своими противниками, видя заранее все их карты. Он и добился кое-каких дипломатических успехов на этих переговорах, заключив Портсмутский мир. Но чтобы так широко и успешно применять радиоразведку на фронтах войны, создать целую службу дешифровки, сеть подслушивающих и пеленгаторных станций — это, конечно, придумали большие специалисты разведки — отдал должное противнику Алексей. Он счел это сообщение своего друга одним из наиболее важных и срочных.

У пристани на Дунае загудел пароход, отправлявшийся вверх по реке к столице империи. Тени от деревьев переместились намного вправо, один из лучей солнца пробился через глазницу оконного проема в стене замка, подобрался к собеседникам и зажег золотом белокурые локоны Млады. Пора было расставаться. Пани Яроушек протянула руку Алексею, чтобы он помог ей подняться с бревна.

— Пан скоро поедет отдыхать? — тряхнула она головой.

— Не можно сейчас отдыхать, милая моя пани!..

Млада сделалась вдруг молчалива и грустна. Она прошла несколько шагов вдоль величественной руины замка и сказала, что очень устала.

Соколов проводил ее до кареты, где на козлах мирно похрапывал кучер. Когда Алексей открыл дверцу и подсадил даму в экипаж, возница проснулся и зачмокал на лошадь.

Соколов стоял и держал дверцу открытой, пока Млада устраивалась на диване. Потом она резко поднялась, обняла Алексея и крепко его поцеловала.

— Может быть, вижу тебя в последний раз!.. — словно оправдываясь, прошептала она и громко скомандовала кучеру: «Трогай!»

ПЕТРОГРАД, МАЙ 1915 ГОДА

Гостиница «Астория» с первых месяцев войны стала излюбленным местопребыванием различных союзнических миссий и отдельных офицеров Англии и Франции. В ней было 350 элегантных и комфортабельных номеров.

Известный румынский оркестр Гулеску услаждал по вечерам в ресторане своей страстной музыкой господ военных и их дам, у парадного подъезда длинным рядом стояли моторы военного ведомства, дипломатических представительств и всяческих военно-промышленных организаций, плодившихся с необычайной быстротой.

Глава специальной британской миссии контрразведки, а попросту резидент Сикрет Интеллидженс сервис в России сэр Сэмюэль Хор также квартировал в этом отеле. Но никогда и ни с кем не вел профессиональных бесед в его стенах. Сэр Сэмюэль, хорошо зная возможности разведки, не доверял ни стенам, ни подушкам, ни любому замкнутому пространству. Мистер Хор полагал, что каждый физический предмет среди стен и под крышей может оказаться резонатором для чужих ушей.

Именно поэтому сэр Сэмюэль дожидался в вестибюле, когда к нему примчится из неподалеку расположенной гостиницы «Франция» прибывший сегодня в Петроград по вызову посла молодой, но подающий самые радужные надежды генеральный консул в Москве сэр Роберт Брюс-Локкарт. Сэр Роберт незадолго до начала войны был прислан Уайтхоллом на должность вице-консула во второй столице России. Он завел среди влиятельных москвичей необыкновенно разветвленные связи и недавно по представлению сэра Джорджа Бьюкенена, поддержанному им, сэром Сэмюэлем, и полковником Альфредом Ноксом, военным атташе, возведен в ранг генерального консула и резидента британской разведки в Москве.

Разумеется, определенную роль сыграли связи семьи Локкарта в Лондоне, особенно богатство его бабки и знакомства на Уайтхолле отца, поскольку перейти из мини-

стерства иностранных дел под крылышко разведки удавалось далеко не каждому способному молодому дипломату.

За пару минут до того, как пушка в крепости выстрелом отметила середину дня, в вестибюль «Астории» стремительно влетел розовощекий, спортивного вида крепыш, голубоглазый и ослепительнозубый. Он метеором пролетел до холла у лифта, где обосновался сэр Сэмюэль, и остановился как вкопанный, узрев здесь начальника. Мистер Хор легко поднялся из глубокого кресла, крепко пожал руку молодому сотруднику и повел его к выходу.

Когда они ступили на плиты просторной площади, над которой буквально парил огромный купол собора, и ветер стал уносить негромкие отзвуки слов от их уст, мистер Хор почувствовал себя спокойно и уверенно. Для начала разговора он поинтересовался, в первый ли раз приехал сэр Роберт в Петербург, и получил утвердительный ответ.

На второй полуделовой, полусветский вопрос — нравится ли Локкарту Петроград — сэр Сэмюэль также получил вполне удовлетворительную информацию. Оказалось, что мистер Брюс-Локкарт очень полюбил беспорядочную Москву, а Петроград, несмотря на его сказочную красоту, представляется ему серым и холодным.

«Понятно, почему в Москве так любят этого необычно болтливого шотландца!» — подумал про себя холодный и чопорный англичанин Хор. Немножко прощупав мальчика вопросами общего характера, сэр Сэмюэль решил перейти к существу дела, по которому Локкарт был вызван из Москвы.

— Сэр Роберт! — негромко продолжил резидент. — Мы с вами направляемся сейчас в посольство нашей страны на совещание, которое по специальному указанию из Лондона будет проводить сэр Джордж Бьюкенен...

— Это мне уже сообщили... — нетерпеливо выразил свои ожидания Локкарт.

— Я хотел бы предварить его несколькими своими советами, — невозмутимо продолжал мистер Хор. Молодой человек умолк, поняв, что совершил бестактность — прервал старшего.

— Прежде всего, — так же размеренно и негромко сказал резидент, — расскажите о своих связях в Москве с русскими. Кто из них наиболее полезен нам?

Несколько шагов шли молча, Брюс-Локкарт собирался с мыслями. Затем спокойно и деловито принялся перечислять своих осведомителей и агентов.

— Самым важным из тех, кто дает мне информацию, снабжает документами и оказывает влияние в выгодную для нас сторону, пожалуй, является Михаил Челноков, московский городской голова, бывший товарищ председателя Государственной думы... — начал он и без запинки продолжал, как заведенный: — Это великолепный образец русского купца, который влюблен в Англию и жаждет делать с нами дела. Из-за этого он готов осведомлять меня по любым вопросам... Через него я близко познакомился с видным московским деятелем — князем Львовым, Василием Маклаковым, Кокошкиным, Мануйловым. От этих и других господ, но в первую очередь от Челнокова, я получил экземпляры тех секретных резолюций, которые выносились влиятельными и оппозиционными царю российскими организациями — Земским Союзом, главой которого является князь Львов, и Союзом городов, душой которого стал Челноков... Он же снабжает меня секретными документами Московской городской думы; через него и Львова я получил секретные резолюции, вынесенные кадетской партией в Петрограде, копию письма Родзянки премьеру...

— Это было великолепно! — дал оценку достижениям молодого разведчика резидент. — Многие из этих бумаг поступили впервые в посольство от вас, и Лондон был очень доволен этой информацией... Продолжайте, сэр Роберт!..

— Среди моих знакомых в Москве, на которых возможно оказывать влияние в британских интересах, — члены Думы Гучков, господин Брянский, молодой, но очень перспективный промышленник Коновалов... Простите, сэр, я забыл, что довольно коротко знаком с самым большим англофилом среди великих князей, Дмитрием Павловичем...

— Я полагал, что большего друга Англии, чем великий князь Николай Михайлович, в России не имеется... — пошутил сэр Хор. — Впрочем, — прервал он свою шутку, — к великому князю Дмитрию Павловичу больше подходов не делайте — с ним связан другой наш сотрудник, и вы можете только привлечь к его высочеству ненужный интерес его антагонистов!

Мистер Хор посоветовал своему молодому сотруднику, к которому почувствовал истинное расположение, сделать на совещании у посла короткий анализ политического положения в Москве, но не называть имена информаторов. Резидент был уверен, что посол питает опасные иллюзии относительно патриотических чувств и верноподданнических настроений в первопрестольной столице.

...Господин посол, маленький тщедушный человек с утомленным выражением глаз, один из которых был прикрыт моноклем, почти терялся в просторном помещении. Рядом с его столом, за которым он еле виднелся в своем старинном кресле с высокой спинкой, уже сидели полковник Нокс, военный атташе, сэр Хор — главный резидент СИС в России, советник О'Берни и капитан Смит, коммерческий атташе, ведавший экономической разведкой.

Совещание открыл посол.

— Джентльмены! — прозвучал из глубины кресла мощный бас, совсем не соответствующий хилому телу. — Вопрос, ради которого мы собрались сегодня здесь, на этом клочке британской территории, исключительной важности и секретности. Лондон прислал нам полученные из Германии совершенно достоверные сведения о том, что русский царь и царица вступили в контакт с германским императором на предмет заключения сепаратного мира. Такой не санкционированный нами выход России из войны поставит под угрозу существование Великобритании. Нет сомнений, что царь взял на себя тяжелую ответственность перед историей и той здоровой частью своего народа, которая разделяет с союзниками цели войны.

Посол перевел дух после длинной тирады и продолжал:

— Джентльмены, мы имеем на этот случай совершенно категоричное указание Лондона привести в действие план «А»...

Локкарт с удивлением посмотрел на сэра Сэмюэля, тот наклонился к его уху и прошептал:

— От слова «абдикейшн» *...

Сметливый молодой шотландец прекрасно понял смысл плана: привести российского самодержца к отречению от

* Отречение.

престола, но кого же тогда Лондон планирует поставить во главе России? Локкарт навострил уши.

— От имени кабинета его величества я санкционирую начало всех действий по плану «А»! — торжественно провозгласил господин посол, и озабоченные лица англичан стали проясняться. — Прошу высказаться самого молодого участника совещания! — любезно кивнул Бьюкенен Локкарту. Сэр Роберт мгновенно вспомнил все наставления, сделанные ему мистером Хором, поднялся со своего стула и, не торопясь, солидно принялся делать обзор политического положения в Москве.

— Москва перешла от оптимизма в отношении войны к полному пессимизму. Германофильские настроения царицы, о которых усиленно твердят в общественных кругах, вызывают в Москве бурю возмущения. Правда, теперь эта буря почти улеглась, но при умелом дирижировании вновь можно будет возбудить русских против их правительства. Москва далека от линии фронта, и лучшая часть ее общественности — буржуазия — поэтому не унывает, а живет довольно веселой жизнью...

Крупные промышленники и купцы Москвы весьма недовольны царем и его окружением... Другой полюс недовольства — революционеры. Их всегда было много во второй столице России... Мои осведомители среди социалистов доносят, что резко усилилась социал-демократическая агитация на заводах и фабриках... В деревнях растет недовольство и вспыхивают беспорядки среди крестьян, особенно призывников. Раненые не желают более возвращаться на фронт... В самой Москве произошел голодный бунт, и толпа избила помощника градоначальника... Из полицейских источников мне известно, что власти намерены канализировать возбуждение народа в Москве против носителей германских фамилий и немецких коммерсантов, которых в первопрестольной несколько тысяч, и отвлечь тем самым от выражения недовольства правительством...

Присутствующие с глубоким вниманием слушали обзор Локкарта. Он, поощренный интересом к его словам, продолжал тоном оракула:

— Я могу предсказать, что в течение ближайшего месяца в Москве произойдет крупный погром. Разумеется, я не собираюсь вмешиваться, даже если и пострадает британское имущество, ведь политические издержки от

всех безобразий падут на голову русского царя и добавят пищи для пропаганды, которую ведет за предоставление себе свобод буржуазная оппозиция...

— Совершенно верно! — одобрил коротко этот тезис посол и вновь изобразил особое внимание к словам Локкарта.

— Мне представляется, — смело продолжал генеральный консул, — что Москва становится весьма важным центром оппозиции...

Сэр Джордж с тихим одобрением смотрел на Локкарта, сэр Сэмюэль внешне был безучастен, но радовался успеху талантливого молодого сотрудника, который обещал стать хорошим помощником. Однако не все присутствующие разделяли их точку зрения. Злобный и завистливый сэр Альфред Нокс, хотя и тщательно записывал для себя тезисы доклада Локкарта, подумывал о том, как бы осадить зарвавшегося нахала, который вообразил себя повелителем Москвы и вылезает на передний план в секретной службе его величества в России. Чего доброго, он еще обратит на себя внимание начальства и затмит такого старого и опытного служаку, как он, полковник Нокс. Советник О'Берни заранее ревновал консула к послу и переживал, что внимание, которое сэр Джордж уделит этому любимцу московских купцов, будет подарено не ему, советнику, а мальчишке, который на дипломатической службе всего несколько месяцев. Бенджи Брюс тоже завидовал шотландскому выскочке, но тщательно скрывал это, собираясь остаться с Локкартом в наилучших дружеских отношениях хотя бы для того, чтобы что-то почерпнуть от него.

Сэр Джордж вновь взял на себя обязанности председателя.

— Джентльмены, можно констатировать, что мистер Локкарт весьма тонко понимает свои задачи, связанные с выполнением раздела плана «А», в части, касающейся Москвы... Пожелаем ему удачи и послушаем капитана Смита относительно коммерческих кругов Петрограда и их отношения к событиям в столице и на фронте!.. Пожалуйста!..

Совещание продолжалось. Коммерческому атташе также нашлось что сказать для подкрепления диспозиции плана «А». Мистер Смит поведал о том, что не только в придворных сферах вынашиваются идеи сепаратного ми-

ра с Германией. В России появилась группа «банковских пацифистов», которые также делают ставку на замирение с германскими финансовыми кругами. Посольство пристально следило за комбинациями таких банкиров и промышленников, как Игнатий Манус, Дмитрий Рубинштейн, Алексей Путилов, Александр Вышнеградский...

Господин генеральный консул внимательно прослушал своих коллег, демонстрировавших изрядные познания о России, знакомство с характером и взглядами ее партий и деятелей. Единственно, с чем он был внутренне не согласен, это с оценкой позиции большевистской партии. Английские дипломаты почти совершенно не брали ее в расчет, хотя здесь, в Петербурге, именно большевистские агитаторы острее всех выступали против царизма и войны, завоевывали на свою сторону рабочую массу. Сам Локкарт отнюдь не преуменьшал ее значения, но не хотел идти против общего течения. Он хорошо усвоил задачу, поставленную начальством, — всячески помогать консолидации буржуазных сил в России, их борьбе с самодержавием за власть. Ревнитель британских интересов, Локкарт, как и его шефы, был категорически против пролетариата на баррикадах и за буржуазию, крадущуюся к власти.

Окончание следует

Иван САВЕЛЬЕВ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Звенела жаворонком высь.
В лугах петляла речка Лида...
Обида первая на жизнь —
Неизлечимая обида.
В колхозе день стоговки был —
Ребячья удаль и отрада...
И Мишка — конь под ним что надо!—
В сторонку друга оттеснил,
Красуясь перед всей бригадой.
Он дернул взмашисто коня —
И тот взметнулся гривой черной.
И разбежалась ребятня,
И громко охнули девчонки.

И за деревнею на рысь
Конь перешел, летя упруго.
А следом мальчики тряслись,
Стараясь обогнать друг друга.
«Ну что ты, Майка, так ползешь? —
Подумал Вася. — Иль обидел?..»
И вдруг услышал: — Отстаешь!.. —
И рядом Машеньку увидел.
Держала узелок в руке,
А с плеч — в каких-то райских птичках,
Как небо, вымыто в реке, —
По ней стекал веселый ситчик.
Он словно под лучами цвел...
И эти птицы, как живые,
Обвили девичий подол,
Срываясь в травы луговые.
Они, со всех сторон звеня,
Как будто пели про удачу.
И он глядел... и вдруг с коня
Упал под громкий смех ребячий.
Все, все тогда б сошло вполне,
Но эта Мишкина подначка:
— Тебе сидеть не на коне,
Наездник смелый, а на кляче... —
О, нет, он к стремени прыжок
Не сделал, не взметнулся косо.
За оскорбление дружок
Не уезжал с разбитым носом...
Он встал и тихо, не спеша
Побрел травой — по пояс — к Лиде.
И лишь того, что Майка шла
За ним, сконфуженный, не видел...

Глава вторая

Лидочка, Лида, речонка,
Душу его успокой!
Месяц картошинкой тонкой
Вынырнул, близкий такой.
Звезды. Как близок полет их!
Аж на душе горячо.
Тут неожиданно кто-то

Тронул его за плечо.
— Майка! Родной человече!
Милая, чуткая жизнь!.. —
Видела лошадь, как плечи
Знобко мальчишки тряслись.
Скользко в ночи, онемело
Звякнули в тишь удила.
Что-то поведать хотела
Майка, да вот не могла.
У головы ее замер
Мальчик, согревшись теплом.
Лошадь большими глазами,
Все повторяла глазами:
«Как-нибудь, Вась, проживем!..»
И у склонившейся ивы —
Тише шумела вода —
Стал он счастливым-счастливым,
Как никогда. Никогда.
Месяца тоненький обруч
Тропкой росы побежал...
Маши — не чудо ли? — образ
В свете его выплывал.
Платья светящийся ситец —
Стана девичьего плен.
Те же притихшие птицы
В небо глядели с колен.
За плечи брошены косы —
Два шелковистых ручья.
Делал в уме он набросок
Милой девчонки курносой,
Все повторяя: «Моя...»

Глава третья

Отец! Он в кителе военном
Ходил с тех самых тяжких лет...
И на стене висел Люсьена,
Француза старого, портрет.
С лицом, от горя изможденным.
Сопротивленец. Брат. И друг.
Но был портрет незавершенным:
Отцу отняли кисти рук.

Он мерз в окопах, гнил в болотах,
И видел тысячи смертей,
И понял, что война — работа,
И нет работы тяжелей.
...Французское Сопротивленье.
Отряд с боями отходил.
Отец тогда из окруженья
Люсьена, раненный, тащил.
Который день они ползли
В снегу по падям и по склонам...
Крестьяне, снегом занесенных,
Их, обмороженных, нашли.
Он случай этот вспоминал
(Теснили мозг обрывки боя)
И тут угрюмо запивал,
Все чаще уходил в запои.
Сидел в бреду и, в полусне
Под самогоном тяжелея,
Он Васе говорил хмелея:
— Я пьян... иди, сынок, ко мне.
Ты говоришь, не надо пить.
И трезвый я не вижу света.
Сынок, безруким можно жить —
Но пахарей безруких нету!
А я хочу пахать, сынок.
Косить хочу, как прежде было...
И поднимать под солнце вилы,
Чтоб встал над Лидой первый стог.
Ужель затем я воевал —
Да будут прокляты те годы! —
Чтоб на глазах всего народа
Никчемным иждивенцем стал?! —
И вновь стакан культею брал
Сивушно-мутного напитка...
И пил. И тут же засыпал.
Так день за днем тянулась пытка
Для всей семьи, что все ждала:
А вдруг свершится это чудо —
Он все поймет и пить не будет...
Он пил. И матушка слегла.
Потом на Холмовской погост
Ее несли деревней всею...
И дождь как через сито сеял.
И плакать не хватало слез.

А на поминках он не пил.
И лишь тяжелым, хриплым басом
Все повторял: — Ты слышишь, Вася,
Ведь это я ее сгубил!.. —
А по ночам, когда в дому
Стояла тишина немая,
Невыносимо молодая
Его Галина шла к нему.
Как радовалась она!
Как громко в хороводе пела!
И предвоенная весна,
Весна женитьбы их, шумела.
Те дни летели как во сне.
Шептала Галя: — Я с тобою
Так счастлива, что страшно мне,
Как будто бы перед бедою... —
...Давил на зренье потолок,
Шел враг — в который раз! — в атаку.
— Скрути цигарку мне, сынок... —
Он говорил. И плакал. Плакал.
И мальчик на печи затих.
Лежит и словно бы не дышит.
О, эта тяжесть слез мужских!
Не доведись их вам услышать...
Отцу мерещится каньон
И та, последняя, засада...
Их двое — лишь Люсьен да он —
В живых остались от отряда.
Тащились горною тропой,
Куда ползли — уже не знали...
И рядом — мертвый и живой, —
Сжав руки, у села лежали.
...Давил на зренье потолок
И уходил тропою длинной...
И снова говорил он сыну:
— Скрути цигарку мне, сынок...

Глава четвертая

Судьбы крутые повороты.
Но обозначен свет во мгле...
Когда мужик уйдет в работу,

Он все забудет на земле.
Себя забудет, дом забудет
(А у отца какой там дом!),
Всего себя отдаст он людям —
И сам излечится трудом.
За летом золотело лето.
Годов стремительный набат.
Иван — впервые депутат
И председатель сельсовета.
Он смог на людях отогреться.
А может, силы был запас?
И лишь пошаливало сердце,
Но отпускало всякий раз.
Пойдет ровней — и слава богу.
Уже давно за сорок лет.
И вновь — до вечера дорога:
Активы, займы, сводки, хлеб...
А сын Василий вечерами
Среди пустых — в обоях — стен
Присматривался к старой раме,
В которой — друг отца, Люсьен.
И, зная, как отцу он близок,
Покуда бати дома нет,
Василий брался за эскизы,
Пытаясь дописать портрет.
Смотрел на старенькое фото
И вновь, усталый, рисовал...
Иван за этою работой
Однажды сына и застал.
Ивана мучила одышка.
Он еле на ногах стоял.
Смотрел из-за плеча сынишки
И снова друга узнавал.
И как когда-то в миг атаки
У горной пенистой реки
Альпийские пылали ма́ки,
Шли в наступление маки́.
Все склоны полыхали алым.
Весь свет в глазах его пылал.
— Сынок!.. — он выдохнул устало.
И покачнулся. И упал...
Упал, гребя руками, на пол,
Услыша сталь ножа в груди.
И вскрикнул Вася: — Что ты, папа?!

Не надо, пап, не уходи!.. —
И слушал сердце, и: — Не надо!.. —
В беспамятстве кричал опять.
А тот потусторонним взглядом
Смотрел и видел рядом мать.
И губы вздрогнули: — Га-ли-на... —
Она у самых глаз была...
И вздрогнули на лбу морщины,
И белизна по ним пошла.
Усилием всех сил своих
Он выжал: — Мне конец, наверно...
Сходи к Потапову... он — первый...
Прости за маму... — И затих.

Глава пятая

Судьба кому-то улыбалась...
А Маша, ведала ль она,
Что у Василия осталась
На весь огромный свет одна?
Любимая! Да вот не скажешь
Ни ей, ни другу своему:
Уж он-то видел — сердце Маши
Летело к Мишке, не к нему.
Его жалели, но не знали,
Что́ в тайниках его души.
Его от гибели спасали
Бумага да карандаши.
Душа, горя́, просила света,
Изнемогала, но жила...
И он писал ее портреты,
Но боль не тихла, а росла;
Он под портретом ставил имя.
Писал... И так ее любил,
Что от бессилья как-то ими
В избе все стены облепил!
Изба уютней стала, краше...
Не понимая ничего,
Со всех сторон смотрела Маша
На нелюбимого, него.

...Машина подкатила ловко
К избе и встала у телег.
— А тут и вправду Третьяковка! —

Сказал вощедший человек. —
Так вот какой ты!
Ну, здорово...
Давненько выбраться хотел.
Дела... — И взгляд его суровый
Вдруг как-то сразу потеплел.
И потускнел опять мгновенно,
Печаль глаза заволокла:
Он видел в Маше дочку Лену,
Что до Победы не дошла.
...Они с боями отходили
В лесах Смоленщины... И в ночь
Перед Седьмым враги казнили,
Жену и дочь его казнили...
И он ничем не мог помочь.
А чем поможешь, коль в болотах,
Окружены со всех сторон,
Они сражались — горстка, рота...
А враг бросал мотопехоту —
За батальоном батальон.
Лишь ночью, по болотной жиже,
Где зверь боялся проходить,
Они прошли — не чтобы выжить,
А чтоб фашистов раздавить!
Все силы, кажется, истратив,
Прошли, вдыхая смрад и гарь...
Он шел с людьми, Потапов, Батя,
Райкома первый секретарь.

Пред ним туманом стены плыли,
Качались темные круги...
— А Леночка твоя красива!
— Мария, — отвечал Василий.
— Ах да... ты Машу береги... —
Сказал и чувствовал: внезапно
Как бы прошел меж ними ток.
— Давай знакомиться: Потапов.
Иван Иванович, сынок...
— А мы давно знакомы.
— Разве? Не шутишь ли?
— Да не шучу... —
И взгляды бросили на «газик».
— Давай, Василий, прокачу. —
Они летели по ухабам —

Была горячая пора.
Работали на поле бабы.
Вовсю гудели трактора.
Еще их было маловато.
Колесники. Круги-рули...
Но как тянулись к ним ребята,
Работать на прицепы шли!
Василий тоже нынче — с ночи.
Часок-другой всего поспал.
— Кем стать, — спросил Потапов, — хочешь?
— На трактор сяду, — отвечал.
И, словно что-то вспоминая,
Василий, глядя на межу,
Сказал: — Земля, она — живая,
Я это слышу, как пашу.
Когда по лемеху стекает
Тяжелый пласт в пучке лучей,
Земля, вы знаете, вздыхает,
Наверно, тяжело и ей. —
В кабину пробивался ветер,
Блестело бликами стекло...
— Ты это правильно заметил,
Земле, Василий, тяжело. —
Шли на прополку льна девчонки
И песню весело вели.
А по обочинам — воронки,
Они еще не заросли.
А по обочинам — окопы,
Их только стали засыпать...
— Нам этот, Вася, горький опыт
Нельзя вовеки забывать.
Да что там — нам? Мы знаем цену —
Безмерна этому цена.
А вот идущим нам на смену
Не стала б легкою она. —
И у правленческой ограды
Сказал — сошла печаль с лица:
— Тебе учиться, Вася, надо
И за себя, и за отца... —
Он понимал, Василий, жалость —
За ней стояла доброта.
Но, словно смерть, его пугало,
До мук, до боли унижало
Больное слово — сирота.

Глава шестая

В тот день не то чтобы горька —
Жизнь стала немила впервые:
Узнал — ребенка ждет Мария
От Мишки, от его дружка.
— Он нас обоих погубил!.. —
Шептал Василий по дороге
К Черновым.
— Где твой Михаил?! —
Сказал, бледнея, на пороге.
Семен Чернов повел плечами:
— Не в клубе ли? Да ты садись...
— Где твой подлец, скажи сначала,
Он Машеньке испортил жизнь!..
— Да ты о чем?
— А все об этом...
Не знаешь разве, что к чему? —
Семен поднялся с табурета:
— Не может быть?! Ну я ему!..

...Василий не заметил даже,
Как подошел к ЕЕ крыльцу.
И вдруг столкнулся с тетей Дашей
На лесенке — лицом к лицу.
— Василий, ты? — она спросила,
И дверь сенную отперла,
И ощупью, как через силу,
С ним вместе в горницу вошла.
И спичкой чиркнула. И синий
Огонь их лица осветил...
С испугом: — Что с тобой, Василий?
— Где Маша? — только и спросил.
— Уехала... — И глухо, глухо,
Потом все громче и навзрыд
Заплакала — совсем старуха. —
Ах, Васенька, какой же стыд!
Стыдобушка, сынок, какая,
Она ведь у меня одна,
Сиротушка... — И, причитая,
Глядела на стену она.
Оттуда — рамочка в виньетках —
Смотрел в счастливых сорок глаз
Окончивший десятилетку

Отличный их десятый класс.
Там Вася сзади оказался...
На первом плане, рядом с ней,
Счастливец Мишка красовался
У золотых ее кудрей.
Она чему-то улыбалась...
И как же он не замечал,
Как тесно плечи их касались,
Как близко Мишка к ней стоял!..

Глава седьмая

О безрассудность исступленья!
Впервые так ожесточась,
Он рвал ее изображенье:
— Уйди, нелюбящая, с глаз!
Я разочтусь теперь с тобою
За боль,
За власть твою
Сполна!.. —
И лопались, треща, обои,
И голой делалась стена.
И мох рыжел, зажат в пазах.
И круглые, крутые бревна —
Венец к венцу — лежали ровно,
Нетесаные, в сучках.
И билась света полоса
Над дверью, падая на стены...
И тут увидел он Люсьена —
Почти отцовские глаза!
Он в них, как бы очнувшись, глянул
И, принимая взгляда казнь,
Не выдержал и вдруг отпрянул
Назад, ладонью заслонясь.
И сел на стул, и, глядя на пол,
Шаги услышал позади
И давний крик свой: «Что ты, папа?!
Не надо, пап, не уходи!..»
И доходило издалёка
Сквозь пустоту и немоту:
— Да что ж ты так извелся, сокол,
За что порушил красоту? —
Он оглянулся: рядом, тут,

Как тень, стояла баба Фекла.
Он на нее с любовью, нежно
Смотрел: она ли то была?
— А я тебе... картошки свежей...
Поешь-ка, — села у стола.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Зал на Кузнецком к выставке готов.
На улице «билетики» просили.
Он выставлялся в первый раз, Василий
Иванович, художник Иванов.
О выставка! Ты — вернисаж страстей
И дилетантских — как ни грустно! — споров,
И профессиональных разговоров,
И обращенных в прошлое речей.
О, выставка! Ты — праздник. Свет. И цвет.
Ты — ленточка, к какой тяжка дорога,
Итог трудов, которым меры нет,
Ведь до тебя не ближе, чем до бога,
Бывает путь... Художник их пройдет —
Года бессонниц, поиска и риска,
Не думая, он далеко иль близко,
Тот день, когда признание придет.
О выставка! Нет, ты не мастерская,
Ты — свет души, но не сама душа.
...У полотна его — «Земля живая» —
Пришедшие стояли не дыша.
Земля была за миг перед рассветом
(Текла река. Темнел прохладно лес)
Вся залита неуловимым светом,
Невидимым, струящимся с небес.
А у реки светлела шапка стога.
И к горизонту, в небо, в высоту
Бежала бесконечная дорога
В песчинках и росинках, как в поту...
Ей, отдохнувшей, хорошо бежалось
В примолкших колокольчиках земли.
И в Млечный Путь — так зрителям казалось —
Текли ее крутые колеи...
Не оторвать завороженных взглядов

От той дороги... И с картины в зал
На зрителей повеяло прохладой,
Как будто их рассвет в пути застал.

А в стороне, в конце большого зала,
Куда не доносился звук шагов,
Шла женщина, как будто что искала
Среди горящих красками холстов.
И у портрета вдруг окаменела.
«Не может быть!..» — из сердца прорвалось:
С холста девчонка на нее глядела,
Наивная, с косичками вразброс.
Их, как живые, словно трогал ветер.
Глаза горели, юностью слепя...
А женщина смотрела и в портрете,
Как в зеркале, увидела себя.
Лицо дышало красотой неброской...
Цветы пылали, головы клоня...
Она одно лишь видела: подростка —
В тот самый миг, как он упал с коня.
Он перед нею выплывал, смущенный,
Вихор волос рассыпан по виску...
И в первый раз любви неразделенной
В его глазах увидела тоску;
Смятение мальчишечье и гордость,
Ведь рядом с ним любимая была, —
Все женщина увидела сквозь годы,
Что девочка увидеть не смогла...
Она стояла с думою о нем,
И время возвращалось, словно эхо...

А он в Смоленск, к Потапову, в обком,
Взволнованный: «Застать бы лишь!..» — уехал.
К нему, к нему, ведь он — его отец!
Которого молчанием обидел...
— Приехал! Ну, спасибо. Молодец...
А я твои работы, Вася, видел.
Растешь, сынок... — И обнял, как тогда,
У новенькой правленческой ограды.
— А мы стареем, Васенька... Года... —
Потом уж больше говорили взгляды.
Потом Василий что-то говорил,
А про себя: «Как неожидан профиль...»
— Поди, земли не знаешь? Подзабыл? —

Сказал Потапов. —
Прокачу. Не против?..

Глава вторая

Они вдвоем сидели у реки.
Дымились, дотлевали угольки.
И летний день над лесом догорал...
И, кажется, Потапов задремал.
За эти дни, что провели вдвоем,
Василий столько нового увидел!
«Жизнь движется...» Но думал о своем
И с мыслью тяжкой обращался к Лиде:
«Река моя — колдобины да ямы —
Давно ль текла ты широко и прямо?
Стога в покос вставали ежечасно,
Как будто шлемы витязей прекрасных.
И конское обрушивалось ржанье
На берега, на звездное мерцанье.
Ах, Лида, Лида, колыбель ночного
Рыбачьего счастливого улова.
Твой ветерок к руке моей ласкался,
Язык костра с волной твоей братался.
Мне виделись большие пароходы,
Когда в твои заглядывал я воды.
Когда в разлив ты весело играла,
И сердце у парнишки ликовало.
...Гляжу на дно — твое былое русло —
И раздвигаю тростники рукою.
Река моя! К чему я прикоснулся!
И это дно теперь зову тобою?! —
Он посмотрел на звездный свет протяжный,
То нависал дугой созвездий Млечный...
— Что я умру, не так уж это важно,
А страшно то, что ты, река, не вечна...»

И гул прошел глубинный средь полей,
И он услышал голос незнакомый:
«Я не могу, Василий, без людей,
А ты давно забыл дорогу к дому.
Да ты ль один? Поразбрелись, ушли,
Беспечные, за это, мол, не судят.
И городского счастья не нашли,
И на земле оставили безлюдье.

Здесь травы остаются на корню,
Лен под снега неубранный ложится...
Его весною предадут огню,
Потом опять все это повторится.
Не год, не два — уже десятки лет
Земля скудеет льнами и хлебами.
Но нет людей. И виноватых нет.
А виноваты — слышите? — вы сами.
Войны ль разор вас тронул, иль иной
Прошел разбой по душам неокрепшим,
Что перестали чувствовать душой
Тепло земли, доставшейся от предков?!
Земля щедра, добра к своим сынам.
Она, как мать, обидных слов не скажет.
Но может статься: возвращенье ваше
Вдруг поздним будет и земле и вам...»

И голос смолк. И вновь такая тишь
На утренней земле установилась,
Что думал он: «А может, все приснилось,
Послышалось?..» А сердце билось, билось,
Выстукивая: «Васенька, хитришь!
Хитришь, дружок! Смотри, запоминай.
И если настоящий ты художник,
Не осквернишь и самой малой ложью
И боль, и Правду выстрадавший край!..»
Кто говорил с ним? Поле? Иль река?
Береза ли, от времени седая?
Летящие ль куда-то облака?
Зачем гадать... Теперь не угадаешь.
Стояла удивительная тишь,
Еще над миром не поднялся ветер...
— Ты что-то сам с собою говоришь, —
Привстал Потапов.
— Неужель?! — ответил.
Дымились рядом гильзы папирос —
Их целый ворох накопился за ночь.
И он сказал: — А вдруг, Иван Иваныч...
А вдруг с меня все это началось? —
И он смахнул устало прядь со лба,
Не волосы, а годы сбросить силясь...
— Ты о беде о нашей?!. Не с тебя...
С войны все это началось, Василий.
Вот где сегодня пахарь и кузнец,

Где ныне шорник, бондарь, столяр, плотник,
Ну, словом, — главный на земле работник?
Каким, к примеру, был он, твой отец.
Они все там — под Вязьмой и Москвой
И в Холмовских лесах и в безымянных...
— Не кажется ли вам, Иван Иваныч,
Что часто прикрываемся войной?
Легко списать все беды на войну.
А в города кто двинулся, не мы ли?
— Не кажется. Они ведь там не пили,
А поднимали из руин страну!
Война-то, Вася, поровну брала,
Не спрашивая, кто ты, что ты, где ты.
И пахаря косила, и поэта,
Из города косила и села.
Ну а насчет вина, то, милый мой,
Как думал прежде, думаю теперь я:
Когда души нет, Вася, за душой —
В избе ль живешь, в квартире городской —
Не от вина умрешь, так от безделья... —
И замолчал. В росе светился луг.
Заря легонько, тихо разгоралась.
— Без многих, так необходимых рук
Народ остался, потому, мой друг, —
Он заключил, — земля без рук осталась... —
И проступила на его лице
Печаль былая и беда былая...
А Вася снова думал об отце,
Впервые боль отцову понимая.
Отец опять пред ним стоял живой.
Как он однажды вымолвил, уставясь
В рисунок Васин:
«А хорош на зависть!..»
«Понравилось?!.»
«Нет... здесь пройти б с косой —
Ведь луг-то удивительный какой!..»
И посмотрел он на руки свои,
Лишенные возможности р а б о т а т ь,
И столько было муки и любви
В его глазах
Да и еще чего-то,
О чем напрасно даже говорить,
Нет слов таких и в языке великом,
Что можно кистью разве что схватить

В миг, что зовется
Откровенья мигом.
И, Васины угадывая мысли,
Потапов продолжал не торопясь:
— Все, Вася, на земле от нас зависит,
От всех людей и каждого из нас.
Мы область всю объехали с тобой, —
И он на миг ушел далёко взглядом, —
Порядок там, достаток там, где кадры
Толковые, хозяин — с головой!
Они нам, Вася, позарез нужны —
Их не хватать еще нам долго будет! —
Хозяева, заботники страны,
А проще — государственные люди.
Ну а земля, какою б ни была —
От щедрых черноземов до подзола, —
Как человек, не может без тепла
Крестьянских рук... —
И стал с металлом голос:
— Не пребывать на ней должны,
А быть,
Она сама и милует, и судит.
Играть с землею — как с огнем шутить,
Уж больно она этого не любит...

Глава третья

И вспомнился Василию приезд
Лет пять тому... Был день осенний, блеклый.
И пролился́ последний дождь над Феклой.
И над могилою поднялся крест.
Сквозь наволоку туч к исходу дня
Пробилось солнце, грея и не грея.
«Ну вот и все... — подумал, цепенея, —
Ушла моя последняя родня...»
Окаменело сердце от потерь.
Он все стоял. И бывший председатель
Семен Чернов сказал угрюмо: — Хватит...
Идем, Василь Иваныч, что ж теперь... —
Они пошли дорожкой меж стволов
Березок, прикорнувших у оградок...
И тут косым — как посторонним — взглядом
Он увидал фамилию: «Чернов...»
Какой Чернов? Да он же рядом был,

Он видел спину шедшего Чернова.
И задохнулось на излете слово,
И лишь в мозгу — как выстрел: «Михаил...»
Семен остановился. Постоял.
И закурил, и трудно, через силу,
Глотая дым, устало прошептал:
— А Мишу водка, Васенька, сгубила...
Едва пришел из армии домой
(Вот ты тогда в художники подался),
На Север Михаил завербовался
И шесть годов без малого скитался...
Ну а вернулся вновь... чума чумой.
Я Машеньку ищу, он говорил,
Я обещал ей горы золотые...
— Ну а она... — Василий перебил, —
Семен Захарыч, где живет Мария?
— А ты не знаешь разве? Под Москвой,
Недалеко... Да чай слыхал — в Мытищах.
Да-а, быстро закатился Миша мой...
Уж третий год, как никого не ищет... —
И он быстрей по тропке зашагал
И говорил, не глядя на могилы:
— Ты уж того... прости, что накричал
В тот вечер на тебя за Михаила.
Не на тебя бы надобно кричать...
Но до того ль мне было, до того ли? —
Он повторил: — Ржаное гибло поле!
А что я мог? С кем было убирать?!.
Из сил тянулись бабы, как могли.
А мужики... Да сколько их вернулось?
А многие — работка подвернулась —
Смекнули и в отходники ушли. —
И давнее из сердца прорвалось,
Он говорил с презрением и болью:
— «Отходники»! И слово-то нашлось,
Ну, в общем, те, что отошли от поля.
А там нас укрупнили... Ну а там...
Ты знаешь все. — И продолжал устало:
— Теперь вот повернулись к деревням.
А деревень-то, Вася, и не стало...
Да что я говорю! Гляди окрест:
Нет Вязников, Орехова и Горок,
Слоны исчезли, Маркино, а скоро
На Репине твоем поставят крест...

Все понимаю, он необратим...
Ну как его?..
— Прогресс?..
— Вот-вот, он самый...
Взять комплексы... Центральные усадьбы...
Все хорошо. Но больно уж спешим.
Спешится нам, ну словно девке той,
Что выйти замуж хочет поскорее...
Я так скажу: хомут всегда на шею
Найдешь себе. Да только вот какой?
Коль не по шее — холку так натрет,
Что сбросишь и последнюю поклажу...
Ведь как порой: и комплекс не налажен,
И старой фермы нет уже... вот-вот...
А есть-то мы по-прежнему хотим,
Да повкуснее — молочко, яички,
Мясцо парное и, конечно ж, птичка...
А так-то что — процесс необратим.

Они шагали с кладбища домой.
Уж солнышко едва-едва светилось.
И не заметили, как им открылось
Их Репино за Лидою-рекой.
Осенний лес торжественно сиял
Своей красой недолгою, но броской...
А из-за горки с черною полоской
Паров поднятых
Трактор выплывал.
Земля плыла живою полосой —
И исчезал земли осенней ежик...
— А там... — кивнул на трактор, —
мой меньшой,
Последняя опора и надежа. —
А он, Василий, словно не слыхал
Черновских слов и только слушал, слушал,
Как гул мотора дробно нарастал, —
И не пары, казалось, поднимал
Тот мощный плуг, а с ходу нож вонзал
В глубинный пласт, что образует душу.
И вскрыл его...
И тут же ощутил
Всем существом и всей душой Василий:
Земле родимой возвращалась сила,

Какою он все эти годы жил!
А трактор шел в тумане и пыли.
Тускнело серебро его подглазий.
И гусеницы оглушали лязгом
И лентой бесконечною текли.
А он подзола ком в горсти сминал
И все глядел, душою припадая
К земле, и повторял: «Земля живая...» —
Наверное, еще не понимая,
Что главную работу начинал.

Потом они сидели за столом
В его избе, на Феклиных поминках.
И говорил Чернов: — Была заминка...
Я все, Василь Иваныч, о меньшом,
Ему ведь тоже снились города,
Там — новизна, а тут несладко было.
А я его... на Мишкину могилу.
Что, говорю, решил попасть сюда?
Успеешь, говорю, мы все успеем
В тот дальний мир, где сыро и темно...
Но, мертвые, земли не отогреем,
Согреть ее, сынок, живым дано!
Живым! Ты понимаешь?
«Да... конечно...» —
Ответил Петр, ну стало быть, меньшой.
«А коли понял, что же так поспешно
Востришь ты лыжи от земли родной?
Ты нужен ей не мертвый, а живой!..»
Вот так-то бы и с Мишкой было надо, —
Он произнес: — Эх, блудные сыны... —
И с Машенькою встретился он взглядом,
Что на него смотрела со стены.
Она в глаза внимательно глядела,
Наивная, с косичками вразброс.
И что-то все спросить у них хотела,
Да не слетал с застывших губ вопрос.
— Красивая... — сказал, и пепел на пол
Упал и угольком, кончаясь, тлел. —
Талант, талант... Что говорить: Потапов
Уже тогда далехонько смотрел!.. —
Он замолчал. И тихо стало в доме.
Они вдвоем сидели за столом.
— А где Иван Иваныч?

— Он — в обкоме.
Теснехонек Потапову райком.
Был крутоват. А как иначе с нами?
Он на бюро нулевкой стриг меня... —
И молодо глаза блеснули — память
Его глазам добавила огня.
И продолжал, задумавшись на миг:
— Иван Иваныч — золотой мужик!
Да, да, мужик. Без крика. Без бахвальства.
Не помню, чтобы голос повышал.
А ведь и он от своего начальства
Не ордена, я знаю, получал.
А годы те... теперь и вспомнить страшно.
Наверно, вправду был железным он,
Коль из прорухи, из разрухи тяжкой
В такие годы вытащил район!.. —
И, наклонившись над столом: — Я, Вася,
Как разумею, так и говорю:
Когда б в моей такое было власти,
Я б памятник воздвиг секретарю!
На самом на крутом, высоком месте,
А может, на днепровском берегу,
Где насмерть он стоял с народом вместе,
Чтоб эту землю не отдать врагу.
А голодухи — после — лихолетье.
И спрос — с него. За все в ответе сам.
И если есть двужильные на свете,
Они — в райкомах. Это точно, там.
Пока годами «газики» мотают
Их по проселкам — это тоже факт! —
Они одни лишь блага получают:
Выговора да к старости — инфаркт.
Иван Иваныч тоже ведь с инфарктом
Свалился здесь... Но — был железным — встал...
«А я-то... я, — подумал виновато
Василий, — сколько лет уж не писал
Потапову. То было не до писем,
То с ног валился — не хватало сил!.. —
Но оборвал спасительные мысли. —
А ведь хорош... почти отца забыл.
А у него ведь тоже близких нету,
Хотя такую пережил беду!..
Вот выставлюсь... Потапова найду.
И сам приеду... Сам за ним приеду! —

И заключил: — Да он и стал отцом мне
С сиротской той, неласковой зимы...»
И тут, как бы очнувшись, он знакомый
Услышал голос: — Засиделись мы...
Заговорились. Да простит Петровна,
Что в скорбный день живые — о живом... —
И поднялся. И зашагал неровно
По половицам, дверь толкнув плечом.
Василий долго у окна стоял,
Оставшийся один как перст на свете...
И слышал он, как избу мокрый ветер
До косточки последней продувал.

Глава четвертая

Стало в доме отцовском пустынно.
Половицы тоскливо скрипят.
И в окошко горящей рябины
Одинокие гроздья глядят.
Все казалось ему незнакомым
В настороженной этой тиши.
Одиночество старого дома,
Словно в нем не осталось души.
Полумрак был таинствен и страшен.
Страшен гул проводов тишины.
И глядели Люсьена и Маши
Два портрета с пустынной стены.
Он увидел, как перед дорогой —
Аж душою почувствовал страх —
Баба Фекла стоит у порога
С неземною печалью в глазах.

Он во все, что мерещилось, верил.
И услышал, как вдруг за спиной
Кто-то хлопнул простуженной дверью —
И не гость, и не ветер ночной.
И его как пружиной тугою
Вдруг толкнуло к провалу сеней,
И во тьме он нащупал рукою
Молоток и десяток гвоздей.
Взял тесины и вышел за сени,
Крылья ставен сомкнула рука.
И сквозь сон услыхали соседи

Дробный, яростный стук молотка...
Он метнулся
Слепыми шагами
За крыльцо,
Повторяя: «Прости...»
Но изба становилась глазами
С непомерно большими зрачками,
От которых уже не уйти.
И казалось, что душу сквозь спину
Их карающий свет обжигал,
Когда, падая, в месиве глины
Он к железной дороге бежал...

Глава пятая

Он вспомнил все. И стало хорошо,
Так, словно важное он сделал что-то.
Он счастлив был — Потапова нашел.
Есть выставка — итог его работы.
Есть трудная, суровая судьба,
Прекрасная — и не нужна иная.
Есть — как завет! — родимая изба,
Земля — до малой тóлики — родная.
...Они прошли заросшим бережком.
И, расставаясь, говорил Потапов:
— Ну так до завтра! Загляну в райком,
Как говорят, в родимые пенаты.

Земля была за миг перед рассветом
(Лежал туман. Темнел прохладно лес)
Вся залита неуловимым светом,
Невидимым, струящимся с небес.
А у реки светлела шапка стога.
И к горизонту, в небо, в высоту
Бежала бесконечная дорога
В песчинках и росинках, как в поту...
Ей, отдохнувшей, хорошо бежалось
В примолкших колокольчиках земли.
И в Млечный Путь — Василию казалось —
Текли ее крутые колеи...
Дышал восходом голубой простор.
Василий ног не слышал под собою...
О, как они несли на косогор
С его родной, с его слепой избою!

Сама душа навстречу ей рвалась.
И поднимал свой легкий парус ветер...
Он вдруг услышал: — Здравствуй, дядя Вась!
— Здорово, Петр... — узнав его, ответил.
И продолжал: — В каком же мы году
Встречались-то? Не в семьдесят ли пятом?.. —
А Петр сверкнул, как солнцем, циферблатом:
— А я на смену, дядя Вась, иду.
Мы с Верочкой на тракторе одном,
Она сама меня уговорила... —
И зашагал, и скрылся за холмом.
А у него так сердце защемило,
Так заходило и оборвалось,
Как отроду ни разу не бывало...
И время вспять безудержно неслось,
И Маша из тумана выплывала.
Она бежала по цветам, ничья.
И перед ней распахивались дали.
И волосы льняные в два ручья
К цветам у ног по платьицу стекали.
И до того она была близка —
Улыбка — рядом и дыханье — рядом! —
Что поднялась сама собой рука,
Чтоб ощутить нечаянную радость
Касания лица ее и плеч —
Он помнил эти худенькие плечи...
Он знал одно: не будет с нею встреч,
Но знал и то, что вечны с нею встречи...

ЭПИЛОГ

Он у крыльца, остановившись, замер.
И пробежал по телу холодок:
Изба стояла,
Глядя на восток
Своими ослепленными глазами.
Он на нее, не двигаясь, смотрел,
Осмыслить сразу все, что видел, силясь:
На окнах тес — крест-накрест — потемнел,
Наличники резные покосились.
И потянулась размышлений нить,
Что надо, не откладывая, сделать:
«Венец бы нижний надо заменить...
И крыша, вижу, тоже прохудела...»

В нем просыпался — чувствовал! — мужик,
Мечтающий о песне и о хлебе...
И он присел.
И в этот самый миг
Над лесом солнца показался гребень.
И вот уже полшара вышло в синь,
И целый шар
Затрепетал короной,
Лучами осыпая мир зеленый,
Поднявшись с плеч
Березок и осин.
Брала тепло
Притихшая земля,
Готовая — стоял июнь — к покосу...
Он спохватился:
«Что же это я?!.» —
И снял замок и, как ненужный, бросил.
И, подходя к окну:
«Сейчас... сейчас...»,
Сорвал тесину, что упала хрястнув...
Вот так снимают
У больного с глаз
Ненужную и старую повязку.
И хлынули широкие лучи
В глаза избы,
Открытые для солнца.
Ему казалось,
Что изба смеется...
И он шептал:
— Как сердце-то стучит!.. —
Антенны пела тонкая струна,
Скворечник над березою качался.
Смеялась — в сетке трещинок — стена,
Конек и тот,
Венчая дом, смеялся.
И он уже сдержать себя не мог:
Что снова дома, веря и не веря,
Переступил
Отеческий порог
И в горницу открыл легонько двери...

Михаил
БУБЕННОВ

ЖИЗНЬ И СЛОВО

(О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ)

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Тихим вечером 21 июня 1941 года несколько русских писателей, живущих в Казани, встречались со своими читателями в одном из домов отдыха на Волге. Я рассказал о том, что начал писать большой сибирский роман, и прочитал из него отрывки. Мои друзья читали стихи. Вернулись мы в Казань поздней ночью. Мой ближайший друг поэт Бруно Зернит жил на далекой городской окраине, и поэтому я предложил ему скоротать остаток ночи в моей комнатушке, той осенью у меня умерла жена, я жил с десятилетним сынишкой и еще с трудом переносил одиночество. Почти до рассвета мы проговорили о встрече с читателями, о своей работе и своих тревогах: возвращаясь домой,

Окончание. Начало в № 5.

мы видели, как проходили один за другим воинские эшелоны на запад, к Москве. А утром мы узнали о вероломном нападении фашистских армий Гитлера на нашу землю.

Я был белобилетником: сначала мне давали отсрочки от призыва как учителю сельской школы, а позднее вообще сняли с воинского учета по болезни. В районном военкомате, куда я пробился, кажется, лишь через день, меня записали в особый список и приказали ждать. Но проходила неделя за неделей, а меня не вызывали; военкомат был занят отправкой в армию прежде всего тех, кто состоял на воинском учете. О том, чтобы попасть на фронт в качестве газетчика, я не смел мечтать, зная, что в Москве достаточно известных писателей, и только месяца через два меня вызвали в военкомат, признали годным к выполнению священного гражданского долга и вновь поставили на воинский учет.

В те дни, готовя к сохранению свои рукописи, я был убежден, что расстаюсь с ними скорее всего навсегда. Грустно было думать, что зря потратил много лет на подготовку к созданию большого сибирского романа. Но никакой писательский труд, если он затрачен на изучение жизни народа, его истории, на подготовку к творческой работе, даром не пропадает. Никогда! В результате такого сложного, многогранного, кропотливого труда писатель приучает себя мыслить широко, свободно, получает хороший опыт в овладении историческим и жизненным материалом, в отборе и организации его для своих нужд и, наконец, в разработке многоплановой художественной конструкции, в создании образов, несущих в себе идеи и правду времени. Этот практический литературный опыт так или иначе пригодится в дальнейшем, даже если писателю придется заняться совершенно новой темой. По себе знаю: труд, затраченный на сибирский роман, без всякого сомнения, во многом подготовил меня, как писателя, к созданию романа о Великой Отечественной войне.

II

Лишь в начале марта 1942 года, когда я еще раз наведался в военкомат, мне сказали:

— Сначала поедете в военное училище.

Через несколько дней я один с пакетом на руках отбыл в Воткинск, в Удмуртию, где в то время находилось в эвакуации 3-е Ленинградское пехотное училище.

В училище оказалось много кадровых бойцов Красной Армии, участвовавших в боях с гитлеровскими войсками в период нашего летнего отступления. Мне, как писателю, и здесь повезло.

Бывшие фронтовики всегда охотно делились своими воспоминаниями о недавних боях. Таким образом, к тем познаниям войны, какие я получил еще в Казани, бывая в госпиталях, многое добавилось в училище. Общение здесь с фронтовиками как нельзя лучше подготовило меня к войне нравственно, что и отозвалось в моей фронтовой и писательской судьбе.

Мы, курсанты, часто мечтали поскорее попасть на фронт, но когда вдруг во второй неделе мая узнали, что наша мечта сбывается, были несколько озадачены. Зачем нас, курсантов, спешно отправили рядовыми бойцами в 88-ю дивизию, которая формировалась недалеко от Москвы, да еще задолго до летней кампании? Нам казалось, что это было сделано нерасчетливо. Ведь в армии явно не хватало командного состава.

В дивизии проводилась напряженная боевая подготовка. В тверских болотистых лесах было еще сыро, а тут, как назло, частенько перепадали дожди. Однажды мы, минометчики, вели тренировочные стрельбы, и вдруг меня отзывает командир роты и приказывает немедленно отправиться в распоряжение комиссара полка.

Вся моя шинель и сапоги были в грязи. Я наскоро обтер шинель пучком прошлогодней травы, а сапоги обмыл в луже. Меня одолевали тревожные мысли. Что случилось? Почему вызывает комиссар полка? Для меня, в тогдашнем моем солдатском положении, это было очень и очень большое начальство.

Комиссар встретил меня приветливо. Я быстро догадался, что это человек не кадровой службы: он сразу же дал понять, что не требует от меня строжайшего соблюдения воинской субординации. Меня это удивило. Начинались какие-то чудеса. Расспросив о довоенных моих занятиях, комиссар сказал, что я назначаюсь историком полка, то есть должен буду описывать день за днем все его боевые действия, когда он примет участие в боях, все важные события, какие в нем произойдут за время войны.

— Только, знаете ли... — продолжал затем комиссар с некоторым смущением. — Вам надо сейчас же явиться к начальнику политотдела дивизии старшему батальонному комиссару товарищу Демину. Вероятно, он собирается назначить вас на какую-то другую должность, я так думаю. Так вы доложите ему, что назначены историком полка.

Старший батальонный комиссар А. Т. Демин был строгим и суховатым человеком. Лишь мельком взглянув на меня, спросил:

— Вы писатель?

— Так точно! Член Союза писателей.

— Документы имеете?

До войны я не успел получить членский билет: работник аппарата Союза писателей СССР, занимавшийся выдачей членских билетов, всегда, бывало, оправдывался: «Понимаете, не можем сделать, нет кожи!» Я смутился, но, крепясь, выдержал взгляд Демина.

— Будете служить в редакции дивизионной газеты, — бесстрастно объявил мне начальник политотдела, совершенно ошеломив меня своим доверием. — Явитесь к редактору...

— Товарищ старший батальонный комиссар, разрешите обратиться? Комиссар полка приказал мне доложить, что он назначил меня...

— Идите, идите, — нетерпеливо перебил меня Демин.

Редактором дивизионки был старший политрук Комаров, секретарем редакции — политрук Зверев, в прошлом оба сотрудники «Казахстанской правды». У нас сразу же нашелся, как говорится, общий язык и даже общие знакомые: они знали, например, поэта Павла Кузнецова, когда тот жил в Казахстане, а я работал вместе с ним в Татарии. Немудрено, что у нас быстро установились спокойные, доброжелательные отношения, не обремененные, как обычно у газетчиков, строгой воинской дисциплиной.

Основным костяком вновь формировавшейся 88-й стрелковой дивизии под командованием полковника А. Ф. Болотова стала одна из бригад, участвовавших в зимней наступательной кампании. Пополнение она получала хорошее, в большинстве курсантов из военных училищ или обстрелянных в боях под Москвой. Получила немало и нового вооружения — орудий, минометов, противотанковых ружей. Всех это очень радовало.

Занятия по военной подготовке проводились с учетом того большого опыта, какой был приобретен на войне. Отрабатывались действия всех подразделений не только в обороне, но и в наступлении. «Тяжело в ученье — легко в бою», — ободряли бойцов командиры.

В дивизионке, этой воистину солдатской газете, мы прежде всего старались показать, как преуспевают в ученье отдельные бойцы. Огромную роль в обучении и воспитании еще не обстрелянных людей, в поднятии их боевого духа играли, пожалуй, больше всего рядовые солдаты, побывавшие в боях. Они были отличными наставниками: молодые охотно прислушивались к их рассказам и поучениям. Поэтому мы старались рассказать о них в каждом номере нашей дивизионки. Мне пришлось беседовать с десятками таких людей — и сколько же потрясающе интересного услышал я о войне! Некоторые воспоминания фронтовиков могли стать — без всякого домысла — основой для художествен-

ных произведений. Но, к сожалению, такие воспоминания приходилось запрятывать в кладовой своей памяти.

За то время, пока дивизия готовилась к летней кампании, я основательно продвинулся в изучении военного дела. Ведь я обычно не со стороны наблюдал за занятиями, скажем, стрелкового отделения или взвода. С первых же дней службы в редакции я взял за правило, приходя на занятия, быть в солдатской цепи и делать все то, что приходилось делать солдатам. После этого я легко мог писать о действиях любого бойца, отделения или взвода. Если же приходилось писать о занятиях, проводимых в целом ротой или батальоном, тут я находился, конечно, рядом с командирами. Потом я всегда присутствовал на разборах учений, какие устраивались старшими командирами, и получал возможность узнавать оценки действий отдельных подразделений. Все это, вместе взятое, помогло мне приобрести в дивизии в дополнение к тем, какие имел, немало теоретических и практических военных знаний.

Всю зиму мы находились под огромным впечатлением нашей блестящей победы под Москвой в труднейших условиях морозной и снежной зимы. И все надеялись, что наступающее лето будет ознаменовано новой, еще более решающей победой нашей армии. Но уже в самом начале мая начались огорчения: наше наступление в Крыму окончилось полной неудачей. Наши войска оставили Керчь. Гитлеровцы усилили осаду Севастополя — все понимали, что его дни сочтены. Наконец будто громом ударило среди ясного неба — в середине мая произошла всем известная трагическая Харьковская катастрофа. В июне положение на фронтах продолжало ухудшаться — гитлеровские полчища рвались на юг, стремясь отрезать его от всей страны.

В середине июля появилось сообщение об итогах двухмесячных боев на советско-германском фронте. Сообщив об огромных потерях немецко-фашистских войск с 15 мая по 15 июля 1942 года, Совинформбюро отмечало, что «Красная Армия потеряла за этот же период сотни тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести...». Тут уж кровью облились наши души!

Сначала нашу дивизию отправили куда-то южнее Сухиничей. Перенеся несколько бомбежек после высадки из эшелонов, она вступила в бой, начавшийся там ранее, а затем вдруг была выведена из боя и отправлена обратно, в калининские места. Высадились мы на станции Княжьи Горы и скрытно достигли фронтовой полосы в районе Погорелого Городища.

Здесь перед выходом нашей дивизии на передовые позиции поступил известный приказ Верховного Главнокомандующего № 227. Батальон, в котором я оказался в тот день, был выстроен

среди леса. Как всегда, я попросил у комбата разрешения стать в строй — ведь я был солдат, а в строю особенно ощутимо сливаешься с родной солдатской массой, хорошо чувствуешь биение солдатских сердец.

Перед строем, замершим по команде «смирно», командир полка в необычайном напряжении, иногда даже срывая голос, начал читать суровые, горестные и правдивые слова о том, какое смертельно опасное положение создалось на фронтах войны. Трудно описать те чувства, какие охватили нас, солдат, стоявших тогда в строю. Я не помню ни одного случая в своей жизни, чтобы за несколько минут так предельно напряглось и ожелезнело все мое существо. Каждое слово приказа, отточенное до булатной остроты, вонзалось в сердце. В приказе откровенно (это особенно тронуло наши души!) сообщалось, что враг захватил огромные территории Советской страны с несметными богатствами и что настало время, когда мы не можем, не имеем права терять больше ни одной пяди своей земли. Превыше всего на свете, говорилось в приказе, теперь необходимо беспрекословное исполнение воинской дисциплины, сыновнего долга перед Родиной; в приказе требовалось принимать строжайшие меры против тех, кто нарушает свои святые обязанности и подвержен панике. Для всей нашей армии железным законом прозвучали громовые слова:

— Ни шагу назад!

Было лето, а меня знобило, как от мороза.

III

Отступая зимой, противник все же сумел образовать большой выступ в районе Ржева с плацдармом на северном берегу Волги; здесь укрепилось немало немецко-фашистских войск группы «Центр». Эта группа всегда — во всякое время — представляла большую опасность для Москвы.

Когда над Сталинградом начали быстро сгущаться тучи войны, наше Верховное Главнокомандование решило провести в районе Ржева «частные наступательные операции», чтобы лишить противника возможности в нужном количестве подбрасывать свои резервы на юг, а часть их ввиду очевидной нужды отправить и на ржевский участок фронта. Операции должны были проводиться двумя фронтами — Западным и Калининским. Для обеспечения намеченных операций оба фронта были усилены не только стрелковыми дивизиями, артиллерией и авиацией, но и танковыми и кавалерийскими корпусами, а также немалым количеством различных вспомогательных частей.

...Батальон, с которым я должен был пойти в первый свой бой, занял позиции по берегу речки Держи, уступленные нам 251-й стрелковой дивизией 20-й армии, которой предстояло нанести главный удар на Погорелое Городище. С этой 251-й стрелковой дивизией, дравшейся умело и храбро, наша 88-я дивизия 31-й армии, постоянно поддерживая локтевую связь, прошла весь путь августовского наступления — полсотни километров — от речки Держи до Вазузы, где их и встретили резервные танковые и пехотные дивизии противника.

Еще до выхода нашей дивизии на передний край начались сильные дожди. Правда, накануне солнце порадовало, но ведь все дороги уже были залиты, все низины превратились в болотины, а уровень воды в Держе так поднялся, что даже на ее бродах, как оказалось позднее, стало почти по грудь. Но, как говорил Лев Толстой, ничего уже нельзя было изменить — подготовка к наступлению, раз она началась, развивалась своим чередом...

Помню, под вечер, едва вытаскивая ноги из грязи, я добрался до передовой траншеи. С непривычки даже взмок: ведь на мне висели шинель в скатке, наган, каска, полевая сумка да еще, будь он неладен, огромный противогаз. Отыскал комбата, молодого человека с лихим казацким чубом, живого, настроенного весьма оптимистично. Для своего НП он занял позади главной траншеи (на одну-то ночь!) маленькую земляночку, в которой прежде обитал какой-нибудь командир взвода, стоявшего здесь в обороне. В земляночке, под настилом из тонких жердинок, легко гнущихся от каждого шага, хлюпала вода. (В калининских и смоленских местах можно подняться на довольно высокий холм — и утонуть в болоте.) Мельком оглядев НП, я сразу же догадался, что мне здесь нет места для ночлега: вместе с комбатом, как и положено, находились его ординарец, связист, связные рот.

Комбат сконфуженно и огорченно поморщился, когда я покидал его случайное убежище, и проговорил неопределенно:

— Приходи...

Ночевать нужно было где-нибудь поблизости, чтобы не отрываться от комбата. Но в траншеях везде была вода; солдаты кое-где вычерпывали ее касками и выливали за бруствер, реденько поросший за лето травкой. Но главное — здесь всюду плавали живые и дохлые мыши; в то лето их появилось неисчислимое множество! («К беде», — украдкой поговаривали солдаты.) Как-то в детстве меня укусила за палец полевая мышь, мы, деревенские мальчишки, безжалостно уничтожали их чем попало, когда домолачивался последний, лежащий на земле ряд

перезимовавшего в скирдах хлеба. С той поры я не желал иметь никаких отношений с этой мерзкой тварью. Я вылез из главной траншеи и остановился недалеко от нее под развесистой березкой. Опять начинался дождь. К счастью, рядом оказалась небольшая вороночка от снаряда или мины; она могла пригодиться на всякий случай: по солдатскому поверью, о котором я уже был наслышан, любая воронка — самое надежное для укрытия место. Здесь я необременительно подкрепился «сухим пайком» (точнее — пожевал ржаной сухарь) и решил написать письмецо сынишке. Писал я химическим карандашом, и все мои ласковые слова тут же размазывались от дождинок, будто от слез. И мне подумалось: да стоит ли посылать такое письмо? Я спрятал его в полевой сумке.

Противник вел себя спокойно. Правда, на вечерней заре, как у него было заведено, произвел артналет на наши позиции. Недалеко от НП комбата несколько наших солдат было убито и ранено: не захотели забиваться в траншеи, собрались на сухом месте в кружок поужинать и побеседовать перед боем...

Вообще надо отметить, что противнику, как это ни удивительно, ничего не было известно о сосредоточении наших войск на Западном фронте. Не обнаружил противник и выдвижение наших войск на исходное положение для наступления, а ведь двигались-то, да еще большей частью в темноте, тысячи людей! Молодцы наши солдаты!

В районе Погорелого Городища против наших частей стояла 161-я пехотная дивизия противника. Для нее наше наступление явилось полнейшей неожиданностью.

Все как будто начиналось хорошо.

Особенный восторг, поразительно смешанный с некоторой естественной оторопью, вызвала у нас артиллерийская подготовка, которая началась 4 августа в 6 часов 15 минут утра. На каждом километре, предназначенном для прорыва, работало по 120 стволов! И работали они полтора часа! Огненный шквал обрушивался то на передний край противника, то на его артиллерийские и минометные позиции, то гудел в глубине его обороны, то снова рвал и разметывал все, что было на его переднем крае. Вдобавок нанесла удары наша авиация, а перед самой атакой прогремели и дивизионы «катюш». Весь запад был в дыму и огне!

Я не знаю точно, какой урон обороне противника нанесли наши артиллерийские и авиационные удары. Но я знаю, какое огромное впечатление произвела артподготовка, так долго сотрясавшая землю в полосе немецкой обороны, задымившая весь западный небосвод, на наших солдат. Она радостно сотрясла и

наши души. За полтора часа, как никогда, мы убедились, что огневая мощь нашей армии за последнее время, несомненно, неизмеримо выросла и стала страшной разрушительной силой. Эта мысль как нельзя лучше воодушевила и подготовила наших солдат к атаке.

И все же, оказывается, какие-то немецкие батареи чудом выживали в огненном аду! Разрывов немецких снарядов не было слышно, но люди-то падали замертво!

На полпути к немецкой траншее я увидел убитого немца, вероятно, он находился в боевом охранении и не успел спастись, когда началась артподготовка. Это был первый мертвый немец, какого я увидел на войне! Он мне запомнился надолго, тем более что весь — на удивление — был черным. До самой немецкой траншеи, поспешая за солдатами, я без конца гадал: «Да отчего он такой?» И не утерпел, спросил одного солдата.

— Все почернеют, — бросил мне солдат, торопясь вперед.

Первая немецкая траншея и ходы сообщения за нею были сильно разворочены. Мы заскочили на всякий случай в один уцелевший немецкий блиндаж. Уютно жили немцы на передовой! На столике — разная еда и опрокинутые бутылки; по сторонам — кровати, на которых подушки и даже перины из наших разграбленных деревень. Пошли дальше. Убитых на немецкой передовой, как мне показалось, встречалось все же мало. Может быть, так было только на моем пути? Или мне хотелось видеть все поле боя, сплошь усеянное вражескими трупами?

— Тоже научились драпать, — пояснил мне бывалый солдат.

...Выполняя приказ редактора, я пробыл в передовых частях всего два дня и сделал много записей. Но писать даже небольшие заметки в боевых условиях не имел никакой возможности, надо было, следовательно, возвращаться в редакцию. Мне пришлось уйти с передовой, к сожалению, всего за несколько часов до форсирования Вазузы. Лишь позднее увидел я эту красивейшую русскую речку с ее прекрасными лесами по берегам, с ее прозрачнейшей, прямо-таки байкальской водой, которую пьют теперь москвичи, и сразу же сказал себе, что опишу ее в своей книге о войне.

За полной ненадобностью я отдал кому-то на передовой надоевший мне наган, а вернулся в редакцию с трофейным оружием: на груди у меня болтался немецкий автомат, на одном плече я нес ручной пулемет, на другом — полный вещмешок пулеметных лент. Редакционную машину я отыскал на окраине деревушки Коськово. Два дня «отписывался», вороша свой блокнот.

Деревушку часто бомбили. Ночевать пришлось за сотню метров от нее, в щели, вырытой в чистом поле.

Очень многое из увиденного и пережитого в первые дни нашего наступления, пройдя сквозь мое сознание, отложилось особым многослойным пластом в моей душе. Постоянное общение с солдатами, да еще в боях, в походе, за короткое время помогло мне многое понять в солдатской психологии. Я разговаривал и с пожилыми людьми, побывавшими еще на первой мировой, а затем и на гражданской; разговаривал и с молодыми, какие впервые вместе со мной нюхали порох. Из всех этих разговоров, зачастую случайных, скоротечных, я всегда выносил твердое убеждение, что простой советский человек — это воистину великий человек, способный на любой подвиг. И что именно он, рядовой солдат, тем более солдат пехоты, способный выносить любые лишения, и есть подлинный, главный герой войны. Это мое убеждение, появившееся у меня в огневом августе сорок второго, впоследствии и стало той основой, на которой выросла «Белая береза».

IV

Дней десять наша дивизия вела трудные бои в междуречье Вазузы и Осуги. Мы писали в газете: «Ударим на Осуге, чтобы откликнулось на юге». Наконец с большим трудом была форсирована и Осуга.

На другой день я отправился на плацдарм за этой речкой. На другом берегу Осуги, под обрывом, в так называемой «мертвой зоне» разместилась санрота. Здесь было много раненых, ожидавших отправки в тыл, — она была возможна лишь с наступлением темноты. А некоторые из раненых доживали последние часы и минуты. Трудно было смотреть на безжизненно распростертые солдатские тела!

Здесь же, у Осуги, я встретил одного инструктора политотдела дивизии. Мы вместе стали подниматься к деревушке, которая стояла недалеко от берега, — на ее западной окраине зарылись в землю подразделения 611-го полка. По пути мы увидели земляночку, около которой сидели старики и женщины. Из земляночки выглядывали дети. Это было кстати: в газете часто давались материалы о зверствах немцев в оккупированных деревнях. Мы присели около убежища местных жителей. Торопливо, сбивчиво, все еще, должно быть, не веря в свершившееся чудо освобождения, они рассказали нам о своей горемычной жизни под вражеским игом, о жестокостях и бесчинствах наглых завоевателей. Нашелся у них в деревне, оказывается, все же один

предатель. Колхозники с отвращением рассказали о его подлом пособничестве гитлеровцам, а затем сообщили, что ему не удалось убежать — вчера он был пойман и по просьбе сельчан немедленно расстрелян. (Так я нашел Чернявкина для своей «Белой березы».)

Неожиданно началась очередная танковая атака противника. Все старики и женщины бросились в свое ненадежное убежище; в его глубине послышались детские вскрики и плач. Открытый вход в земляночку, вернее лаз, был обращен на запад. Мы, военные, примостились снаружи у того лаза и могли наблюдать за ходом боя, особенно у окраины деревни. Немецкие танки уже врывались в деревню или, минуя ее, пытались пробиться к Осуге. Но наши артиллеристы, стоявшие вдоль берега, били их прямой наводкой — и они отходили назад, скрываясь за склоном. Да и пехота наша не дрогнула, не покинула свой рубеж.

Под вечер, побывав в соседнем полку, инструктор политотдела и я отправились на КП дивизии. На переднем крае установилась полная тишина. В темноте мы перебрались через Осугу и вскоре оказались в небольшой и совершенно пустой деревеньке. В ней почему-то не было никаких наших войск, что меня очень поразило, не было и жителей, которые, конечно, еще боялись возвращаться домой из лесной глухомани. Мы шли осторожно, прижимаясь к оградам, держа наготове автоматы: здесь легко было напороться на немцев, отставших от своих частей и бродивших по лесам. У избы с выбитыми рамами я остановился, чтобы получше оглядеться, и вдруг отчетливо услышал тиканье знаменитых ходиков, какие раньше часто встречались в деревнях. Идущий следом инструктор политотдела, поравнявшись со мной, спросил удивленно:

— Ты что?

— Послушай-ка! Изба пуста, а в ней часы тикают.

— Ну и что? Пусть тикают. Пошли!

— Да погоди ты! Послушай!

Отправляясь дальше, я уже знал, что когда-нибудь напишу о тикающих часах в пустой избе. И не только, конечно, о них, но и еще о чем-то... (И я написал эту сцену еще осенью, позднее она оказалась небольшой главкой в «Белой березе».)

V

...Ржев так и не был освобожден в то лето.

23 августа 1942 года войска нашей 31-й армии во взаимодействии с войсками Калининского фронта полностью очистили от полчищ противника город Зубцов. На этом и закончилось наше

августовское наступление. Начиналась осенняя распутица. Надо было готовиться к длительной обороне.

Наша дивизия прочно закрепилась за Осугой.

С той поры мое положение как военного газетчика значительно облегчилось. Каждый полк и батальон получили на переднем крае определенные участки; к ним быстро протоптались тропки из «тыла». Ходить на передовую стало безопаснее: было известно, где можно пройти, совершенно не таясь, где стоило поостеречься. Немцы делали артналеты обычно в определенное время и по определенным целям — по нашим батареям, наблюдательным пунктам, штабам, дорогам. (Впрочем, по самой главной передовой траншее ходить приходилось с определенной осторожностью: чуть забылся, приподнял голову — можешь и не успеть попрощаться с белым светом. У немцев тоже были неплохие снайперы, а траншеи-то кое-где сходились одна с другой очень близко.) И нужных людей искать на переднем крае стало гораздо легче, тем более что я знал уже многих в каждом батальоне. За один выход на передний край теперь я собирал довольно много разного материала — и для заметок, и для статей. Поэтому в редакции я мог задерживаться не только на один, но иногда и на два дня. И редактор все чаще стал требовать от меня, кроме всего прочего, небольшие очерки и рассказы.

Наша редакционная машина стояла под деревом близ села Кашелево. В нескольких шагах от нее я устроил себе «кабинет». Это была обыкновенная щель в земле, какие делались для укрытия при бомбежках, но с двумя уступами: один служил мне рабочим столом, другой, пониже, креслом. Этот писательский «кабинет» был у меня первым в жизни. В нем были написаны несколько газетных рассказиков и некоторые сцены для «Белой березы».

Над всей прифронтовой полосой часто проносились «мессершмитты», иногда давая по какой-либо цели пулеметные очереди. Они мешали работать. Мне это не нравилось. Я установил у своего «кабинета» когда-то благоприобретенный трофейный немецкий ручной пулемет. В те времена часто сообщалось в газетах о том, что наши стрелки из трехлинейных винтовок образца прошлого века то и дело сбивают немецкие самолеты. По своей наивности я подумал тогда: а чем черт не шутит? Может быть, между делом-то и я сшибу какого-нибудь стервятника? Пишу, бывало, заметки — и вдруг ухо ловит знакомый звук в небе. Ага, стоп! Немедленно откладываю в сторону перо, хватаюсь за пулемет, и если немецкий истребитель проносился вблизи и довольно низко над землей — открываю огонь. Сейчас сам смеюсь над собой, а тогда, следя за светящимся следом трассирующих

пуль, совершенно серьезно думал, что вот-вот попаду в самолет! Непременно попаду! Но, вероятно, самолеты сбивали из стрелкового оружия чаще всего не солдаты, а газетчики, обожающие сенсации. Удивляюсь я еще тому, как редактор позволил мне устроить «огневую точку» в десяти шагах от редакционной машины. Ведь ее могли заметить с самолета — и тогда не миновать было беды. Но, вероятно, и редактор верил в мой боевой успех!

Сдав с утра заметки и статейки для газеты, я обычно до той минуты, пока не раздавался зов нашего шофера и повара, оставался в своем «кабинете». Если не летали немецкие истребители, не приходилось браться за пулемет, я мог спокойно обдумывать свои наблюдения, вспоминать интересные боевые эпизоды, делать заметки на память, выстраивать всевозможные конструкции своей будущей книги. У молодого писателя с небольшим военным опытом не могла, конечно, в одночасье зародиться книга, которая позднее появилась на свет под названием «Белая береза». Но ее таинственное зачатие, если так можно выразиться, произошло именно в те дни. Я скрывал это от своих товарищей, словно боясь сглаза, как скрывают обычно зачатие ребенка молодые женщины не только от чужих людей, а нередко от своих мужей. Да и побаивался кривых усмешек и дружеской иронии, так распространенных в редакциях. Ишь ты, книгу задумал о войне! Да не смешно ли? Войне-то еще не видно конца...

Да, конечно, это случилось со мной несколько преждевременно. Мне надо было повоевать еще хотя бы с годок, поднакопить побольше впечатлений, наконец, дождаться, когда они полностью перебродят — и в душе заиграет игристое вино творчества. Но мой мозг не подчинялся моей воле: не только днем, но даже и ночью, во время сна, в нем шла напряженная, не поддающаяся описанию мыслительная работа. Мне кажется, даже люди, специально занимающиеся изучением психологии творчества, не смогут объяснить, когда и отчего у писателя происходит зарождение каких-то творческих идей. На этот счет есть лишь разные наукообразные догадки и досужие выдумки. А на самом деле таинственный процесс появления творческого замысла совершенно необъясним. Это чудо, о котором можно сказать лишь только то, что оно — чудо. Даже у одного писателя каждое новое произведение имеет свои неповторимые изначальные истоки.

Я захотел написать книгу о войне — и это оказалось для меня превыше всего. Я мечтал о ней, как мечтают о долгожданной встрече с любимой. Могу подозревать, что мою преждевременную затею можно объяснить лишь огромнейшей тоской о главной для

меня работе, мучительно прерванной войной. А мне шел тогда тридцать третий год — и для меня даже недолгая разлука с нею была совершенно невыносимой, равносильной угасанию особого огня в душе.

Вот почему мне хотелось писать и писать!

Какой же представлялась мне моя будущая книга?

Хотя я и недолго был на войне, но успел глубоко осознать и почувствовать всей душой, что она грозит полной гибелью для всего нашего народа. Если бы эта мысль не волновала меня тогда с потрясающей суровостью — не мог бы у меня появиться и замысел «Белой березы».

Прежде всего и больше всего меня интересовали те нравственные возможности нашего народа, без каких невозможно отразить варварское нашествие. Неисчерпаемы ли они? Есть ли у них предел? И тут мне на помощь пришли мои друзья-солдаты. Всем своим поведением в боях, своим оптимизмом, не поддающимся воздействию не только невзгод и несчастий, но даже самой смерти, своей преданностью родной земле и легендарной отвагой они убедили меня навсегда, что их чудодейственная сила неиссякаема и необорима, что равной ей нет в мире.

Мне и прежде было многое известно об основных чертах русского национального характера. Теперь же я своими глазами увидел, какими изумительными гранями вспыхнул и засверкал русский характер с первых дней войны. А рядом заиграли редкостной красотой характеры людей других национальностей, живущих с русскими единой семьей, таких, как комбат Шаракшанэ или, например, командир 611-го полка майор Мамедов, шесть раз проливший свою кровь на полях боев, замечательный снайпер Гарыня — его меткие пули сразили не один десяток гитлеровцев, искавших себе особое пространство на нашей земле...

К героям войны любой национальности я относился с одинаковым уважением, что легко заметить по «Белой березе». И все же, как ни говори, а мне, русскому писателю, ближе, роднее, понятнее был прежде всего русский солдат. Да ведь и любой человек, способный рассуждать объективно, без заминки скажет, что именно он, русский солдат, в среде своих товарищей по оружию разных национальностей являлся как бы старшим другом.

Вполне понятно, что осенью сорок второго года я не мог задумывать крупномасштабное, многоплановое полотно, какие в нынешнее время создаются в большом изобилии. Я познавал войну в действиях всего лишь одной дивизии и на небольшом участке фронта. Собираясь написать большую книгу о войне, я всегда считал, что она должна быть создана только на строго локаль-

ном материале. Я мог описывать одного солдата, отделение, взвод, роту, батальон и, наконец, полк — только и всего; вся дивизия могла быть лишь неким фоном в книге. Но я хотел, чтобы в этом предельно локальном описании как в капле воды отразилась вся война или, вернее, мое тогдашнее представление о ней.

Еще до войны у меня сложились определенные, твердые взгляды на то, каким должен быть главный герой моих произведений. Я всегда старался показывать его только крупным планом. Мне всегда хотелось, чтобы в его характере отражалось все лучшее, что есть в русском национальном характере. С малых лет воспитанный отцом-безбожником, я не любил никаких святых и потому не любил святых в литературе, не мог замалчивать отдельных слабостей нашего нового человека, никогда не забывая при этом, что даже его слабости могут быть продолжением его достоинств, особенно при благоприятном развитии его личности. И уж, конечно, хорошо видел, что в нашей среде еще немало людишек, всем своим поведением оскверняющих советское общество.

Кого же я избрал героем своей книги?

Я его не избирал — он сам возник, сам явился перед моим мысленным взором. Я знавал многих солдат, каждый из которых по всем статьям годился на роль главного героя книги. (Как и многим писателям, мне хотелось иметь его прототип.) Но, к сожалению, они довольно быстро исчезали из поля моего зрения: одни погибали в боях, другие, получив ранения, отправлялись на излечение. Я не успевал узнать их ближе и глубже, чтобы с наибольшей достоверностью описать в своей книге. Находясь в затруднении, я как-то случайно вспомнил своего двоюродного брата Андрея, родившегося в Сибири, в семье нижегородского переселенца. Это был крупный, истинно русский парень добрейшего, стеснительного нрава, обладавший большой силой, необычайным трудолюбием и огромной любовью к своей семье, к родной земле. «Все!» — сказал я себе и немедленно приказал двоюродному брату надеть солдатскую шинель и взять в руки винтовку. Он стал героем моей книги. И мне стало необычайно легко описывать его — он всегда стоял перед моими глазами, его не брала ни одна пуля, ни один осколок.

Вслед за Андреем Лопуховым в моем воображении быстро стали появляться другие солдаты, роль которых в книге представлялась менее значительной. Быстро создалось стрелковое отделение. Потом стали появляться и командиры: одни под собственными именами, другие — под вымышленными (скажем, Озеров и Юргин), хотя, по существу, тоже почти полностью

списывались с натуры. Впрочем, не смею утверждать, что мои описания их характеров и даже внешности получились совершенно точными. Да велик ли тут мой грех? Вполне возможно, что к их индивидуальным чертам — помимо моей воли — прибавились, по таинственным законам творчества, черты других людей, их товарищей по оружию. Но так ведь и должно быть.

Легко догадаться, что все мои герои начинали действовать в тех местах, где вела боевые действия наша дивизия, словом, с речки Держи. Я был настолько взволнован событиями, участником которых мне пришлось быть, что еще не мог подняться над ними — не хватало силенок для взлета. Я выступал скорее как летописец, а не как писатель, который должен быть на голову выше летописца. Можно сказать, у меня при начальных попытках получался не роман, а что-то вроде олитературенного журнала боевых действий дивизии. Скажу совершенно серьезно, что излишек впечатлений, которые еще не успели перебродить и отстояться, могут иной раз, как это ни странно, помешать писательскому воображению. И в наблюдениях должна быть особая мера.

Так шла разработка первого варианта «Белой березы».

Но в начале октября пришлось отложить свои заметки, планы и сцены. Частые ночевки на сырой, холодной земле не прошли даром. Я стал прихварывать. Меня часто знобило. Поднималась температура. Денек-другой я даже валялся в блиндаже, но молодость в конце концов победила, и я опять, превозмогая слабость, отправился на передовую. Дело прошлое, но подозреваю, что уже той осенью у меня началась, пока еще в начальной форме, болезнь, которая почти свалила меня с ног в конце войны.

С наступлением зимы писать стало совсем трудно. Еще при зазимках мы вырыли малюсенькую (шесть квадратных метров) землянку, покрыв ее тонкими бревешками в один накат, а поверх их уложили слой дерна, несколько утеплив и одновременно замаскировав свое жилище. Но в редакции окончательно прижился прикомандированный к ней ранее еще один сотрудник, мой коллега из Одессы. Для четырех землянка оказалась очень тесной. На земляных нарах мы аккуратно расстелили один сноп чудом раздобытой ржаной соломы. За несколько первых дней, пока земля еще была сыроватой, каждый из нас своим телом вдавил в нее по полсотни соломинок, доставшихся на его долю, и наши нары покрылись вроде бы реденькой соломенной сетью. Со временем поверхность нар высохла настолько, что стала каменной твердью, разрисованной прожилками из соломы. Свое солдатское ложе мы покрывали плащ-палатками, а в изголовья

укладывали вещмешки и полевые сумки. Укрывались меховыми телогрейками и шинелями.

У дальней стены землянки, едва не доставая ногами печурки, спал редактор; рядом с ним — секретарь редакции, потом — мой коллега из Одессы, а мне, как самому младшему по званию, досталось место у входной двери. Ночью на мои длинные ноги, с которых не снимались валенки, сквозь дыры в двери наметало слой снега. Однако жить можно было. На войне люди жили и похуже.

Но навалилась беда, о какой мы и не могли подозревать: наша печурка, хотя и была маленькой, хорошо прогрела накат и дерн. Это привлекло к нашей теплой «крыше» лягушек и мышей. Ночью, когда у нас угасала коптилка, они в наступившей тишине начинали проявлять активность, должно быть, выискивая более удобные места, и часто, особенно когда бил вражеский бронепоезд и близкими взрывами встряхивало землю, проваливались в щели наката. Каждую ночь кто-нибудь из нас вдруг начинал ошалело орать и метаться, как бешеный. Все вскакивали, поднимался всеобщий гвалт, начинались поиски и поимка зловредного существа, нарушившего наш покой.

Была еще одна беда. Я и мой коллега одессит, как всегда, продолжали регулярно ходить на передовую, и чаще всего с ночевкой. Ночевать приходилось обычно в солдатских блиндажах. Возвращаясь в редакцию, мы уже не знали покоя: среди ночи непременно просыпались, обнажались догола и при тусклом свете коптилки начинали беспощадно уничтожать наших самых злейших — после гитлеровцев — врагов на войне. Утром редактор пригонял из санбата машину с дезокамерой. Но ведь мы тут же вновь отправлялись на передовую. И все повторялось сначала.

И все же, как ни трудно было, я писал и зимой. Бывало, разгуляешься среди ночи, и вдруг потянет к полевой сумке. Устроив на коленях фанерную дощечку, начинаешь вчитываться в свои заметки, набрасывать какие-нибудь сценки. От своих товарищей по редакции я уже не скрывал, что мечтаю написать книгу о войне. Более того, иногда даже читал им некоторые сцены.

Со временем о моей дерзкой затее стало известно и другим людям нашей дивизии. После того как появилась «Белая береза», бывший комиссар 611-го полка А. Иванов написал мне такое письмецо: «Теперь вспоминаю частые наши беседы, когда ты обещал, что если будешь жив, то напишешь книгу о наших делах. Спасибо, свое слово ты сдержал...» А вот что недавно написал мне бывший солдат А. Захаров (ст. Инза-2 Ульяновской области), раненный во время августовских боев под Ржевом. «В то

время, — пишет Захаров о начале зимы 1942 года, — Вы проживали в одном блиндаже, где и я. Вы меня, возможно, не помните, а я Вас, Михаил Семенович, помню хорошо. Интересно читали поэму Твардовского «Василий Теркин». Мы все очень смеялись, где рассказывалось о «сабантуях». Вы очень много писали в блокнотах. Я поинтересовался, что пишете. Вы ответили: «Роман». Как я понял впоследствии, это и была Ваша замечательная книга «Белая береза».

Таким образом, согласно воспоминаниям однополчан, я писал свою книгу не только в редакционной землянке, но иногда и на передовой, если выдавались свободные минуты.

VI

Наша оборона называлась активной. Что это значило? А то, что хотя и не велось больших боев, а разных малых не счесть было: то бесконечные поиски с целью захвата «языка», с разными отвлекающими налетами, то разведки боем, то попытки улучшить на некоторых участках фронта наши позиции. Кроме того, с обеих сторон постоянно велись короткие, но ожесточенные артналеты по штабам, артиллерийским позициям, наблюдательным пунктам, ближним складам. Неутомимо действовали и десятки хитрейших снайперов — смотри, не зевай!

Но нам, конечно, хотелось настоящей войны, какая началась под Сталинградом! Оттуда без конца шли сообщения — одно другого радостнее. Было ясно, что немецкие полчища потерпели на юге огромнейшее поражение. Наши войска уничтожали в южных степях десятки тысяч гитлеровцев, а мы, находясь за Осугой, иногда за неделю не могли достать и одного «языка». Ну не обидно ли было? И все же у всех постепенно стала появляться надежда, что теперь-то, может быть, произойдут большие перемены и на нашем фронте.

26 ноября 1942 года редактор Комаров, как всегда, со спокойным видом отправляя меня на передовую, почему-то сказал:

— Только не горячись!

Всю дорогу в назначенный мне полк я думал: «Зачем он это сказал?» И только когда уже подходил к КП полка, от солдат, которым всегда все было известно, узнал, что идет подготовка к большому бою. В сумерках и при полном затишье на передовой я явился к командиру одной из рот — его блиндаж был всего в полусотне метров от первой траншеи.

Вскоре разыгралась метель. Но подготовка к бою шла полным ходом. Даже мне пришлось по мере сил включиться в нее: бе-

седовать с солдатами о боевой задаче, проверять оружие. Бой начался не на рассвете, как обычно, а задолго до рассвета. Вероятно, это было сделано с целью обмана противника: пусть думает, что началась обычная разведка боем, только и всего...

Бой продолжался... трое суток! Когда я выбрался с передовой, меня кто-то подвез на санях до Кашелева. Но в каком виде я явился в редакцию! Меня узнать-то, вероятно, было трудно: в измазанном глиной маскхалате, обросший, исхудавший, почерневший, как бродяга! Ничего не говоря, я свалился в нашей землянке и проспал очень-очень долго: ведь за трое суток мне не пришлось даже сомкнуть глаз! А когда очнулся, попытался вспомнить о прошедшем бое — и ничего как следует не мог вспомнить! В голове перемешались сотни сцен, и получилась какая-то невообразимая каша из наблюдений. И в блокнотах не оказалось ни одной записи! Ни одной!

Но тут мне сунули в руки свежий номер нашей газеты. На ее первой полосе жирным шрифтом было напечатано специальное вечернее сообщение под таким заголовком: «Новый удар по противнику. Началось наступление наших войск на Центральном фронте». Я поразился:

— На Центральном? Это... где же?

— Да на нашем же и Калининском, — ответили мне. — Читай.

В сообщении указывалось, что на днях (о, эти дни я запомнил навсегда!) наши войска перешли в наступление в районе восточнее города Великие Луки и в районе западнее города Ржева, где фронт противника прорван в трех местах.

Мне вздохнулось:

— А мы так и не прорвали...

— Читай, читай!

Оказывается, там, где немецкий фронт был прорван, наши войска продвинулись вперед от 12 до 30 километров, перерезав наконец-то железную дорогу Вязьма — Ржев.

Вслед за первым появились еще два специальных, обнадеживающих сообщения Совинформбюро о наступательных боях на Центральном фронте. Однако в заметках, следующих за главными сообщениями, все чаще и чаще стало отмечаться, что наступление ведется лишь на ряде участков фронта, что наши войска закрепляются на занятых рубежах, укрепляют свои позиции и отражают беспрерывные атаки противника. Почти совсем исчезли сообщения о занятии населенных пунктов, а говорилось лишь о количестве разбитых дзотов и подавлении вражеских батарей. Для нас, людей военных, стало ясно, что наше

зимнее наступление уже иссякло: ржевский выступ, весьма опасный для Москвы, вновь оказался крепким орешком.

Горько говорить о наших военных неудачах, горько вспоминать о них, но и замалчивать их или упоминать о них лишь мимоходом, как это делается в иных мемуарах, тоже не дело. Война есть война. Она не бывает без неудач. К тому же эти неудачи учат воевать не меньше, чем хорошие победы, а это должно цениться полной мерой. И еще надо помнить, что потери человеческих жизней одинаково трагичны в любой военной ситуации и каждый, где бы он ни погиб (при победе или поражении), где бы ни проявил свое геройство или пролил свою кровь — герой одной благородной породы, одного высокого накала, святой любви к Родине. И все они — и побеждавшие, и терпевшие неудачи на войне, — все должны вознаграждаться в одинаковой мере, им должны оказываться одинаковые почести. А у нас как бывало? Где успех — там награждали многих, а где случалась оплошность — там и доброго слова порой никому не говорили, хотя здесь, бывало, проявлялось наибольшее геройство.

...Наша дивизия так и осталась на прежних позициях.

После того как закончились бои, я обратился к редактору с неожиданной просьбой:

— Товарищ капитан, разрешите поохотиться?

— Что-о? — не понял Комаров.

— Ну, походить с часок по полям и хотя бы посмотреть на заячьи следы, — пояснил я смущенно. — Истосковался.

— Иди, иди, — все поняв, разрешил Комаров.

Я надел свой загодя выстиранный маскхалат, поставил автомат на одиночный выстрел и отправился в поле — на юг от Кашелева. Как трепетало в те минуты мое охотничье сердце! Все забылось! Все отлетело прочь! Это были минуты разрядки, первого отдыха на войне. Но мое наслаждение любимой с детства охотой, к сожалению, продолжалось недолго. Перешел я маленький ложок, заросший кустарничком, стал подниматься в заснеженное поле, зорко осматривая все места, где могли скрываться зверушки, и вдруг вижу — на самой меже, среди невысокого бурьяна, дремлет после ночного мышкования лиса. Услышав скрип снега, она быстро открыла глаза — и последний раз взглянула на белый свет. Выстрел был мгновенен и точен. Лиса завертелась на меже, но пока я, не торопясь, приближался к ней — испустила дух. Она оказалась на редкость огромной. Ее пушистый хвост почти начисто заметал мой след в поле.

Ну и разговоров же было в редакции и веселья! Все на некоторое время забыли и о войне...

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Незадолго до нового, 1943 года редактор Комаров предложил мне написать новогодний рассказ — традиционный по форме, но, конечно, на материале войны. В то время, несомненно, серьезные нервные потрясения вызвал у гитлеровцев провал их планов под Сталинградом и на юге. Да и на нашем фронте они не могли быть спокойными, хотя и удерживали свои позиции. Это и натолкнуло меня на мысль использовать для рассказа один забавный случай, происшедший на участке нашей дивизии.

В рассказе «Русак» я описал, как немецкие офицеры собрались на передовой линии встречать Новый год. Все шло как положено. Но едва офицеры, поглядывая на часы, подняли бокалы, перед первой траншеей загремели оглушительные взрывы. Немецким офицерам показалось, что русские, не считаясь с торжественной минутой, опять начали наступательный бой. Не разобравшись, в чем дело, они бежали с передовой линии, а за ними и солдаты.

В действительности же случилась самая обыкновенная история. На минное поле перед немецкой траншеей, где с определенным умыслом были разбросаны осиновые ветки, соединенные проводами, выбежал заяц-русак. Он начал лакомиться молодым осинником — и взорвал минное поле.

Этот непритязательный рассказ, однако, был замечен в отделе печати политуправления Западного фронта. Оттуда вскоре я получил письмо. В начале февраля меня собирались вызвать в политуправление и обещали создать необходимые условия для творческой работы. Меня это здорово обрадовало: я, признаться, мечтал получить хотя бы небольшой творческий отпуск для создания книги.

Еще из дивизии — 18 марта 1943 года — я писал брату Фаддею: «Сегодня исполнился год, как я в армии. Трудно сейчас судить, какое место займет он в моей жизни. Может быть, именно он даст мне наибольшее количество жизненного материала и впечатлений, необходимых в моей любимой работе, и за это я впоследствии буду ценить его. Может быть».

Именно так и вышло...

Но я еще не знал, что почти все те листки, какие я зачастую с удовольствием перечитывал тогда под березами, осенью мною будут уничтожены. И военная книга будет начата заново.

II

Через неделю я получил назначение во вновь создаваемую 10-ю гвардейскую армию — на должность писателя армейской газеты «Боевое знамя».

История 10-й гвардейской армии описана в книге П. К. Алтухова, А. Н. Грылева, А. А. Малиновского и др. «Незабываемые дороги» (Воениздат, 1974). Для тех читателей, которым эта книга незнакома и, может быть, останется незнакомой, я все же постепенно расскажу, хотя и коротко, о ее боевом пути. Ведь ее путь — и мой путь, без которого мною не могла быть создана книга о войне.

В конце июля 1943 года после напряженной боевой подготовки к наступательным боям наша армия, совершая ночные марши со строжайшим соблюдением правил маскировки, вышла в исходные районы северо-западнее Спас-Деменска, а затем и в полосы наступления, сменив стоявшие там в обороне войска.

Главные события того лета, как известно, развернулись на Курской дуге. Но советское командование придавало большое значение и наступлению на Смоленском направлении. Перед войсками Западного и Калининского фронтов ставилась задача нанести поражение основным силам немецкой группы «Центр», овладеть Ельней, Смоленском и тем самым воспрепятствовать переброске немецких войск в район Курской дуги.

Наступление нашей армии началось 7 августа, но, к сожалению, при недостаточно сильной и эффективной артиллерийской поддержке. За прорывом немецкой обороны мне пришлось наблюдать с НП командира 65-й гвардейской дивизии, а затем с НП командира одного из полков этой дивизии. Бой был тяжелым, затяжным, кровопролитным. На другой день в прорыв была введена 22-я гвардейская дивизия, в которой я бывал особенно часто, — в ней воевали мои земляки сибиряки. Начались бои за высоту 233,3, господствующую над обширной местностью перед Гнездиловом. Эта высота дорого стоила нашей армии. Она была взята 10 августа 1-й штурмовой комсомольской инженерно-саперной бригадой, грудь каждого ее бойца была защищена стальным панцирем наподобие тех, какие носили воины в далекие времена.

Целую неделю севернее Спас-Деменска шли беспрерывные, незатихающие бои. За эту неделю, спасая положение, немецкое командование вынуждено было перебросить сюда более одиннадцати дивизий. И все же 10-я гвардейская армия совместно с другими войсками, действовавшими слева и справа, разгромила мощный, глубоко эшелонированный рубеж противника.

После небольшой передышки, пополнив силы, армия вновь ринулась в наступление и 30 августа овладела Ельней. В честь этой победы был дан салют в Москве. Нашей 29-й гвардейской дивизии, особо отличившейся при освобождении старинного русского города, было присвоено почетное наименование Ельнинской.

Через две недели началась Смоленская наступательная операция, в которой участвовало несколько армий. 10-я гвардейская, прорвав оборонительный рубеж врага на речке Устром, за пятнадцать суток, минуя Смоленск южнее, продвинулась на 135 километров и достигла границы Белоруссии в районе Орши. Но здесь, ввиду начавшейся распутицы, наступление было приостановлено.

Более двух месяцев вела наша армия тяжелые наступательные бои, находясь в составе главной, ударной группировки Западного фронта. Ей пришлось прогрызать три заранее подготовленные оборонительные полосы противника, построенные в необычайно выгодной для обороны овражисто-лесистой местности с густой сетью траншей и разных укрытий, с развитой системой противопехотных и противотанковых заграждений. К тому же во время наступления чуть ли не ежедневно шли дожди, речки поднялись и взыграли, грунтовые дороги стали непроезжими, низкие места превратились в топи. Никогда не забыть эти дожди на смоленской земле!

Большую часть времени я проводил в районе боевых действий и всегда на главных участках наступления нашей армии. Мое положение как писателя армейской газеты сильно отличалось от положения сотрудника дивизионки. Теперь я выполнял лишь специальные задания редактора и должен был, как правило, давать крупные вещи: развернутые репортажи, очерки, рассказы, публицистические статьи. Но по старой привычке я давал немало и оперативного материала. Я знал, как дороги солдатам слова ободрения в тяжелые боевые дни и ночи. К сожалению, далеко не все, что писалось мною, публиковалось в газете: не для всех материалов находилось место на ее небольших полосках.

В начале октября я побывал на нашей передовой, проходившей недалеко от поселка Осинторф. Целый день я лазил по неглубоким, наскоро отрытым в торфянистых местах траншеям, развороченным немецкими снарядами и полузалитым водой. Переночевав в небольшой, переполненной людьми землянке, где воды было едва не до коленей, я отправился утром в редакцию.

Идти было далеко — километров тридцать и все по непро-

лазной грязище. В дороге у меня оказалось достаточно времени для раздумий. Вспомнился весь путь, пройденный за год и два месяца от Погорелого Городища до торфяных болот Белоруссии. Да не однажды пройденный, а дважды и трижды, и не по прямой, а извилистыми фронтовыми дорогами, зачастую с отвилками в разные стороны. Вспомнились многие бои, в которых пришлось участвовать, многие встречи и беседы с солдатами, с крестьянами освобожденных деревень, с партизанами... Но на этом, стало быть, и заканчивалось мое знакомство со Смоленщиной. Впрочем, я понимал, что у меня уже так много впечатлений, связанных с войной в древнем русском краю, что их вполне хватит для будущей книги.

Давно мне не удавалось покопаться в своей рукописи, хотя она всегда была со мною в полевой сумке. (Боялся оставлять ее в редакции: вдруг получу ранение, меня увезут в тыл, а она затеряется на фронте.) Устроив привал у фронтовой дороги, разведя небольшой костерок, я наконец-то решил перечитать то, что было написано не только от руки, но и переписано за лето на машинке.

Не знаю отчего, но рукопись, которой я прежде был вполне доволен, на этот раз вызвала у меня странную неудовлетворенность, смутное беспокойство, а под конец и ощущение неудачи. В чем дело? Сначала решил было, что моя неудовлетворенность исключительно от усталости. Но вскоре должен был с огорчением признаться себе, что причина более серьезная и тут не стоит кривить душой.

Мой главный герой Андрей Лопухов был показан главным образом в наступлении; год назад мне казалось, что надо описать только наступление нашей армии, чего ждет народ, только наступление. Андрей лишь вспоминал о доме, о семье, оставшейся на захваченной врагом территории, о том, что было до войны в родной Ольховке. Замысел книги, как это очевидно, был слишком узким. Он не давал возможности показать с полной глубиной всю трагедию, какую пережил народ Смоленщины с той поры, как началась война. И вдруг у меня мелькнула мысль: надо показать прежде всего, как Андрей отступает, да еще через свои родные места, да еще через свою родную деревню! Это позволит создать образ Андрея наиболее ярким, жизненным, позволит создать острый конфликт, в котором скрестятся разные судьбы, и, наконец, более широко показать трагедию русской деревни в годины военного лихолетья. Рамки повествования, таким образом, будут сильно раздвинуты.

Эта мысль и обрадовала, и серьезно испугала. Обрадовала остротой и драматичностью неожиданно найденной ситуации,

испугала очевидными трудностями, связанными с расширением замысла. Прежде всего меня взяло сомнение: смогу ли я описать отступление нашей армии осенью 1941 года? Ведь я не был очевидцем того тяжелого периода войны. Правда, я чувствовал, что многое знаю о нашем отступлении из рассказов людей, которые перенесли все его невзгоды. Многое знаю и о жизни крестьян, переживших немецкую оккупацию, и о борьбе партизан-мстителей. И все же я понимал, конечно, что новый вариант книги потребует от меня огромного напряжения сил, что он чреват большими опасностями и даже грозит катастрофической неудачей. Но где же писательская дерзость? Где писательская профессиональная выучка? Где воображение? Наконец, разве мне не известно, чему учит опыт русских писателей?

Грустным, задумчивым вернулся я в редакцию. Да, жалко было расставаться с написанным, ведь каждая сценка стоила мне многих бессонных ночей. Но я уже не мог отказаться от нового, весьма заманчивого замысла!

К моему удивлению, работа над новым вариантом книги пошла очень легко и быстро. Казалось, действие развивается само собой, без всяких усилий с моей стороны, сцены разворачиваются перед глазами во всех жизненных подробностях — только записывай. В конце декабря роман получил и окончательное название — «Белая береза». Первая рукопись еще некоторое время хранилась в полевой сумке, а потом была уничтожена; от нее остались лишь отдельные сцены — о довоенной семейной истории Лопуховых и всей Ольховки, об отступлении наших войск и, наконец, батальные, годные для нового варианта.

III

В декабре 10-ю гвардейскую армию перебросили на новое направление — в район Великих Лук; там она вошла в состав 2-го Прибалтийского фронта. Крепко запомнились мне ночные марши частей армии в морозы, снегопады и метели. Около сорока пяти тысяч человек прошли ночами вдоль линии фронта, «зоной пустыни» более двухсот километров, прячась и днюя в лесах, маскируясь от противника, что всем стоило немалой выдержки и всяческих страданий.

Всю зиму, переходя с одного участка фронта на другой, при крайне неустойчивой погоде, наша армия вела упорные бои в лесисто-озерном краю, в районе Пустошки, Новосокольников, Пушкинских гор, где враг создал мощные рубежи обороны. Своими героическими действиями она определенно способствовала успеш-

ному наступлению Ленинградского и Волховского фронтов в направлении Луги и Пскова.

Как всегда, и здесь за счет отдыха я продолжал работать над «Белой березой». В марте переписал ее на машинке. Но особенно хорошо мне удалось поработать с наступлением весны, когда на фронте установилось затишье.

В середине мая мне был предоставлен первый отпуск. Я побывал близ Набережных Челнов, где жил тогда сын Сергей, а также в Москве; там кое-кого познакомил со своей рукописью. Меня обрадовали и обнадежили первые отзывы...

10 июля 1944 года наша гвардейская армия, действуя в составе 2-го Прибалтийского фронта, прорвала оборону врага на рубеже реки Великой, освободив сильно укрепленный пункт Опочку, а затем, развивая успех, вступила на землю Латвии. В этой операции армия все время находилась на направлении главного удара, прошла более 250 километров и нанесла поражение нескольким дивизиям противника. В августе она находилась всего в 90 километрах от Риги.

В начале сентября армия приняла участие в Рижской операции с задачей разгромить вражескую группировку «Север» и освободить столицу Латвии. Преодолев за месяц четыре сильно укрепленных оборонительных полосы противника, советские войска овладели Ригой. Несколько дивизий нашей армии и других частей получили почетное наименование Рижских. Им салютовала Москва.

Остатки немецко-фашистской армии «Север», потерпевшей поражение в Риге, но все еще сильной (в ней осталось 36 дивизий, в том числе 3 танковые), потеряв связь с Восточной Пруссией, были прижаты огненной дугой к морю на Курляндском полуострове. Эти немецкие дивизии стали называться группой «Курляндия». Более шести месяцев наши войска настойчиво и многократно штурмовали эту группу на разных участках дугообразного фронта, стараясь сломить ее сопротивление. Но, к сожалению, наши войска не были обеспечены в достаточном количестве артиллерийскими боеприпасами, да и зима была очень мягкой, почти бесснежной, с постоянными оттепелями и туманами, мешавшими вести наступательные бои. И группа «Курляндия», отбивая все наши атаки, сумела продержаться до конца войны.

На всем пути от реки Великой до Риги мне очень часто приходилось бывать в наступающих частях. Разгром немецких оборонительных рубежей, решающие бои за опорные пункты, пре-

одоление такой труднейшей преграды, как Лубанская низменность, — все эти и другие действия нашей гвардейской армии так или иначе, но нашли отражение в моих очерках, зарисовках и репортажах, появившихся в армейской газете. Многие из моих материалов о том трудном походе и сейчас еще читаются ветеранами нашей армии. Они вошли как военные записки в мой сборник «Бессмертие» (Воениздат, 1969).

Мне приятно отметить также, что в истории нашей гвардейской армии «Незабываемые дороги» (Воениздат, 1974) и в мемуарах военачальников нашего фронта приводятся выдержки из моих описаний разных боев и операций, проведенных тогда нашей армией.

Не однажды в то лето, чтобы своими глазами видеть, как развивается какой-нибудь бой, а затем описать его, мне приходилось наряду с солдатами переживать немало тяжелых испытаний. Так было в Лубанских лесах и болотах. Так было под Ригой. Но здесь не место описывать все, что случалось со мной на фронте...

Когда же наша армия оказалась в Курляндии, для меня как писателя работы в газете стало гораздо меньше. Если армия наступает, громит вражеские рубежи, освобождает города, пробивается сквозь топи и леса, то ежедневно происходит множество героических событий, совершается множество подвигов, достойных самых красочных описаний. Тут для писателя полное раздолье. Пиши и пиши! Другое дело, когда армия стоит на одном месте, да еще так долго, как стояли мы в Курляндии. Там наша прекрасная гвардейская армия всю зиму вела тяжелые и безуспешные бои. Каждый клочок земли доставался ей дорогой ценой. Однажды одна прославленная дивизия, затеяв наступательный бой, оказалась даже в опасной ловушке — и потребовалось немало усилий, чтобы выручить ее из беды. Конечно, и в неудачных боях наши воины проявляли большой героизм, заслуживающий доброго слова. Но о героизме во время неудач в газете давались лишь заметки... Да и негде стало давать в ней широкие репортажи и очерки. В последние месяцы войны большая часть нашей небольшой газетки стала заполняться обширными официальными материалами: победными приказами Верховного Главнокомандующего, пространными сводками Совинформбюро, различными правительственными документами и заявлениями, связанными с приближающимся разгромом фашистской Германии.

Во мне как писателе в газете не стало большой, острой нужды. Тем более что в редакции, кроме меня, служили еще один известный критик и два поэта. Да и других сотрудников было гораздо больше, чем требовалось для выпуска маленькой газет-

ки... Именно в те дни редактор заставил меня заниматься корректурой, а потом и обучать этому делу других. По этой причине я два месяца почти безвыездно работал в редакции.

К сожалению, мне не пришлось дослужить в должности писателя армейской газеты до конца войны. Уже около года между редактором и мною до крайности обострились отношения. Однажды я со всей своей прямотой и резкостью высказал редактору, у которого было весьма любвеобильное сердце, суровые слова осуждения его недостойного поведения на фронте. Я остерег его, отца троих детей, от позорного поступка. За размолвкой последовали неоднократные ссоры. Но силы были неравны. Редактору с помощью всяческих наговоров и клеветы удалось все же изменить отношение ко мне политотдела армии.

Меня отправили секретарем дивизионки 7-й гвардейской дивизии. Это случилось в марте. Я понимал, что война заканчивается. Но я, несомненно, уже болел туберкулезом, сильно похудел и ослаб, а пришлось жить в землянке на болоте, под ее настилом хлюпала вода. Стояли влажные, туманные дни, я едва таскал ноги, а надо было почти ежедневно ходить на передовую, где шли ожесточенные схватки. Полевая сумка с рукописью романа казалась мне набитой камнями. Не однажды я в эти последние дни войны попадал на передовой в тяжелое положение — и меня спасало только какое-то чудо.

...Я не способен передать своей простой прозой то невероятнейшее нетерпение, с каким мы ожидали капитуляции Германии, а особенно то потрясающее счастье, какое пережили, когда наконец-то прозвучало известие о нашей великой Победе. У всех людей, даже обездоленных войной, тот день торжества и ликования останется в памяти на всю жизнь.

IV

Вскоре после окончания войны наша часть была переведена в Эстонию. Туда же перевели и редакцию нашей газеты. Там я немедленно начал хлопоты о скорейшей демобилизации. Признаюсь, меня совершенно не интересовала работа в дивизионке. О чем было писать? О войне? Все уже описано! О военной учебе? Но большинство наших воинов мечтало лишь о возвращении домой. Стиснув зубы, я день-деньской заново переписывал заметки, какие поставлял старательный, но малоопытный сотрудник, занимался корректурой, вычитывал полосы. Вечером, укрывшись в своей конурке, садился за стол и просиживал за ним до рассвета. Несмотря на все неприятности, какие случились со мною в конце войны, на все незаслуженные

обиды, я с упорством, какому сейчас и сам дивлюсь, продолжал работать над «Белой березой». Я понимал, как важно было поскорее выступить с книгой. Нельзя было терять ни одного дня, ни одного часа.

Нелегко мне писать о той первой послевоенной зиме. Пожалуй, лучше всего дать здесь отрывки из своих тогдашних писем брату Фаддею:

«26 ноября 1945 г.

...Могу сообщить одну новость. Сегодня из Москвы получил отзыв на роман. Отзыв весьма положительный. Композиция романа и все главные герои получили хорошую оценку. Сделано несколько несущественных замечаний об отдельных, тоже несущественных, сценах, а больше о языке: чувствуется, дескать, спешка, неряшливость и т. д. (Это и понятно! В каких условиях роман писался!) Да к тому же многие сцены были переписаны просто с черновика, и в Москве, торопясь, я не мог даже выправить их как следует. Приехав обратно, я ахнул: в рукописи к моим опискам машинистки прибавили много своих ошибок и всякой отсебятины.

Отзывом очень доволен. Чувствую, что роман понравился и после моей правки без особых задержек пойдет в печать. Теперь начну доделывать роман с большим усердием.

Да, поднят вопрос об отзыве меня в Москву, об устройстве там обсуждения романа. Не знаю еще, как разрешится этот вопрос. На обсуждение соглашусь, конечно, только после того, как окончательно отделаю рукопись. Но если меня демобилизуют в середине декабря — роман будет готов, и тогда я могу смело ехать в Москву, уверенный, что договорюсь о печатании.

Считаю, что это — моя большая победа. И только вот эта радость теперь, надеюсь, прибавит мне сил, поднимет мое настроение. Дай господи, чтобы с романом теперь пошло все хорошо! В этом мое спасение!»

«12 января 1946 г.

Давно не писал тебе. Но здесь одна причина: ежедневно жду приказа об увольнении. В двух первых инстанциях вопрос разрешен. Я нахожусь в списках для демобилизации. Но вопрос все мусолится и мусолится в округе. Ждал, что уволят в средине декабря, но приказ пришел только на четырех человек. Теперь обещают, что приказ будет к 15 января...

Все время настроение противное, но я все же заставляю себя работать. Мое упорство тебе известно. Замечания по роману были не очень серьезные, но я по своей инициативе переделал

в нем уже многое. Если с неделю еще пробуду здесь, то 240 страниц будут сделаны окончательно. Мне хочется, чтобы после демобилизации я просидел над рукописью не более одного месяца. Надо сдавать, а то придется поступать работать — и тогда бросай все дело! Если мне удастся удержаться, окончательно профессионализироваться — буду счастлив безмерно.

Очень мучает меня вопрос: где жить? Приеду, конечно, сначала в Ригу, а там видно будет. В этом году на одном месте мне не придется долго жить. Предстоят разъезды. Надо съездить куда-нибудь отдохнуть, надо побывать в Москве с рукописью, потом в Казани, наконец, в моей Ольховке в районе Ржева. Видишь, мне и не придется жить долго в Риге. Посмотрю, летом подумаю — и устроюсь окончательно».

«13 февраля 1946 г.

Несколько дней назад встретился с новым начальником политотдела. Оказался чрезвычайно симпатичным человеком! Ко мне отнесся необычайно внимательно. Пообещал, как вернется в Таллин, через день телеграммой сообщить, в каком положении находится мое дело. Телеграмму прислал аккуратно. Оказывается, и в Таллине и в Ленинграде поддержано мое ходатайство об увольнении и еще в начале января все дело направлено для окончательного решения в Москву. В ближайшие дни вопрос должен быть решен. Начальник заверил меня, что если выйдет какая заминка, то он вновь всячески поддержит мой рапорт и будет хлопотать за меня. Если же быстро не разрешится этот вопрос (в течение февраля), то он приказал нашему начальнику предоставить мне творческий отпуск для окончания романа. Видишь, каков начальник!..»

«1 марта 1946 г.

Через час ухожу в госпиталь. Здоровье мое, брат, совсем расшаталось. Что со мной — известно станет после исследований, но врачи пока говорят, что неважно не только с сердцем и нервной системой (у меня страшные головные боли), но и с легкими. Если окажется, что у меня, ко всему прочему, еще и туберкулез, — положение мое плохое.

Я рад, что меня кладут в госпиталь, и ухожу туда с хорошим настроением. Возможно, у меня и нет еще туберкулеза, а все остальное — ерунда...»

У меня все время держалась температура. Но в госпитале не оказалось даже рентгена, и врачи не давали определенного заключения о моей болезни. Впрочем, они поддержали мое ходатайство о скорейшей демобилизации из армии.

V

Во второй половине марта 1946 года я наконец-то распрощался с армейской службой. В отделе кадров политотдела мне вручили бумагу, в которой выражалась благодарность за честное выполнение священного долга перед Родиной, и разрешили отправляться на все четыре стороны. Но куда было держать путь? У меня не было, как говорится, ни кола ни двора; все мое имущество умещалось на донышке истрепанного вещевого мешка, все мое богатство заключалось в рукописи «Белой березы».

По существовавшим законам я мог потребовать возврата той жилплощади, какая принадлежала мне до войны в Казани. Но ее занимала многодетная семья. Я не мог потревожить ее покой. Забрав сына, который жил у бабушки близ Набережных Челнов, я увез его в Ригу, за которую воевал и где надеялся найти какое-нибудь временное жилье.

Жилось моей семье в Риге трудно, впроголодь. Все время мучило безденежье. Получил небольшое вознаграждение за свои скромные военные награды. Выпросил ссуду в Литфонде. Иногда приходилось делать кое-что для рижских газет. Но терпел и терпел — категорически отказывался вновь надеть хомут газетчика, хотя, постоянно работая в газете, мог жить безбедно. А жена Валентина Ивановна (бывшая радистка нашей армейской газеты, ставшая моей женой летом 1945 года) получала по моей писательской карточке в закрытом магазине дорогие папиросы и несла их на рынок; оттуда возвращалась с папиросами из какой-то вонючей травы...

Болезнь все более подтачивала мои силы. И все же я с необычайной настойчивостью, какой теперь, к сожалению, уже не обладаю, продолжал работать над «Белой березой». Где-то мне удалось позаимствовать старенькую пишущую машинку, и я решил всю рукопись романа (в который уже раз!) переписать заново, одновременно внося поправки. Работа шла медленно, крайне медленно, но я не снижал самых высоких требований, какие мог предъявить себе по тем далеким временам. Каждая удачная фраза, каждое нужное слово давались с бою.

Работа над рукописью была закончена только к осени. Как раз в те дни я получил письмо от поэта Г. А. Санникова, с которым вместе работал в газете «Боевое знамя» и был связан хорошей фронтовой дружбой. Оказывается, Григорий Александрович стал заместителем редактора журнала «Октябрь». Зная многие страницы моего романа, он предложил мне передать свою рукопись журналу, и я охотно принял его предложение.

Всю зиму с нетерпением, хорошо известным всем молодым писателям, ждал ответа из Москвы. Трудно было ждать. Ранней весной процесс в легких обострился, и я оказался в больнице под Ригой. Меня пугала коварная болезнь, против которой тогда еще не было эффективных средств, и мучило ожидание решения моей рукописи. Судьба «Белой березы» была моей судьбой.

Каждый день в больнице появлялась жена. Едва она входила в палату, я спрашивал ее — чаще одним взглядом:

— Есть что-нибудь?

Она вздыхала и смотрела на меня виновато.

Но однажды, встретив мой взгляд, очень смутилась и опустила глаза.

— Что же, есть? — спросил я. — Говори!

— Они вернули рукопись, — ответила жена. — Она так отредактирована, что я побоялась показывать ее тебе.

— Принеси завтра же!

На другой день, с трудом поднявшись на кровати, я положил рукопись на колени, прикрытые одеялом, и принялся листать. Это длилось очень долго! У жены по щекам катились слезы. Она была до крайности удивлена тем спокойствием, с каким я не спеша просматривал страницу за страницей. Рукопись была отредактирована одним из членов редколлегии журнала. В ней не осталось живого места. Достаточно сказать, что в ней даже не упоминался Лозневой. Короче говоря, весь конфликт был уничтожен, из острого романа сделана небольшая, не представляющая никакой художественной ценности повестенка. Я никогда не думал, что такое кромсание рукописи называется редактированием....

— Пиши, — сказал я жене, закончив просмотр всей рукописи, и продиктовал телеграмму Федору Ивановичу Панферову, главному редактору журнала: — «Категорически отказываюсь печатать роман в вашем журнале...»

Жена совсем пригорюнилась:

— Миша, может, все же...

— Нет, нет, — возразил я, не дав ей договорить. — Они испугались правды о войне! Но я еще повоюю за свою книгу: ведь я ее писал всю жизнь.

Через день жена принесла мне телеграмму от Ф. И. Панферова: «Прошу возвратить рукопись романа, буду редактировать сам».

И Панферов полностью, за исключением отдельных незначительных мест и фраз, восстановил текст моей рукописи. Так была спасена «Белая береза»...

Первая часть романа появилась неожиданно быстро — уже в майском номере журнала «Октябрь»: публикация была посвящена второй годовщине великой Победы!

Совершенно очевидно, что многие критики и читатели выход «Белой березы» восприняли весьма настороженно: впервые в литературе о войне был выведен предатель Лозневой, да не рядовой солдат, а комбат, впервые описан разгром целого полка, впервые произнесено слово «отступление», которого всячески избегали прежде, и описано немало острейших драматических ситуаций как в отступавшей армии, так и в захваченной врагом деревне. В некоторых издательствах роман получил резко отрицательные оценки и был отвергнут; лишь «Профиздат», где Ф. И. Панферов имел большое влияние, осмелился принять его к изданию отдельной книгой.

Осенью Ф. И. Панферов принял самое горячее участие в моей судьбе, какое принимал в судьбах многих молодых писателей. Он выхлопотал мне место в хорошем санатории под Москвой, раздобыл дорогие и редкие лекарства, применявшиеся для лечения туберкулеза. Однажды он навестил меня в санатории и привез мне авторские экземпляры «Белой березы», только что вышедшей в свет. Незабываемый день! В то время я очень боялся сырого климата Прибалтики и сказал Федору Ивановичу, что хотел бы перебраться на постоянное жительство в один из русских городов Поволжья. Федор Иванович тут же пообещал похлопотать об удовлетворении моей просьбы.

Но мне так и не удалось поселиться на великой русской реке. В конце марта 1948 года состоялось заседание Советского правительства, на котором присуждались Сталинские премии за художественные произведения. Когда речь зашла обо мне, Сталин спросил:

— Говорят, он болен?

Ему ответил Ф. И. Панферов.

— Надо лечить, — сказал Сталин.

Меня немедленно вызвали в Москву, где я прошел тщательное медицинское обследование. Потом отправили на лечение в Крым, а когда вернулся оттуда — мне вручили ключ от новой квартиры в Москве...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

С юных лет меня, коренного сибиряка, всегда волновала идея заселения ковыльных просторов родного Алтая, его горных до-

лин, оглашаемых рокотом и плеском бурных речек, бесконечной таежной глухомани, где природой упрятаны несметные драгоценные клады. Тогда, только начиная пробовать свои силы в литературе, я немало побродил по этим, дорогим моему сердцу, заповедным и прекрасным землям. Едешь, бывало, день-деньской по безлюдной степи, и хотя она несказанно очаровывает тебя своим раздольем, что всегда сладостно русской вольнолюбивой душе, манит тебя в далекую даль миражами, ласкает твой слух певучей и нескончаемой птичьей мелодией, а все равно вдруг остановишься и пожалеешь: «Только людей мало...»

Конечно, я понимал: всему, как говорится в народе, свое время. Но мне, нетерпеливому по натуре, всегда казалось несправедливым, даже обидным, что историческое движение русского народа за «Каменный пояс», начатое легендарным Ермаком, в наш век невиданных и смелых преобразований идет все же медленно. Ну, скажем, медленнее, чем хотелось бы...

Когда же долгожданное движение, преодолевая трудно проходимое бездорожье, начало зажигать огни во многих местах Сибири, когда легли через верблюжьи тропы железные рельсы, вспыхнуло зарево над коксовыми печами и поднялись заводские трубы в сибирской угольной кладовой, для нас, сибиряков, как бы счастливо закончилась пора тягостной отдаленности от исконной России, откуда вышли наши предки, и мы гораздо сильнее, чем прежде, почувствовали сопричастность ко всем великим начинаниям, какие зарождались на нашей прародине.

Окончание на стр. 193

ЖУРНАЛ
В
ЖУРНАЛЕ

ПОВАРИШ

ЦЕЛЬНАЯ, ЗАКОНЧЕННАЯ ЛИНИЯ...

1921 ГОД явился поворотным в истории развития послевоенного революционного движения. Монополистический капитал перешел в наступление, рабочий класс некоторых западноевропейских стран понес поражение, и на очередь встал вопрос о подготовке пролетариата к новым боям против буржуазии. Со всей остротой ощущалась необходимость выработки иной, соответствующей изменившимся условиям, тактики.

Тактика Коминтерна... Это был главный вопрос, на который должен был дать ответ Третий конгресс Коммунистического Интернационала.

Открытие конгресса намечалось на конец июня. Ленин уделял подготовке к конгрессу огромное внимание. Выкраивая часы, а порой короткие минуты из своего до предела напряженного рабочего времени, Владимир Ильич изучал информационные материалы, знакомился с проектами важнейших резолюций, встречался с делегатами конгресса, прибывавшими в Москву, выступал с речами на заседаниях Исполкома Коминтерна, писал деловые записки и письма партийным товарищам. Так, Ленин просил Кржижановского подготовить к его докладу на конгрессе фактическую справку об итогах работы по электрификации страны, составить карты и схемы, издать на трех языках краткую брошюру и конспект «Плана электрификации»...

Особо пристальное внимание Ленин уделил проекту *тезисов о тактике,* разработка которых была поручена русской делегации конгресса.

В конце 1920 года Объединительный съезд Коммунистической партии Германии и левого крыла германской Независимой со-

циал-демократической партии провозгласил так называемую «теорию наступления». Вести наступательную революционную борьбу во что бы то ни стало, без серьезной подготовки, не сообразуясь с конкретными условиями, не считаясь с тем, поддержат ли Коммунистическую партию широкие массы рабочих и крестьян, — вот в чем состояла объективная суть теории «левых». Сторонники «теории наступления» появились в Австрии и во Франции, в Италии и в Венгрии.

Среди делегатов конгресса было немало тех, кто тешил себя иллюзиями, кто хотел добиться того, чтобы «теория наступления» легла в основу решений о тактике Коммунистического Интернационала. Ленин был уверен: представителям «левого» догматизма, прикрывавшим себя мнимореволюционной леваческой фразой, не придется ликовать. Не надо строить иллюзий. Буржуазия и впредь может провоцировать рабочих на выступления, но идти на провокации и принимать бой нельзя, пока коммунисты не завоюют большинства пролетариата во всей стране. Вторая волна революции еще не поднялась, но коммунисты не должны отказываться от борьбы, необходима неутомимая партийная агитация и пропаганда, работа среди масс, борьба за массы. Завоевание масс, считал Ленин, — это предпосылка для завоевания власти. Когда массы будут завоеваны, тогда можно сказать, как сказали русские коммунисты в октябре семнадцатого: «Теперь мы готовы!»

На проект тезисов Ленин дал развернутые замечания. Он предложил поставить во главу угла — как центральные идеи — следующее:

«Большинства нигде (рабочего класса) коммунистические партии еще не завоевали: не только для организационного руководства, но и для принципов коммунизма. Это основа всего. «Ослаблять» этот фундамент единственно разумной тактики — *преступное легкомыслие.*

Отсюда: революционные взрывы возможны очень скоро тем не менее, при обилии горючего материала в Европе; возможна — в исключительном случае — и легкая победа рабочего класса. Но на этой возможности строить теперь тактику Коммунистического Интернационала нелепо; нелепо и вредно писать и думать, будто кончился период пропаганды, начался период действий.

Тактику Коммунистический Интернационал должен построить на том: неуклонно и систематически завоевывай *большинство рабочего класса,* в первую голову *внутри* старых *профсоюзов.* Тогда победим наверняка при всяком повороте событий. А «победить» на короткий срок при исключительно счастливом повороте событий сумеет и дурак».

ТРЕТИЙ конгресс Коминтерна открылся 22 июня 1921 года в Москве, в Большом театре. В работе его приняли участие 605 делегатов более чем от ста организаций из 52 стран, в том числе от коммунистических и социалистических партий, союзов молодежи, синдикалистских и других организаций.

Всей работой по проведению конгресса руководил Ленин. Он был избран почетным председателем конгресса, при его непосредственном участии были выработаны все основные решения всемирного форума.

Владимир Ильич не смог присутствовать на открытии конгресса — оно совпало с колоссальной занятостью Ленина по разреше-

нию неотложных, насущных, как хлеб, вопросов становления молодого Советского государства. Он председательствовал на заседаниях СТО и Совнаркома, встречался и беседовал с партийными и советскими работниками, знакомился с письмами и телеграммами, подписывал протоколы и отношения, участвовал в заседании Политбюро ЦК партии... Владимир Ильич появился в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, где проходили пленарные заседания, 28 июня.

Ленин вошел в зал перед началом выступления делегата от Итальянской социалистической партии. На минуту задержавшись у дверей, он, словно желая остаться незамеченным, быстрыми, мелкими шагами, глядя прямо перед собой, направился к президиуму. «Но как мог он остаться незамеченным!» — вспоминает делегат конгресса Василь Коларов. Все делегаты с нетерпением ожидали его прибытия на конгресс. Они вскочили со своих мест, по всему залу забушевала долго не стихавшая буря аплодисментов и возгласов... Ленин сел за стол и деловито стал просматривать бумаги в своей папке, наклонив голову и уже не поднимая ее, — казалось, он хотел сказать: давайте оставим это, есть дела и поважней.

Владимир Ильич с большим вниманием слушал выступление Лаццари, делегата социалистической партии Италии, а во время перерыва присел на одну из ступенек за трибуной и, склонившись над листком бумаги, сосредоточенно готовил свою речь.

Итальянский вопрос был вынесен на обсуждение конгресса не случайно. В октябре 1919 года социалистическая партия Италии присоединилась к Коминтерну. Но уже через год, на Втором конгрессе, глава итальянской делегации Серрати защищал реформистско-оппортунистические позиции. Исполнительный Комитет Коминтерна исключил социалистическую партию Италии из Коммунистического Интернационала, и вот Лаццари с трибуны конгресса опротестовывал решение Исполкома.

После перерыва слово предоставили Ленину.

Отметив, что в Италии уже в течение долгого времени существует и реформистско-оппозиционная тенденция и наряду с ней оппозиционно-реформистская группа, Ленин подчеркнул, что Итальянская социалистическая партия никогда не была истинно революционной.

— Величайшее несчастье ее в том, — говорил он, — что она не порвала с меньшевиками и реформистами еще до войны и что последние продолжают оставаться в партии... Что значат все россказни Серрати и его партии о том, будто русские только того и желают, чтобы им подражали? Мы требуем как раз противоположного. Недостаточно знать наизусть коммунистические резолюции и при всяком случае употреблять революционные обороты. Этого мало, и мы заранее против коммунистов, знающих наизусть ту или иную резолюцию. Первым условием истинного коммунизма является разрыв с оппортунизмом... А теперь товарищи приезжают сюда и говорят: «Если вы нас оттолкнете, массы запутаются». Нет, товарищи, вы ошибаетесь. Рабочие массы в Италии запутались сейчас, и им пойдет на пользу, если мы им скажем: «Выбирайте, товарищи, выбирайте, итальянские рабочие, между Коммунистическим Интернационалом, который никогда не потребует, чтобы вы рабски подражали русским, и между меньшевиками, которых мы знаем в течение двадцати лет и которых мы никогда не потерпим

в качестве соседей в подлинном революционном Коммунистическом Интернационале». Вот что мы скажем итальянским рабочим. Результат не подлежит сомнению. Рабочие массы пойдут за нами.

Последние слова Ленина были встречены бурным одобрением всего зала.

1 июля Ленин должен был выступить с речью в защиту тактики Коммунистического Интернационала. Настало время дать решительный бой «левакам» — сторонникам «теории наступления».

Ленин внимательно слушал выступление Умберто Террачини, молодого итальянского коммуниста, который вносил поправки к тезисам о тактике Коминтерна, говоря от имени трех делегаций, защищавших теорию наступательной борьбы.

Как вспоминал позднее Террачини, он, новичок, осмелился выступить с оружием марксистской диалектики против того, кто мастерски владел этим оружием... И он сознавался, что на какой-то миг его охватили честолюбивые мысли, когда Ленин спокойно и с простотой, которая людям, не знавшим его, могла показаться покорностью, произнес первые слова своей речи в ответ на выступление итальянского коммуниста:

— Товарищи! К моему большому сожалению, я должен ограничиться самообороной...

Но сразу же за первой фразой зазвучала резкая атакующая речь. Ленин опрокинул все построения сторонников «теории наступления».

— Я говорю — к большому сожалению, потому что после ознакомления с речью товарища Террачини и с поправками, внесенными тремя делегациями, мне очень хотелось бы перейти в наступление, ибо против взглядов, которые защищали Террачини и эти три делегации, необходимы, собственно говоря, наступательные действия. Если конгресс не будет вести решительного наступления против таких ошибок, против таких «левых» глупостей, то все движение осуждено на гибель... Нам, русским, эти левые фразы уже до тошноты надоели.

Выступая, Владимир Ильич не стоял на трибуне, он был все время в движении, то и дело обращал свой взгляд в сторону зала. Казалось, этот взгляд отыскивал сторонников пресловутой теории, чтобы убедить их: суровое осуждение произносится во имя высшего долга — спасти коммунистов от заблуждений, от ошибок, которые могут оказаться непоправимыми...

Ленин подчеркнул, что левацко-авантюристические установки представляют для коммунистических партий гибельную опасность. Он призывал к развертыванию настоящей революционной борьбы и подчеркнул, что для победы надо иметь сочувствие широких масс.

— Мы должны поэтому привлечь на свою сторону не только большинство рабочего класса, но и большинство трудящегося и эксплуатируемого сельского населения... Необходимо немедленно же начать учиться, — продолжал Ленин, — учиться на совершенных ошибках тому, как лучше организовать борьбу... Если же во время самой борьбы на нашей стороне окажется большинство трудящихся — не только большинство рабочих, но большинство всех эксплуатируемых и угнетенных, — тогда мы действительно победим.

...В перерыве к Владимиру Ильичу подошла Клара Цеткин. Она крепко пожала ему руку и сказала:

— У нас председатель какого-нибудь собрания в каком-нибудь уездном городишке боялся бы говорить так просто, так непритязательно, как вы. Он боялся бы казаться «недостаточно образованным»... Я могу сравнить ваше искусство говорить только с одним: с великим искусством Толстого. У вас та же крупная, цельная, законченная линия, то же непреклонное чувство правды... Может быть, это специфическая отличительная черта славянской натуры?

— Этого я не знаю, — сказал Ленин. — Я знаю только одно. Когда я говорил, я все время думал о рабочих и крестьянах как о своих слушателях. Я хотел, чтобы они меня поняли. Где бы ни говорил коммунист, он должен думать о массах, он должен говорить для них. И еще. Мне особенно хотелось подчеркнуть, что завоевать широкие массы мы, коммунисты, не сможем без сплочения всех наших сил, без единого пролетарского фронта. Мы должны принять и провести до конца тактику единого фронта...

5 июля делегаты конгресса с большим вниманием выслушали доклад Ленина о тактике РКП. Третий конгресс единодушно одобрил тактику Российской Коммунистической партии. «Выражая свое убеждение, что только благодаря этой последовательной и сознательной политике РКП, — отмечалось в резолюции конгресса, — Советская Россия остается первой и важнейшей твердыней мировой революции, конгресс одновременно осуждает предательское поведение меньшевистских партий, которые во всех странах ведут кампанию против Советской России и политики РКП, укрепляя этим капиталистическую реакцию против России и пытаясь отсрочить всемирную социальную революцию...»

ЧЕРЕЗ месяц Ленин направил немецким коммунистам письмо, которое было напечатано 22 августа в газете «Роте Фане», а затем в «Бюллетене Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала». Мысли, высказанные Владимиром Ильичем в этом письме, имели громадное значение не только для немецких коммунистов, но и для сотен тысяч коммунистов всего мира.

«Тактическая и организационная резолюции III конгресса Коммунистического Интернационала знаменуют, по-моему, большой шаг движения вперед. Все силы надо напрячь, чтобы на деле провести обе эти резолюции в жизнь. Это трудно. Но это можно и должно сделать». Отмечая, что армия коммунистов во всем мире еще плохо обучена, плохо организована и что величайшим вредом для дела было бы забвение этой истины или боязнь признать ее, Ленин указывал, что эту армию надо как следует обучить и организовать, испытать на сражениях, на операциях наступления и отступления. «Без этой долгой и тяжелой школы, — писал Ленин, — победить нельзя».

Основной итог работы Третьего конгресса Коминтерна заключался в том, что необходима более тщательная, всесторонняя подготовка к новым, решающим битвам, как оборонительным, так и наступательным, необходимо обеспечение в ходе революционной борьбы преобладающего влияния компартий на большинство рабочего класса, трудящихся и эксплуатируемых масс, коммунистическое руководство этой борьбой, создание в ходе ее массовых коммунистических партий.

Обобщающим лозунгом деятельности коммунистов, выдвинутых конгрессом, был призыв «В МАССЫ!».

Н. НИКОЛАЕВ

● РАССКАЗЫ О ДЕЛЕГАТАХ

ЗОЛОТЫЕ ПЛОДЫ

В ДЕВЯТИТЫСЯЧНОМ коллективе ленинабадских текстильщиков Махфират Додобаеву знает, наверное, каждый. Здесь, на комбинате, начинала она свой трудовой путь, стала опытной мастерицей, комсомольской активисткой и секретарем комитета комсомола, здесь ее приняли в партию. Махфират хорошо работала, много училась, без отрыва от производства получила высшее специальное образование, а после перевода на партийно-комсомольскую работу закончила ВПШ.

Годы труда и учебы научили Додобаеву относиться к людям бережно, с уважением. Несколько лет назад, когда Махфират была еще групкомсоргом, пришла к ним в бригаду ершистая девчонка Савсан. Все было ей не по нраву. Новый станок у нее якобы всегда барахлил; советы и замечания наставницы она воспринимала с обидой и дерзила в ответ. Решили обсудить ее поведение на бригадном собрании — не пришла, потом прогуляла целую смену. На следующий день все-таки явилась в цех с заносчивой улыбкой — дескать, увольняйте, не боюсь. И хотели ее уволить, но Махфират настояла на том, чтобы с крайней мерой повременили.

«Вернулась в цех — значит, хочет работать, — размышляла она. — Может быть, рассчитывала сразу же выдвинуться в передовики, а вот умения не хватило. Поэтому и хочет показать себя этакой отчаянной. Ну что ж, гордость — неплохая черта. Надо только направить ее в нужную сторону...»

Случай вскоре представился. Приехали на комбинат прославленные ветераны труда для встречи с молодежью. Махфират поручили представить им передовиков бригады. На эту встречу она пригласила и Савсан. Завязалась беседа. Савсан скупо отвечала на вопросы. После встречи сразу же ушла из цеха. К смене она явилась не в пример прошлому собранной, подошла к своей наставнице и громко, чтобы все слышали, попросила: «Простите меня, Вера Петровна. Только научите работать по-настоящему. Я буду стараться...» Примерно через год ее включили в список лучших молодых работниц, заслуживших звание ударника коммунистического труда.

Сколько таких «крестниц» и «крестников» было у Додобаевой! В труде воспитывались люди, вместе с ними росла и она сама. Ныне Махфират Додобаева председатель комитета профсоюза крупнейшего в стране шелкового комбината, депутат Верховного Совета СССР. Коммунисты предприятия и города оказали ей высокое доверие и честь, избрав делегатом XXVI съезда КПСС.

Навсегда останутся в памяти Махфират дни высшего партийного форума. Эти дни позволили заглянуть в будущее на годы вперед. «Как емко в докладе товарища Брежнева выражены стремления и

воля всего человечества, — записала она в своем дневнике. — Главная задача современности — сохранение мира, обеспечение первейшего права каждого человека — права на жизнь. В чем гарантия мира? Сейчас, на съезде, это с особенной ясностью сознаешь: труд, укрепляющий экономическую и оборонную мощь нашей Родины, стран социалистического содружества... И за всеми нашими делами стоит партия».

Волнующим для Махфират было утверждение проекта Основных направлений экономического и социального развития страны. Ведь один из пунктов проекта ЦК КПСС непосредственно относился к их предприятию: «Осуществить техническое перевооружение шелкового комбината в городе Ленинабаде».

Голосуя за проект, делегат Додобаева вспоминала о взятых товарищами нелегких дополнительных обязательствах, в том числе и о своих. Ответственность велика! Не переоценили ли они свои силы? «Нет, — думала она, — мы уже проверили себя на предсъездовских ударных трудовых вахтах. Задания прошлой пятилетки обещали выполнить в сентябре, а выполнили на месяц раньше. В честь XXVI съезда до конца года наметили выработать дополнительной продукции на 60 миллионов рублей, а выработали на 70. И еще найдутся резервы! Свидетельством тому — начало текущего года. К открытию съезда коллектив комбината реконструировал кокономотальное и ткацкое производства, внедрил более четырехсот крупных технических новшеств».

С чувством окрыленности Махфират вернулась в родной город. Наступила пора реальных свершений. На комбинате обсуждались конкретные меры по выполнению задач, поставленных перед коллективом Основными направлениями и социалистическими обязательствами. Встречаясь с производственниками в цехах и бригадах, Махфират не только делилась впечатлениями о съезде, она говорила о том, как успешней наладить работу, улучшить условия труда и быта, организовать учебу и отдых, записывала предложения и пожелания текстильщиков.

Молодые ткачихи Нина Калинина и Люба Гаврилова во время встречи с Додобаевой сообщили, что могут с большей отдачей использовать свои станки, рассказали, как это сделать. Их предложение одобрили специалисты. Новшество было внедрено, дало немалый экономический эффект. Додобаева позаботилась о том, чтобы об успехе ткачих сообщили в многотиражке, по местному радио. Комсомол взял под особый контроль развитие технического творчества. И ответ не заставил себя ждать. От молодых текстильщиков стало поступать много предложений и по улучшению организации труда в бригадах, и по расстановке оборудования, и по совершенствованию технологии.

Беспокоила и другая, тоже важная проблема: кто будет работать на новейших станках, на новых поточных линиях? Ведь потребуются специалисты самой высокой квалификации...

Еще накануне съезда Додобаева при поддержке парткома добилась организации на комбинате специальных курсов по подготовке программистов,

операторов и наладчиков поточных линий. С начала года на предприятии начались занятия на заочном отделении политехнического института. К учебе в первую очередь была привлечена молодежь. Ныне на предприятии движение за новые знания стало массовым.

Каждый день Махфират убеждалась, как важна работа по пропаганде решений съезда. Люди стали вдумчивей относиться к делу. И нужно было сделать все, чтобы ярче разгорался в них творческий огонек.

...Ткачиха Мария Сычова по годам еще молода, но ее справедливо считают мастерицей экстра-класса, одной из лучших наставниц в цехе. Никогда не пройдет Мария мимо новенькой, не уделив ей внимания. Непременно задержится, покажет, как можно работать лучше. Сычова часто бывает в общежитиях, дома у молодых подруг. Ей не безразлично, как девушки проводят свой досуг... Однажды Мария поделилась своими мыслями с Додобаевой: нужно добиться того, чтобы каждая работница могла отдохнуть интересно, с пользой для себя. Махфират поддержала ткачиху и, зная ее твердый, настойчивый характер, предложила участвовать в работе культурно-массового сектора фабкома.

Так у Додобаевой появилась еще одна энергичная помощница. В том, что в недавно построенном, просторном и красивом Дворце культуры комбината ныне занимается без малого сорок кружков, работают народный театр, университет культуры, — немалая заслуга Марии Сычовой.

...В фабкоме на столе секретаря аккуратной стопкой лежат письма, адресованные депутату.

Ткачиха Галиева просит помочь сыну. Парень закончил десятилетку, и на распутье: поступать в вуз боится — отметки неважные, решил работать. А матери очень хочется, чтобы он стал художником. «Мальчик с детства любит рисовать», — пишет она. Просьба, конечно, звучит наивно. Но вопрос серьезный — будущее человека. Необходимо побывать у Галиевых безотлагательно, выяснить, к чему стремится и что может юноша. Махфират, конечно, в живописи не специалист, но определить способность парня у художников-педагогов в ее силах, а помочь ему найти труд по душе — прямой долг...

Не только содействия просят избиратели. Совсем еще недавно Махфират встречалась с активом жителей городка текстильщиков, с комсомольцами здешних школ. Обсуждали дела насущные остро, говорили о правах и обязанностях граждан. Радостно Махфират: основа решений съезда — «Все для блага советского человека» — воспринята творчески. Жители городка предлагают помощь в строительстве стадиона. Уже подготовлены необходимые материалы, выделены специалисты, нашлась техника. Помощь народа ускорит стройку...

Махфират задумывается. Как все-таки схожи заботы взрослых и юных. Не в этом ли одно из главных свершений партии — в воспитании преемственности поколений, в единстве цели отцов и детей. За строчками писем встают их горячие сердца, ищущий разум, желание сделать жизнь полней и лучше.

Ю. ГУРЬЕВ

40 ЛЕТ НАЗАД, 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА, ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ ВЕРОЛОМНО НАПАЛА НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. ВСЯ СТРАНА ВСТАЛА НА ЗАЩИТУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА. ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ, КТО ПРИНЯЛ НА СЕБЯ УДАР ГИТЛЕРОВСКИХ ПОЛЧИЩ, БЫЛИ ЗАЩИТНИКИ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ. БОЛЬШЕ МЕСЯЦА ДЛИЛАСЬ ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА. НЕУВЯДАЕМОЙ СЛАВОЙ ПОКРЫЛИ СЕБЯ ВОИНЫ ГАРНИЗОНА, ПРОТИВОПОСТАВИВШИЕ ВРАГУ НЕСГИБАЕМОЕ МУЖЕСТВО И СТОЙКОСТЬ... СЕГОДНЯ, КОГДА ОТМЕЧАЕТСЯ 40-ЛЕТИЕ НАЧАЛА ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ, МЫ ПУБЛИКУЕМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТЕХ, КТО С ОРУЖИЕМ В РУКАХ ЗАЩИЩАЛ ЦИТАДЕЛЬ ЛЕТОМ 1941 ГОДА И КТО СЕГОДНЯ СЛУЖИТ НА ГЕРОИЧЕСКОЙ ЗЕМЛЕ БРЕСТА.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Брестской крепости было присвоено звание «Крепость-Герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В памяти навсегда...

Р. К. СЕМЕНЮК,
кавалер ордена Красного Знамени

В ПАМЯТИ НАВСЕГДА останутся слова майора Гаврилова. В одно из недолгих затиший он подозвал меня и спросил: «Где знамя?» Я ответил: «При мне» — и положил руку на грудь, где под гимнастеркой уже несколько дней носил знамя дивизиона. Вот тогда он и сказал мне те слова: «Хорошенько спрячьте знамя, Семенюк. Его надо обязательно уберечь, МЫ ЕЩЕ ВЕРНЕМСЯ В БРЕСТ!»

...Кругом все горело. Жирные черные клубы валили из разбитых немецких танков, из окон горящих зданий. Артиллерийский обстрел сменялся атаками. Грохот, гул. Куда прятать знамя? Рядовые Фольварков, Тарасов и я прихватили несколько гранат, перебежками добрались до одного из казематов Восточного форта. Немцы были уже близко. Мои товарищи прикрывали меня, а я забежал в каземат, где выкопал неглубокую яму. Потом вынул знамя, завернутое в двойной чехол, и положил его в брезентовое кавалерийское ведро, для верности прикрыл цинковым и быстро закопал, присыпав щебенкой. Фашисты были в нескольких десятках метров. Надо уходить. В последний раз я огляделся, пытаясь оставить в памяти хоть какую-нибудь деталь, примету. Но немцы были уже за спиной. Тарасов крикнул: «Отходим!» И мы нырнули в развалины.

...После неудачных прорывов через Брестские ворота и на западный берег Буга стало ясно, что задача у нас одна — уничтожить немцев как можно больше и как можно меньше пропустить их на восток. И мы их били! Честное слово, хорошо били!

Потом был прорыв, выход из окружения, встреча с партизанами.

А Победу я встретил на Эльбе.

И вот в сентябре 1956 года я приехал в Брест. Меня ждали. До сих пор не было обнаружено ни одного знамени героического гарнизона. Хотя и среди фашистских трофеев их тоже не оказалось.

...Крепость сильно изменилась за прошедшие годы. Я волновался — смогу ли найти то место. Ведь казематов было около пятисот. Но все же я нашел его сразу. Вошел внутрь, наклонился... Пол был выложен ровно, ни щербинки. А ведь тогда здесь было все завалено. В глазах у меня потемнело. Неужели, думаю, забыл? Я вышел наружу. «Это не то место». Объяснил, в чем дело. И тут молодой старшина смущенно подошел ко мне: «Товарищ Семенюк! Так это ж я с солдатами здесь все выравнивал. Но ничего здесь не было...» Ломом вскрыли кирпичный пол. Саперной лопаткой я копнул раз, другой, и тут что-то помешало. Я аккуратно разгреб руками землю и вынул остатки ведра. Брезентовое ведро и полотняный чехол тоже сгнили. Но двойной шелковый чехол сохранил знамя. Я достал, развернул его, и на полотнище золотом блеснуло: «393 отдельный зенитный артдивизион». Сердце сжалось. Я вспомнил слова майора Гаврилова: «Мы еще вернемся в Брест»...

П. П. КОТЕЛЬНИКОВ.
кавалер ордена Отечественной войны II степени

ПОМНЮ НАШ мальчишеский военный совет в подвале разбитой казармы. Стараясь перекричать грохот разрывов, вой мин, машинально стряхивая со стриженых макушек штукатурку, сыпавшуюся с потолка, мы решили, несмотря на предложение командования покинуть крепость с женщинами и детьми, остаться в ней. Так и доложили: «Пусть мы только воспитанники, но носим форму советских солдат и считаем, что наше место здесь...»

Нас было пятеро воспитанников гарнизонного оркестра: Петя Васильев, Володя Измайлов, Петя Клыпа, Володя Казьмин и я. Старшему было семнадцать, а мне, самому младшему, двенадцать лет.

Время перестало делиться на день и ночь. Для нас существовало лишь время обстрела и атак, время коротких передышек, когда немцы через громкоговоритель обращались к нам с очередным ультиматумом. Мы стали взрослыми. Уже не возникало детское любопытство поближе разглядеть врага — мы нагляделись на него, ползая по трупам в поисках боеприпасов, нас не смущал запах разлагавшихся тел, а смущал запах еды, которой становилось все меньше; мы научились ходить за водой, в разведку и выбирать позицию, бросать гранаты и наблюдать за войсками врага, притаившись на втором этаже казармы. Но главное, мы обрели чувство, которое ломало страх. Это было чувство единства, готовности разделить нашу, ставшую общей, судьбу, которая заключалась в двух словах: «Стоять насмерть!» Наверное, это чувство владело и Петей Васильевым, когда он поднялся в бой, ставший для него последним. Это же чувство владело и Петей Клыпой, когда он вместе с другими солдатами бросился в отчаянный прорыв на западный берег Буга. Это же чувство владело мной, когда пришлось сойтись в рукопашной с фашистскими автоматчиками в Западном форте. Вспоминая те страшные дни обороны, мне не удается воскресить в памяти ни одного лица, хотя многих защитников крепости я знал, ни одного эпизода — все сплелось в воющем, ревущем, грохочущем вихре, окрашенном в кровавые цвета. И сегодня, стоит закрыть глаза — и видишь лица, искаженные яростью, искалеченные тела, вспышки среди руин. Но, что я особо отчетливо вижу, это тела в серо-зеленых мундирах и их руки, протянутые вперед...

Я стал кадровым военным и закончил свой путь здесь, в Бресте, родном для меня городе. Мне часто приходится выступать перед пионерами и школьниками, повязывать ребятам галстуки, вручать им комсомольские билеты, и всякий раз я думаю о том, что на смену нам приходят прекрасные люди, умеющие смеяться и петь, стремящиеся к знаниям, умеющие мечтать и воплощать свои мечты в жизни.

Я знаю, они всегда смогут отстоять нашу страну, как когда-то сделали это герои Брестской цитадели...

С. БОБРЕНОК,
ефрейтор погранзаставы имени
Героя Советского Союза А. Кижеватова

МОЙ ОТЕЦ, Сергей Тихонович Бобренок, часто рассказывал о службе на погранзаставе. Он вспоминал предвоенное время. Рассказывал он интересно, вспоминая все до мелочей. А мы с сестрой слушали его раскрыв рты. Но к тем страшным июньским дням 41-го он возвращался очень редко и неохотно. Повзрослев, я понял, что отец не любил вспоминать войну... Только оказавшись здесь, я узнал о том первом дне и о первом бое, который приняла застава, где служил мой отец...

...Светало, когда Сергей Бобренок вернулся из дозора. Усталый, он сел на табурет и прикрыл глаза. И в этот момент оконное стекло раскололось от страшного взрыва. Рухнул потолок. Помещение наполнилось дымом. Потом еще взрыв, еще...

Немцы шли в полный рост, положив руки на вороненые стволы автоматов. Они были уверены, что застава уничтожена. И тут из развалин, подвальных щелей, амбразур оставшиеся в живых открыли огонь...

Вместе с другими защищал крепость и Сергей Бобренок. Он бился в рукопашной и бросался на прорыв, видел смерть друзей и сам был ранен...

...Я всегда испытываю волнение, когда прихожу в музей и с фотографии на меня смотрит молодой парень, мой ровесник, мой... отец. Здесь я всегда вспоминаю слова, которыми он меня проводил на службу: «Служи, сын, и помни, что служба пограничника особая. Служи Родине так, как служили защитники крепости — мои друзья...» До конца понял смысл этих слов только на заставе. Я и прежде знал о героической обороне крепости, но, если честно, привыкли мы к словам о героизме, к обелискам. Когда я впервые попал в крепость и представил, что мой отец... вот здесь... сражался среди руин... Ком в горле встал. Здесь, на земле, где каждый камень, каждая пядь земли полита кровью, нельзя просто жить, просто служить. Здесь особый отсчет дел и поступков... Ведь мы наследники славных традиций отцов, суть которых высечена на мраморе у Вечного огня: «СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ»...

Прежде я задавал себе вопрос: «А смог бы я вот так, как они?» И, по правде говоря, не находил ответа. Теперь же я твердо могу сказать: «Смогу!»

Материал подготовлен корреспондентом журнала «Молодая гвардия» А. Кусургашевым

В памяти навсегда...

РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!

ПРОВОЖАЛА СЫНОВ НА ПОДВИГ...

Седая женщина, а за ней — лес штыков. Женщина смотрит тебе прямо в глаза. Одна рука вскинута высоко в призывном жесте, в другой — текст военной присяги. Сурово лицо женщины, тревожен и требователен взгляд: наступил грозный час испытаний. «Родина-мать зовет!»

Этот плакат, как и песня «Священная война», сразу же стал одной из самых ярких примет Великой Отечественной. Сейчас я сижу в мастерской Ираклия Моисеевича Тоидзе, и старый художник вспоминает то двадцать второе июня...

С УТРА ОН, как обычно, работал — делал очередную иллюстрацию к «Витязю в тигровой шкуре». И вдруг по радио прозвучало короткое и страшное слово — «война». Рисунок к поэме Руставели так и остался незаконченным. Художник вспоминал мадонн Рафаэля и Леонардо, героинь Делакруа, женщин на холстах Ряжского и Дейнеки — каким глубинным пламенем, каким величием духа обжигают их глаза!.. Да, он тоже должен сейчас, немедленно написать женщину, Мать, но не просто мать, а мать-Родину, которая благословила бы своих сынов на смертный бой с фашизмом.

Он торопливо сделал карандашный набросок... А назавтра художник отнес готовый плакат в издательство. Через неделю люди увидели эту женщину в алом платье, изображенную во всю огромную стену здания Центрального телеграфа, — и остановились, потрясенные. И это была не просто удача художника, потому что плакат являл собой самую суть истинного искусства, властно соединившего «мое» и «твое» с неизмеримо большим — с народной судьбой, судьбой Отечества.

Глядя в глаза этой седой женщины, люди невольно подтягивались: в их сердцах поднималась любовь к Отчизне, полыхала ненависть к захватчикам; уходили на фронт, а над перроном звучало: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой...», и провожала в этот бой своих сынов женщина-Мать...

Л. СИДОРОВСКИЙ

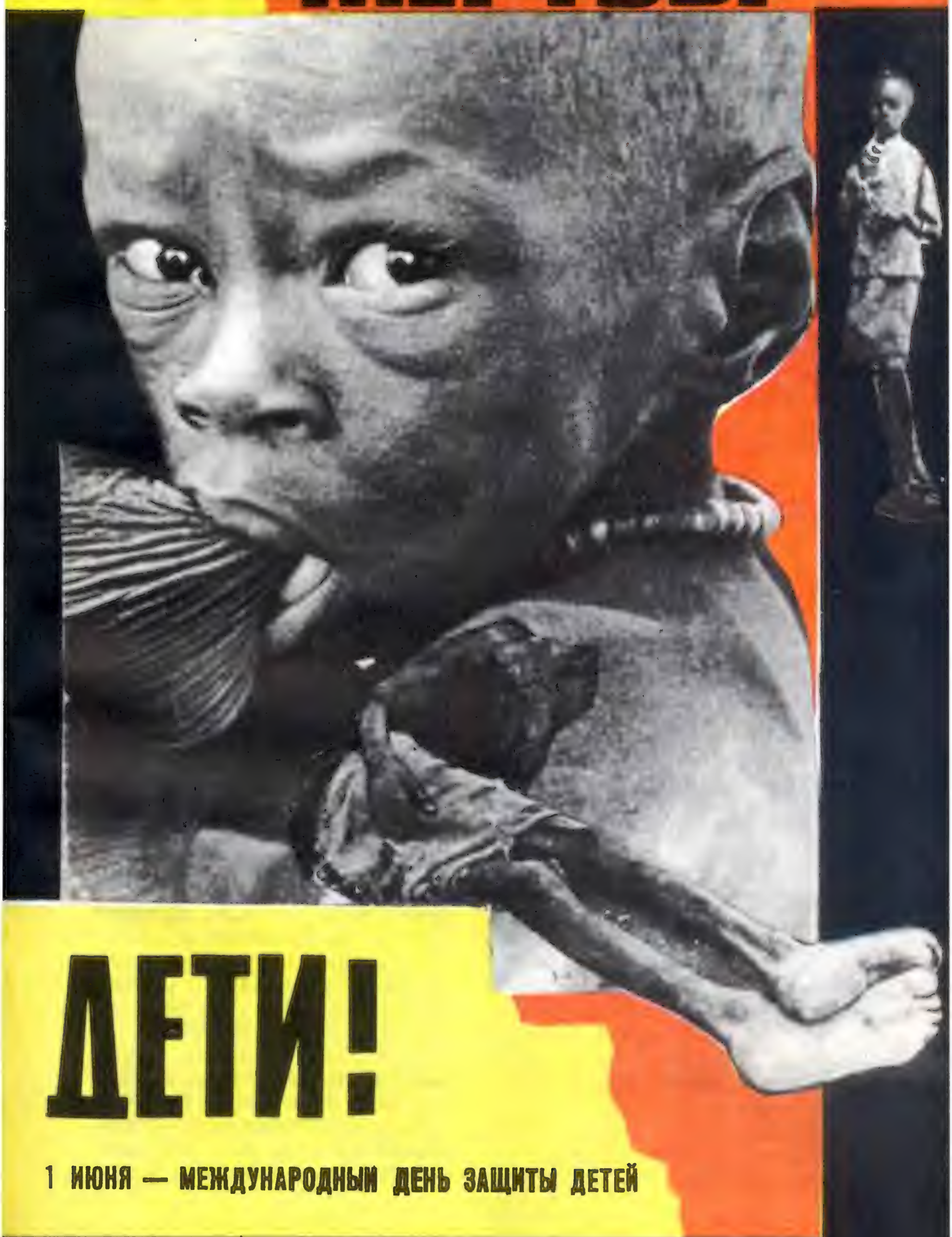
БОЛЬНОЙ РЕБЕНОК УМИРАЕТ ОТ ТОГО, ЧТО МАТЬ ДАЕТ ЕМУ НЕ ТО ЛЕКАРСТВО ИЛИ КОРМИТ ПИЩЕЙ, КОТОРУЮ ЕМУ ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ.

ТАКОВА НЕРЕДКО СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ АФРИКИ, ГДЕ УРОВЕНЬ НЕГРАМОТНОСТИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТИГАЕТ 75 ПРОЦЕНТОВ (В АЗИИ — 50, ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ — 25).

НЕГРАМОТНОСТЬ — ОДНА ИЗ САМЫХ ЗЛОБОДНЕВНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН...

ЗАСУХИ, ЭПИДЕМИИ ПРИНОСЯТ АФРИКАНЦАМ НЕИСЧИСЛИМЫЕ БЕДСТВИЯ. СОТНИ ТЫСЯЧ ГОЛОДАЮЩИХ ЛЮДЕЙ ТОМУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. НО НЕ МЕНЬШИМ, А НАМНОГО БОЛЬШИМ ЗЛОМ ДЛЯ АФРИКАНЦЕВ БЫЛ КОЛОНИАЛИЗМ, НИЗВЕДШИЙ ИХ ДО СТАТУСА РАБОВ, ПРЕВРАТИВШИЙ КОЛОНИИ В АГРАРНО - СЫРЬЕВОЙ ПРИДАТОК МЕТРОПОЛИЙ.

ЖЕРТВЫ-



ДЕТИ!

1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ГОЛОД — ВРАГ НОМЕР ОДИН

Глаза детей полны недетской тоски. Осунувшиеся лица сморщились. Кожа свисает складками. Дети с трудом передвигаются, у них болезненно разбухшие животы. Маленький мальчик берет грудь матери, но молока нет...

Эти фотографии обошли страницы мировой печати, когда во многих африканских странах разразилась невиданная за последние десятилетия засуха. Сотни тысяч голов скота, погибшего от голода и жажды. Десятки тысяч хронически голодных людей. Сегодня такая же картина повторяется вновь. Миллион человек в Сомали. Два миллиона в Уганде. Два миллиона в Северной Кении и Судане... Более 10 миллионов жителей Восточной Африки голодают.

В голодных районах Африки нет ни жиров, ни сахара, ни муки. Есть только последние капли высыхающей воды в озерах и реках. В последние годы дожди здесь стали редкостью. Урожаи погибали на корню.

Почему голодает Африка?

Виновник голода — колониализм. Ведь именно крупные европейские державы заставили уродливо развиваться экономику своих колониальных владений в угоду гастрономическим интересам метрополии — растить фрукты, арахис, кофе... В Европу и США вывозили к тому же железо, золото. А оттуда? В Африку шли дешевые товары, яркий ширпотреб, который трудно сбыть у себя на рынках. Последствия такого развития сегодня налицо.

Голод побороть трудно, для этого нужна развитая экономика. Африканским странам помогают. Различные организации, действующие под эгидой ООН, посылают сюда продовольствие, медикаменты, одежду. Но помощи все время не хватает... Голод остается врагом номер один.

КАК НА ЗАРЕ КАПИТАЛИЗМА

«Когда в ФРГ говорят о детском труде, то большинство людей сразу же соотносят это с эпохой становления капитализма, — сказал недавно один западногерманский радиокомментатор. — Никто не хочет верить, что у нас отмечено много случаев эксплуатации детского труда. Как будто не существует закона 1976 года, запрещающего труд детей моложе 15 лет».

Да, существует закон, но на деле все обстоит иначе. Привлечение малолетних на тяжелые работы приняло сегодня в «свободном мире» массовой характер. По предварительным оценкам, в ФРГ около 300 тысяч детей занято в промышленности, торговле и сельском хозяйстве. Вот лишь несколько примеров.

Члены комиссии, проводившие осмотр строительных площадок в Мангейме (ФРГ), застали четырнадцатилетнего школьника за тяжелой физической работой. После расспросов выяснилось, что юноша уже пять дней не посещает уроков и зарабатывает деньги, копая глубокие ямы... Одиннадцатилетний ребенок работал с 7 до 18 часов с двухчасовым перерывом на одной из боннских строек. Другой его сверстник потерял ступню: нога попала в механизм транспортерной ленты. За 10 марок в день двенадцатилетний гамбуржец с 8 до

15 часов моет столы в столовой. Неподалеку в фотоателье трудится девятилетний ребенок. Его рабочий день длится более 8 часов.

В чем же причина того, что, с одной стороны, стремительно растет уровень безработицы среди молодежи, а с другой — увеличивается число малолетних рабочих на различных предприятиях? В том, что детский труд приносит высокие прибыли. Ведь плата за труд ничтожна, к тому же нечего беспокоиться ни о налогах, ни о страховке...

УЧЕБА ПОД САПОГОМ

В Израиле гордятся солнечным небом. Оно — во всех красочных проспектах для иностранных туристов. Но солнце светит одинаково не для всех. Палестинцы, «люди второго сорта», не чувствуют себя здесь как дома. Они с самого раннего детства живут под серым и мрачным небом.

Смуглокожие девочки и мальчики в традиционной школьной форме — голубых блузах и рубашках — сразу бросаются в глаза. Это арабские школьники захваченных израильтянами районов. Их можно встретить в Рамаллахе, Иерусалиме, Бетелеме... Сколько еще препон встретится им на пути, прежде чем они закончат свое образование? Учительница из Рамаллаха рассказывала, что во многих школах для арабо-палестинских детей в районах, оккупированных Израилем, несколько месяцев после начала учебного года не было учебников. Да и не только учебников: из-за нехватки классных помещений занятия во многих деревнях и городах ведутся под открытым небом. Ситуация ослож-

«Сальвадорцы, покидающие свою родину. В Мексике их 50 тысяч, Гондурасе — 60, Никарагуа — 7, Коста-Рике — 15, Панаме — 10 тысяч». Эти цифры можно прочесть на плакатах во многих странах Латинской Америки. Но эти цифры, как сообщает корреспондент газеты французских коммунистов «Юманите», не отражает действительного положения вещей, истинной драмы сотен тысяч сальвадорцев, вынужденных бежать от кровавого террора хунты и военизированных банд головорезов.

Снимки, на которых видны дети с изможденными лицами, нередки на страницах мировой печати. Но есть и другие снимки. Вместе со взрослыми на защиту народа встает юное поколение борцов. Им еще нет и пятнадцати, но они уже умеют владеть оружием, знают, что такое боль утраты и радость победы!..

няется усилившимися провокациями сионистских кругов по отношению к арабскому населению. Оккупационные власти вынудили многих учителей прекратить преподавательскую деятельность, ибо их работа не угодна сионистскому режиму. Только половина всех детей в оккупированных районах имеет возможность ходить в школу. Большинство из тех выпускников школ, которые хотят продолжать обучение, не получают такого права. Руководство израильских университетов распорядилось принимать ограниченное число арабских студентов. Некоторые факультеты вообще закрыты для арабов, например, электроники, авиации.

Правоэкстремистские группы сжигают арабские книги. Фелиция Лангер, член Компартии Израиля, известная израильская юристка, которая мужественно борется за сохранение арабоязычного культурного наследия, заявила как-то в одном телевизионном интервью: «Нас называют народом мыслителей, внесшим большой вклад в мировую культуру. Но нынешняя политика Тель-Авива перечеркивает все, достигнутое нами».

15 процентов населения Израиля — палестинцы. 60 процентов из них — моложе 18 лет. Одни только эти данные требуют необычайно внимательного отношения к проблемам образования арабской молодежи в Израиле. Однако политика сионистских кругов в области образования направлена на то, чтобы преподать молодежи ровно столько знаний, сколько хватит для вспомогательного рабочего на повале леса, обводнении или строительных работах. Израильтяне цинично говорят: «Без арабов мы бы не смогли так много строить».

За «образованием» арабских школьников начальных классов (а их 22 процента от числа всех учащихся в школах) следят чиновники «Арабского отделения» при министерстве образования, главные посты в котором занимают израильтяне. Арабы лишены права даже обсуждать проблемы детского обучения.

«Все неизраильское должно быть уничтожено» — этот лозунг израильских властей направлен прежде всего против арабской молодежи, вынужденной учиться под сапогом сионистов.

ДЕТИ НА ПРОДАЖУ

На фабриках и заводах Таиланда работают 900 тысяч детей. Работорговцы (здесь уместно именно это слово) привезли их в Бангкок, там детей доставили на предприятия и заставили работать без зарплаты и без выходных. Между тем правительство опровергает факты торговли людьми в стране.

Вот рассказ корреспондентов западногерманского еженедельника «Штерн».

...Четыре часа утра на главной автобусной станции в Бангкоке. «Бирарам, Хаадия...» — слышится пронзительный голос служащего, выкрикивающего маршруты прибывающих и уходящих автобусов. Мы ожидаем трех детей, предложенных нам торговцами. Купить их — единственный способ доказать факты работорговли в современном Таиланде. Наш переводчик замечает детей первым. Впереди идет посредник в черных очках. Чуть сзади — маленькая девочка в сером тряпье, которое едва прикрывает тело. Потом — мальчик с черными

стрижеными волосами. В одной руке у него целлофановый пакет, другой он трет глаза. Рядом с ним — совсем еще мальчишка, он выглядит просто крошечным. Все трое усаживаются на бетонную скамейку, тесно прижавшись друг к другу.

Их родина — провинция Бирарам, одна из беднейших в стране. Тонг Дум — самый старший из них, ему двенадцать. За него мы заплатили 170 марок. Он относится к «сильным», если использовать терминологию торговцев. 140 марок стоила одиннадцатилетняя Бонлай. Мон того же возраста, за него отдано 130 марок. Теперь они «наши», Им повезло, ибо до нас были другие покупатели. Тонг Дума продали на стеклянную фабрику, где он должен был носить тяжести. Бонлай — на прядильную. Позднее судьба непременно уготовила бы ей один из детских борделей, которые в Бангкоке именуются «чайными». Мон, самый слабенький, предназначался для ресторана. Но мы предложили чуточку больше и таким образом смогли вернуть детей их родителям. Родителям, которые продали детей потому, что им нужны были деньги, чтобы не умереть с голоду...

«Наши» дети — лишь трое из пятисот, которым по 10—15 лет и которые еженедельно продаются для фабрик Бангкока. Эти цифры сообщило нам лондонское «Общество по борьбе с рабством».

В чем же заключается их труд? Они должны стоять у рукояток прессов или сколачивать тяжелые ящики, шить и штамповать пакеты, вырезать фигурки из жести — часто по 12 часов в день. Кроме еды, они не получают ничего, да и сама пища нередко состоит из

«Мы полностью отдаем себе отчет в огромной сложности и масштабности проблем, стоящих перед героическим Афганистаном», — говорил Генеральный секретарь ЦК Народно-демократической партии Афганистана, Председатель Революционного совета, премьер-министр республики Бабрак Кармаль. Действительно, стране предстоит огромная работа во всех областях политической, экономической и культурной жизни. Сейчас в Афганистане начался новый этап революционной активности масс — период упрочения завоеваний апрельской революции 1978 года. И именно молодому поколению независимого Афганистана предстоит решать большинство этих проблем. Тем, кто сегодня учится в школах и вузах. Тем, кто помогает своим братьям и отцам охранять завоеванное в схватках с внутренней и внешней контрреволюцией.

одних сладостей. Часто хозяева угрожают детям расправами и наказывают их. Многие из маленьких рабов не видят дневного света, их жизнь целиком проходит на фабрике: там они работают, получают трехразовое питание, спят часто на холодном цементном полу прямо у станков.

«Купив» детей, мы прежде всего их накормили. Они ели так, будто не видели пищи несколько дней. А потом мы отвезли их в их родную провинцию Бирарам к родителям...

...По данным ЮНЕСКО, в капиталистическом мире незаконно эксплуатируется труд пяти миллионов малолетних граждан.

ТАКОЕ РАЗНОЕ ДЕТСТВО...

Как только малышу исполнится семь лет, ему нужно будет идти в школу. Но пойдет ли он в школу — неизвестно. Ибо шансов получить образование у него очень мало. Так же мало у него шансов устроиться позднее на работу.

Такова судьба «среднестатистического» ребенка развивающихся стран, одного из 814 миллионов неграмотных людей, живущих сегодня в мире.

В Африке 75 процентов населения еще не умеет ни читать, ни писать. В Азии эта цифра достигает 50, в Латинской Америке — 25. С 1950 года число неграмотных увеличилось на нашей планете на 83 миллиона.

Общая картина, нарисованная в докладах ЮНЕСКО, посвященных проблемам образования, весьма неприглядна. Особенно мрачна она для большинства стран, бывших когда-то колониями европейских держав. Колониальная эксплуатация, экономическая, социальная и культурная зависимость, неоколониализм, расовое угнетение — вот главные причины пугающе высокого уровня неграмотности.

Между числом неграмотных и общей социально-экономической отсталостью прямая связь. Низкий уровень экономического развития не позволяет развиваться системе образования. Но в то же время ликвидация неграмотности стала ключевым фактором дальнейшего развития этих стран. Новые школьные программы, подготовка необходимых кадров, классных помещений — все это требует таких средств, которыми сами эти страны не располагают. Без интернациональной помощи дальнейшие шаги в этом направлении практически невозможны. Исключение составляют те государства, которые несколько подняли уровень своего экономического развития благодаря высоким ценам на экспортируемое сырье. Но пойдут ли эти средства на повышение образовательного уровня населения — зависит от многих причин. Решающее значение имеют не только средства, а последовательные прогрессивные реформы.

Классовый характер политики в области образования при капитализме выражается в падающем уровне грамотности. Растет число людей, которые лишаются прав на учебу, и капитализм оказывается бессильным осуществить эти основные социальные права молодежи. Примечательно, что неграмотность населения характерна не только для развивающихся стран, как это было принято считать раньше. В США, по официальным данным, сейчас более полутора миллионов неграмотных. Бо-

лее 13 процентов выпускников школ считаются здесь «функциональными неграмотными» (то есть людьми, которые лишь поверхностно знакомы с чтением и письмом), а в школах для «цветных» это число достигает 40 процентов. По данным, полученным из Великобритании, четвертая часть выпускников школ не в состоянии произвести элементарные арифметические действия, прочитать простые тексты и составить к ним вопросы. 12 процентов французских детей не получают законченного школьного образования. По сообщениям западногерманских журналов, в ФРГ ровно миллион неграмотных, а 22 процента школьников не сдают экзамен в обязательном девятом классе.

Эти примеры можно было бы умножить, назвав и другие капиталистические страны. Они доказывают неспособность правящих классов устранить противоречие между необходимостью повышать образовательный уровень населения в соответствии с требованиями НТР и стремлением правящих кругов ограничить права на образование. Плоды такого рода деятельности не замедливают сказаться.

Насколько тесно переплелись и укоренились в буржуазном обществе неграмотность, ущербность системы образования и падающий его качественный уровень, видно уже из того, что двое из трех неграмотных — женщины, и число таких людей растет очень быстро. Дискриминация осуществляется не только из-за принадлежности девушки или взрослой женщины к тому или иному классу. Главная причина — пол.

Низкий уровень образованности женщин, молодых матерей имеет особенно негативные последствия для социального развития страны — не по тому лишь, что лишается достижений прогресса значительная часть населения, но и потому, что женщины в более значительной, чем мужчины, степени ответственны за детское воспитание и образование. А какое образование они могут дать ребенку, если сами неграмотны? Сколько младенцев умирают только оттого, что матери не распознают и не лечат простейшие болезни, когда рядом нет медика? По данным ООН, детская смертность сходит на убыль быстрее всего там, где люди достигли высокого уровня образования.

Если внимательно проанализировать пессимистические высказывания некоторых западных политиков и их тезис о «непреодолимых препятствиях», то окажется, что виной всему — высокий уровень рождаемости в странах с низким уровнем грамотности. И что это-де единственное препятствие для развертывания программ по ликвидации неграмотности. Сколько бы ни создавалось новых школьных мест, их все равно переполнит волна вновь родившихся...

В социалистических странах другой взгляд на эту проблему. В следующее тысячелетие мир мог бы шагнуть без тяжелого порока, если бы начала осуществляться разработанная ЮНЕСКО крупномасштабная программа действий против неграмотности, если бы капиталистические державы приняли, наконец, предложенный миром социализма курс на сокращение вооружений, чтобы освободить значительные средства для осуществления этой программы.

В. НИКИШИНА

Фото автора
Л. ШЕРСТЕННИКОВ

«АРГУС»

Александр Македонский на дне моря: быль или вымысел?

●

Из истории исследований морей и океанов.

●

Роботы на борту «Аргуса».

●

Сколько золота в океане?

●

Взгляд сквозь зеленую толщу воды.

ЕСТЬ СТАРИННАЯ гравюра, на которой изображено, как Александр Македонский в стеклянной бочке, опускаемой с корабля на цепях, погружается в подводное царство. Вымысел это или быль?

— Каких только сооружений не придумывал человек еще со времен древности, чтобы проникнуть в таинственную зону — морские толщи, — говорит Николай Николаевич Гребцов, главный конструктор глубоководного аппарата «Аргус». — Подводная лодка — изобретение отнюдь не наших дней. Лодки делались из дуба и сосны в виде баркасов и бочек, колпаков и колоколов. Кстати, и настоящие колокола тоже пытались приспособить к этому делу.

Люди надевали жесткие скафандры и легкие маски, в которые воздух подавался по шлангам. Но настоящей революцией в освоении морей и океанов стало событие, происшедшее уже на нашей памяти, — изобретение акваланга, подводных легких.

«Аргус» — аппарат иного типа. На любой глубине давление внутри аппарата — комнатное, температура тоже, а наблюдение ведется через иллюминаторы.

Под воду спускаются и рядовые исследователи, и крупные ученые, солидные академики. И у каждого к океану свои вопросы...

У исследователя в руках — крошечный пультик. Нажал на кнопки — механическая рука, что снаружи аппарата, зацепила кусок породы, повернулась, уложила в специальный лоток, который тут же плотно прижался к аппарату, чтобы не растерять содержимого. Если нужно взять пробу воды, пожалуйста, есть нужное приспособление.

Основная масса воды на земле морская, не пригодная ни для полива, ни для питья. Но еще Менделеев предсказывал, что со временем океан станет одним из главных снабженцев человечества. Почти с первых лет Советской власти у нас в стране из морской воды извлекается магний.

Известно, что из одного кубического километра морской воды можно добыть свыше миллиона тонн этого металла. Потрясающая цифра! Но ведь в этой воде не только магний. В каждой пригоршне Мирового океана содержится золото — по оценкам специалистов, в морских водах столько золота, что если бы его удалось извлечь, то на каждого жителя Земли пришлось бы в среднем по три тонны. Серебра — по шестьдесят тонн, тория и молибдена — по сто! Сказочные богатства!..

А под водой — твердь. Что в ней? Да все, о чем только может мечтать человечество! Первым из этих богатств человек успешно осваивает нефть. За последние десятилетия люди научились проникать на значительные глубины, строить под водой, бурить, сваривать металл; подводные строители монтируют, заменяют износившиеся части конструкции новыми чуть ли не с той же быстротой, что и на земле.

...Сегодня на пляже многолюдно: всех привлекло показательное погружение глубоководного аппарата «Аргус», через борт которого я уже перекидываю ногу. Проскользнув сквозь узкий люк, устраиваюсь на жестком матрасике. Теперь от внешнего мира я заслонен многомиллиметровой стальной броней и прочным стеклом. В иллюминатор видны широкие протекторы стальной платформы — на ней лежит аппарат. Видна согнутая в «суставе» механическая рука «Аргуса». Стальной трос, уползающий под брюхо платформы, вздрагивает, натягивается, и скоро в поле зрения появляется вода, подступает все ближе и ближе, и вот уже плещется, зеленоватая, у самого лица, делит иллюминатор зыбкой, колеблющейся линией на две половинки. Верхняя быстро тает, и прозрачный полусвет обнимает нас. Тянусь в карман за носовым платком, чтобы смахнуть со стекла навязчивый блик, и только тут понимаю, что это не призрак: за окном маячит крохотная, прозрачная, как солнечный зайчик, медуза. Мелькнули черные тени: аквалангисты! Сейчас они ослабят крепи, сбросят цепи, удерживающие нас на платформе.

Пилоты получают по рации разрешение на самостоятельный маневр, и наш плавучий дом включает двигательные установки...

КОРОЛЕК
ОПЕРНЫЙ ТЕАТР ЮНЫХ АРТИСТОВ

НЕ ПРАВДА ЛИ, симпатичное имя выбрал себе этот школьный театр! Какое-то радостное и вместе с тем забавное и сказочное. А где сказка, там всегда волшебные превращения и замечательные герои, которые умеют с честью выйти из самых запутанных ситуаций, доказать, что зло, даже самое-самое изощренное, обязательно наказуемо, а добро непобедимо. И зрительские сердца всегда расположены к добрым, сильным сказочным героям, которые покровительствуют слабым и беззащитным. А если эти герои еще и поют...

Да да, именно поют. Потому что театр «Пейалпойс» — «Королек» (а еще его название можно перевести как «Мальчик с пальчик» или «Гном») — оперный театр.

Слева: школьница Регина Каллас в роли Золушки

Главный режиссер театра Виктор Нелик среди юных артистов

Конечно, хвастать нескромно, но это как раз тот случай, когда мы можем с гордостью подчеркнуть: коллектив из города Хаапсалу поистине уникальный, это единственный школьный оперный театр в стране.

Каждый согласится, что очень трудно научить ребят играть на сцене. Трудно хотя бы потому, что, с одной стороны, дети очень естественны в своих проявлениях, а с другой — испытывают органическую потребность в игре. Но детская непосредственность и сценическая заданность порой с величайшими сложностями уживаются друг с другом. А тут еще нужно не просто сыграть роль, а спеть ее и убедить зрителя в том, что иначе и быть не может, что именно вокал здесь необходим. И потому нужны очень знающие и очень тонко чувствующие люди, которые способны стать проводниками ребят в лабиринте самой загадочной тайны, имя которой — оперное искусство.

Артистам «Королька» повезло, а значит, повезло и театру: у него есть такие руководители. Это бессменный главный режиссер коллектива, учитель химии Виктор Нелик — ему театр просто обязан своим рождением, и дирижер симфонического оркестра, без которого не может обойтись ни один настоящий оперный театр, учитель электротехники Тыну Паометс. Ну а что касается юных артистов, то они просто влюблены в свой театр, во все, что связано с ним. Ведь даже реквизит они делают сами и готовы круглые сутки работать над каждым спектаклем, занимаясь разучиванием партий, сценическим движением, сочинением декораций. Именно сочинением, потому что любой спек-

такль предполагает творчество. И ребята без устали фантазируют, иной раз увлекаясь настолько, что руководителям приходится мягко напоминать, что пора «спуститься с небес на землю». Но сказка вновь и вновь поднимает юных артистов и кружит в радостном волшебном вихре...

Однако не забывают ребята и о том, что в театре не может быть отстающих. Лишь тем, кто хорошо учится, разрешается заниматься и играть в «Корольке». Это одно из главных условий. Потому и стараются артисты, которые без «Королька» прожить не могут.

Нельзя забывать и о том, что это оперный театр, без способностей здесь, как ни старайся, не обойтись. И руководители коллектива терпеливо работают со своими питомцами, стараются эти способности максимально развивать, учитывая, конечно, детскую индивидуальность.

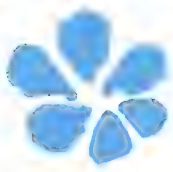
Двенадцать лет назад школьный оперный театр открыл свой первый сезон детской оперой «Зимняя сказка», которую написал эстонский композитор, Герой Социалистического Труда, народный артист СССР Эуген Капп. Успех был небывалый. Но коллектив юных артистов не соблазнился первым успехом, а, напротив, продолжал набирать высоту. Сегодня в репертуаре театра семь оперных спектаклей, среди которых «Волк и семеро козлят» М. Ковали, «Дюймовочка» А. Бендера, «Хрустальный башмачок» Э. Каппа. Премьерой оперы «Хрустальный башмачок», в основу которой легла сказка Шарля Перро «Золушка», ознаменовано открытие нынешнего сезона. В этом спектакле играют семь-десять юных любителей

театрального искусства; в сольных партиях, хоре и оркестре заняты ребята всех возрастов, начиная от малышей и кончая старшеклассниками.

Нет, не случайно этому театру присуждена премия Ленинского комсомола Эстонии 1980 года. Ведь решающее слово всегда за теми, кому адресовано любое произведение искусства, — за зрителями. А зрители — и хаапсалусцы, и гости города, и поклонники оперы, к которым «Королек» приезжает в гости, — единодушны в своем мнении: замечательное начинание, чудесные ребята, достойные уважения руководители. И как итог театр, который имеет полное право на жизнь в настоящем искусстве.

Эве АРУЛААНЕ
Фото В. РУДЬКО

Счастливого пути тебе, «КОРОЛЕК»!



ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ОБЛОЖКИ „ТОВАРИЩА“: КЕМ БЫТЬ?

В самом деле — кем быть? Тысячи профессий, хороших и разных, — выбирай на вкус, какая нравится, осваивай, становись Мастером, дерзай и твори.

У нас для тех, кто вступает в трудовую жизнь, открыты все пути. Можешь стать рабочим или врачом, инженером или шофером, плотником или моряком — все работы хороши и всюду для любого найдется место приложения сил...

Ну а четырехлетнему Илюше Косареву, которого вы видите на снимке, думать о том, где работать, чем заниматься, пожалуй, еще рановато. Впрочем, кое-какие планы есть и у него. Не стать ли, по примеру деда, военным летчиком? Или учителем, как мама?

Есть еще время подумать, разобраться, посоветоваться с любимой книжкой...

Фото Н. ВАСИЛЬЕВА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ИЮНЬ — САМЫЙ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ МЕСЯЦ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ. ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХА В ВАШЕМ ДОБРОМ ДЕЛЕ!

В это время собирают цветы арники горной, ландыша майского, бузины черной, ромашки аптечной, боярышника кроваво-красного, липы сердцелистной, бессмертника. Идет также сбор листьев наперстянки крупноцветковой, дурмана обыкновенного, белены черной, ландыша майского, брусники, полыни горькой, крапивы двудомной, мать-и-мачехи, толокнянки, трифоли.

В июне заготавливают траву анабазиса безлистного, горицвета (адониса) весеннего, желтушника серого, золототысячника зонтичного; пастушьей сумки, полыни цитварной (сантонинной), сущеницы болотной, тысячелистника, хвоща полевого, душицы, зверобоя, водяного перца, чебреца, иван-да-марьи, череды.

Собранные вами лекарственные растения сдавайте на приемные пункты потребительской кооперации. По всем вопросам техники сбора, транспортировки и хранения вы можете проконсультироваться у работников заготорганизаций райпотребсоюзов.

ЦЕНТРОКООПЛЕКТЕХСЫРЬЕ
ЦЕНТРОСОЮЗА

ПОВАРИЩ

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

Михаил БУБЕННОВ

ЖИЗНЬ И СЛОВО

Окончание. Начало на стр. 127

И тогда мы поняли, что край сибирский дальний отныне ожидают огромные, благодатные перемены, которые отразятся на всей нашей жизни. Как ни странно, но осуществлению наших мечтаний не помешала даже война. Наоборот, она подняла тысячи людей и вместе с их заводами двинула в Сибирь...

В годы войны мне посчастливилось воевать в рядах своих земляков, и поэтому я хорошо знаю, что даже во время тяжелых испытаний их никогда не оставляла великая дума. Все они, веря в Победу, в часы затишья вели разговоры не только о войне, но очень часто и о своей жизни после войны, о будущем своей родной Сибири. Моих земляков никогда не оставляли мечты увидеть родной край еще более обновленным, обжитым, цветущим. Здесь мне невольно вспоминается замечательная повесть Валентина Овечкина «С фронтовым приветом», в которой с редкой достоверностью воспроизведены солдатские раздумья и заботы о том, как надо хозяйствовать на земле после Победы. Так и мои однополчане-сибиряки: готовя оружие к бою, они чаще всего говорили, между прочим, о еще далеком мирном труде.

Вспоминается один случай на Смоленщине, послуживший мне тогда основой для небольшого фронтового рассказа. Около прифронтовой, совершенно обезлюдевшей деревеньки, в которой уцелело всего три избы, созрела рожь. Командир роты предложил солдатам: «Надо убрать. Косы есть. Скоро мы пойдем дальше, а сюда возвратятся хозяева, увидят убранные полоски — и нам спасибо скажут». И с какой же пленительной радостью косили солдаты рожь у той деревеньки!

Освоение земель и недр Сибири всегда было неугасимой мечтой

прежде всего сибиряков, отлично знавших, какими огромными производительными силами обладает их родной край. Именно эта народная мечта в конечном счете и стала родоначальницей той идеи и творческой силы, какие позволили нашей партии провозгласить грандиознейшие программы преобразования восточных земель нашего государства.

Но еще задолго до того, как прозвучал дерзкий трудовой клич, сзывающий народ на неслыханно грандиозное дело, в центральной печати с необычной новизной зазвучало одно слово, которое взбудоражило сибиряков, болеющих душой за свою землю. Это слово — целина.

Тогда я еще был занят трудной работой над завершением «Белой березы», но хорошо помню, как всем существом стал ощущать то таинственное волнение, какое непременно предшествует зарождению новой творческой мысли. Ведь речь-то шла о судьбе моего родного края, а я всегда испытываю к нему истинное сыновнее чувство.

И вот наконец-то прозвучал большой колокол!

Его вещий голос взволновал весь советский народ. Я побывал тогда на нескольких предприятиях Москвы и своими глазами видел, какой живой отклик нашел клич партии в народе. Всюду царило необычайное оживление и начинались сборы молодежи в дальние края. Не было отбою от желающих принять участие в освоении целины. Полнейшее добровольчество, какое наблюдается лишь в дни больших народных событий, было основой начавшегося величайшего движения молодого поколения Советской страны на целинные просторы.

Не везде, конечно, умело справлялись со сложной организационной работой, какую потребовало это массовое патриотическое добровольчество. Чего греха таить, кое-где были допущены досадные ошибки в отборе людей, но ведь дело-то для всех было новым, непривычным, а приходилось спешить — приближалась весна. В движении на целинные земли вовлекалась главным образом рабочая молодежь, в большинстве своем не имеющая никакого представления о труде земледельца. Тогда мне думалось, что на целину должно бы отправиться не меньше и молодых сельчан, особенно из южных и западных областей страны. (Мы знаем, что кое-кто именно из городской молодежи, не сумев обвыкнуть в непривычных сельских условиях, научиться работать от зари до зари, то днем, то ночью, под открытым небом, в любую непогодь, вскоре и распростился с целиной.) Одна-

ко общее впечатление от тех памятных дней у меня осталось самое отрадное, убедившее меня в том, что начатая битва за хлеб на целинных просторах закончится большой победой. Это чувство отрады, должно быть, еще более усилило во мне памятное творческое волнение.

Вообще тогда взволнованы были многие писатели, особенно те, кто особо интересуется трудовой и хозяйственной жизнью народа. Обостренное проявление нашей молодежью гражданственности, ее стремление посвятить Отчизне души прекрасные порывы не могли не пробудить их творческого интереса. Хорошо понимая, что освоение целинных земель и вдохновенный патриотический порыв молодежи навсегда войдут в нашу историю как одно из величайших общественных явлений, писатели не хотели оставаться в стороне от всколыхнувших всю страну событий. Помню, в Центральном Доме литераторов состоялось большое собрание писателей. В прекрасном старинном зале было произнесено немало горячих и деловых речей. Не обошлось, как водится, и без краснобайства.

Один известный писатель, величественно поднявшись над трибуной во весь огромный рост, театрально бил себя в грудь и произносил монолог:

— Товарищи! Осенью мы вернемся, как, бывало, с фронта, в запыленных гимнастерках, и напишем книги о битве на целине!

Но почему-то ему аплодировали неохотно...

Во время перерыва я повстречался с А. А. Сурковым. Он мрачновато заметил:

— А ведь ничего не напишет!

(Кстати, он оказался прав.)

Я сообщил Алексею Александровичу о своем решении отправиться на родной Алтай.

— Когда едешь? — спросил Сурков.

— Через неделю.

— Выступи сейчас же! — загорелся Алексей Александрович. — Скажи, что едешь! Именно это надо сейчас сказать!

— Нет, помолчу, — отказался я решительно. — Побуду там, а уж тогда, может быть, и выступлю. А еще лучше, пожалуй, выступить с книгой.

К этому времени как раз закончилось длительное лечение моей коварной болезни. Несколько лет я не мог далеко отлучаться от Москвы, а тут врачи дали мне вольную, и я обрадовался ей, как, бывало, радовались вольной крепостные...

II

В середине марта 1954 года я отправился на Алтай.

В Барнаул прибывали эшелоны с новоселами, как чаще всего называли тогда молодых людей, едущих поднимать целинные и залежные земли. Вокруг железнодорожного вокзала и клуба гомонили большие, шумные толпы. Шло распределение новоселов по районам края. Представители с мест принимали их с распростертыми объятиями, зазывали к себе, пуская в ход все свое красноречие. Тем временем у всех станций железных дорог, находящихся в пределах края, их уже поджидали тракторные сани с вагончиками, в которых стояли железные печки, лежали дрова, пимы, шубы, тулупы. О новоселах беспокоились: в первых числах марта хорошо пригревало, а тут так забуранило, что перемело все дороги, и опять приударила сибирская стужа.

Поехать я решил в самый отдаленный, Угловский район, граничащий с Казахстаном, где предполагалось поднять особенно много целинных и залежных земель. Этот район был мне хорошо знаком еще со времени моей юности.

В Рубцовске, ожидая машину, а потом по пути в Угловское я вволю насмотрелся на то, как отправлялись в степь новоселы, а вместе с ними колонны новеньких тракторов с Алтайского тракторного завода, санные обозы с культиваторами, плугами, сеялками, бочками для горючего. Это действительно в какой-то степени напоминало подготовку к бою. Движение в степь нарастало с каждым днем: все понимали, что морозы не продержатся долго, весна, по сибирскому обычаю, нагрянет неожиданно и быстро зальет все низинные места снежницей.

Уже в те дни я начал замечать в толпах молодежи, рвущейся в степь с самыми высокими помыслами, то странно унылых парней, прячущих от людей глаза, вероятно, мучающихся в каких-то раздумьях, то откровенно бесшабашных, шумно разговаривающих на каком-то тарабарском жаргоне. Я был поражен: откуда они взялись, как получили путевки на целину? Таких людей я не встречал, когда бывал недавно на предприятиях Москвы. Таких встречал лишь в Подмосковье; они часто кружили вокруг дач именитых москвичей в поисках легчайшего, но увесистого заработка и брались за любое дело, хотя и не знали как следует ни одного...

Тогда же я понял, что огромный поток замечательной молодежи, хлынувшей на восточные земли, захватил с собой и разный мусор, как и случается со всеми весенними потоками. Это навело на мысль, что такое обстоятельство неизбежно чревато раз-

ными неприятными конфликтами на целине. Молодые люди, мечтавшие познать свои духовные силы в предстоящей битве, не могли относиться равнодушно к своим антиподам, наделенным паразитическими взглядами на жизнь, пренебрежением к честному труду на благо народа.

...В давние времена наша семья прожила в Угловском районе два года. После многолетнего перерыва меня не очень-то порадовало чем-либо памятное районное село. Правда, в центре его появилось несколько больших деревянных зданий, но зато заметно поредели отдельные улицы, а на окраинах появились приземистые лачуги, где обитали разные — вольные и невольные — переселенцы, оказавшиеся здесь в годы войны. Но особенно гнетущее впечатление произвели на меня некоторые сильно обезлюдевшие села района. В них исчезли целые улицы! Одинокие, покосившиеся, вросшие в землю дома горестно стояли среди пустырей. У колхозных дворов были раскрыты соломенные крыши — полусгнившая солома пошла на корм скоту, который страдал от бескормицы: в последние годы здешний край жестоко выжигала засуха. Да на беду-то и весна сильно запаздывала. Колхозники бились из последних сил, борясь с бескормицей. По полям ходили снегопахи, сдирая слой снега и обнажая редкие былинки, которые тут же с жадностью подбирал оголодавший скот. Но можно ли было накормить его теми былинками? Из Среднеазиатских республик подвозили хлопковый жмых для сдабривания всего, что скармливалось бедной скотине. Но чем можно было сдобрить болотные кочки с перезимовавшей под снегом травой, какие везли на фермы? Едва начал сходить снег, стали выгонять на обсохшие гривы отары овец; шел скот, и много ослабших маток вместе с ягнятами погибало в степи.

Горько было наблюдать такие картины! В большой, очень большой беде оказались алтайские села той весной! А ведь кругом были плодороднейшие земли, которые могли давать много и зерна, и корма для скота!

Бедственное, неприглядное состояние алтайских сел, несомненно, произвело на всех приехавших издалека тяжелое, ошеломляющее впечатление. У большинства молодых людей, приехавших сюда с высокой целью, несчастье Алтая вызвало душевную боль, сочувствие старожилам и желание как можно скорее взяться за освоение целины, обещавшее благодатные перемены для здешнего сельского хозяйства. Но кое-кто заметно приуныл и потихоньку стал поговаривать об обратной дороге. О тех же, кто замышлял лишь чем-то поживиться на целине, и говорить нечего! Они начали незаметно исчезать, не дожидаясь выхода в степь. Но «землепроходимцев» было немного, никто

не жалел, когда они исчезали, и даже радовались их исчезновению: они уже изрядно всем надоели — устраивали буйные пьянки, драки, картежные игры. Именно по вине этого сброда некоторая часть колхозников в первое время несколько настороженно относилась к нахлынувшей молодежи. Между тем было очень важно, чтобы между старожилами и новоселами с первых же встреч установились добрые, деловые отношения: ведь им в большинстве случаев предстояло сообща осваивать целинные и залежные земли.

На Алтае не было бескрайних пустующих просторов, как в соседнем Казахстане, где создавались совхозы чаще всего в безлюдной степи. На алтайской целине и залежных землях совхозов было создано совсем немного. Там все земельные массивы были переданы на вечное пользование колхозам. Но людей-то в них после войны осталось мало, на одни рабочие руки приходились десятки гектаров разных земельных угодий! Как могли колхозники без достаточной техники управиться со всей своей землей? Вот почему вначале решено было оказать таким колхозам помощь людьми и техникой для освоения целины. При МТС были созданы особые новосельские бригады. Но вскоре обнаружилось, что это полумера. Она вызывает разные осложнения в отношениях старожилов и новоселов, а главное — не может дать необходимого экономического эффекта. Вскоре стало очевидным, что следует ради всенародной пользы возвратить излишки колхозных угодий в фонд государства, чтобы создать на них совхозы. И той же весной появилось специальное постановление правительства, в котором создание совхозов признавалось наилучшей формой освоения целины.

Так что на Алтае были свои особенности и трудности в начале целинной эпопеи, зачастую не уступающие тем, какие встречались в безлюдной степи. Впрочем, и в Казахстане новоселы нередко начинали жизнь в аулах и совместно с колхозниками принимались за освоение их целинных угодий.

III

Весна 1954 года на Алтае была на редкость запоздалой, затяжной и холодной. Но всем известно: там нельзя долго задерживаться с пахотой и севом, иначе для созревания пшеницы не хватит летнего солнца. Поэтому, не дожидаясь, когда сойдет снег, целинники вывели в степь трактора со всей прицепной техникой, а чуть обсушило обнаженную землю — начали прокладывать первые борозды на целине.

Еще зимой в Москве состоялись специальные совещания научных работников, занимающихся изучением сельского хозяйства. Были разработаны рекомендации по освоению целины. От местных органов требовалось, чтобы они строжайше следили за выполнением их на практике. Но в первый же день работы (это описано в моем романе «Орлиная степь») целинникам пришлось отказаться от многих «научных рекомендаций», созданных вдали от степных просторов...

Скажем, рекомендовалось перед пахотой для облегчения работы тракторов и наилучшего сохранения влаги дисковать целину. Но дисковать-то ее совершенно невозможно было: диски лущильников быстро замазывало сырой землей, смешанной с травой, и они превращались в земляные катки. Приходилось то и дело останавливать агрегаты и чем попало, иногда просто руками, очищать батареи. Попробовали менять углы атаки дисков — не помогло. После больших мучений выяснилось, что заниматься лущением целины перед пахотой не имеет никакого смысла. Надо сразу пускать плуги. Однако трактора ДТ-54 (а их было большинство) оказались слабосильными: они не могли тянуть плуг, приходилось снимать с него иногда по два корпуса, заведомо снижая его производительность почти вдвое. Но даже и при этом у плугов, не рассчитанных на тяжелые нагрузки, зачастую перекашивались и даже ломались рамы, тем более что в земле попадались еще мерзлые глыбы и встречались кусты карагайника — небольшого, но крепко сидящего в земле кустарничка.

Сам собой возник вопрос: может быть, в таком случае помельче пахать? Но на Алтае строго-настрого было приказано заглублять лемеха на весь гумусовый слой, чтобы глухо упаковывать дернину на дно борозды; в этом случае целлюлозные бактерии, с помощью которых она разлагается, не могут поглощать азот и фосфор из верхнего слоя пахоты, так необходимые для произрастания пшеницы. (Да и крестьянский опыт подсказывал, что верхний слой дернины для лучшего перепревания должен укладываться поглубже в землю.) Отступления от этого правила осуждались со всей строгостью. Мелко вспаханная целина в самом деле разделывалась с большим трудом и очень плохо: бороны таскали за собой тонкие пласты, куски дернины перемешивались с землей, многие из них оказывались на поверхности пашни вверх травой.

И уж совсем непригодными оказались отвалы: они плохо переворачивали пласт, не укладывали его точно в борозду, отчего на пахоте виднелись травяные «бороды». Все скоро поняли, что для целины нужны отвалы долотообразной конфигурации. Не-

понятно было, почему об этом не знали наши инженеры, занимающиеся изготовлением земледельческих орудий.

Вот с такими трудностями встретились молодые целинники, едва начав прокладывать первые борозды. Им пришлось не только осваиваться с непривычной работой, со сложной техникой, но и спорить кое в чем с наукой, добиваться усовершенствования разных орудий для целины.

Немало трудностей было и другого порядка. Прежде всего это касалось отношений с колхозниками, которые были хозяевами земли. Многие маломощные, обезлюдевшие колхозы до этого с горем пополам справлялись со своими довольно большими массивами пашен. Освоение новых массивов намного прибавляло им забот и хлопот. Даже радуясь начатому делу как многообещающей акции в государственном масштабе, колхозники не очень-то радовались ее осуществлению в границах своих земель. «Ну хорошо, новоселы поднимут нам целину, засеют ее, это не так уж трудно, — рассуждали они. — А когда поднимется на ней, как море, пшеница? Кто будет ее убирать? Новоселов-то мало!» Тревоги колхозников были обоснованны. Кроме того, многих колхозников, привыкших к сибирскому приволью, пугало, что все хорошие земли будут запаханы, останутся одни солончаки. Где же тогда пасти скот? Где брать сено? Наконец, старожилов обижало, что новоселам оказывалось слишком много внимания, всяческих поблажек и привилегий.

— Мы здесь всю жизнь работаем, а что получаем? — говорили старожилы. — А они только заявились — им все подавай!

С той весны для всех трактористов-колхозников, работавших в машинно-тракторных станциях, была установлена твердая, гарантированная денежная оплата труда. Было опубликовано и постановление правительства об увеличении цен на зерно, что позволяло хорошо оплатить труд колхозников по осени. Словом, уже принималось немало конкретных, действенных мер по подъему и укреплению колхозного производства. И все же пока что целинники оказывались как бы в более привилегированном положении, чем старожилы, ветераны колхозной жизни.

Однако следует особо отметить, что не одни новоселы участвовали в освоении целины. Несмотря на свои справедливые опасения, тревоги и обиды, им оказали огромную помощь старожилы, хозяева степей. Зачастую они, сибиряки, и возглавляли великое дело, о чем нельзя забывать, чествуя героев целины.

Не умолчим и о бытовой неустроенности целинников первой весной. Зачастую она происходила оттого лишь, что едва ново-

сельские бригады вышли в степь — надо было работать; на оборудование полевых станов недоставало времени. Впрочем, только очень немногих, пожалуй, не устраивала жизнь в палатках, землянках, вагончиках, да еще при ветреной, холодной погоде, завершившейся однажды буйной майской метелью. Со всем этим молодые целинники мирились довольно мужественно, иногда с некоторой наигранной лихостью и даже бравадой.

Но нельзя сейчас и преуменьшать, сглаживать трудности первой целинной весны. Конечно, они постепенно забываются, как все плохое в жизни, но их все же хватало через край. Поэтому у меня, фронтовика, при наблюдении за работой целинников часто возникали сравнения военного характера, что и нашло отражение в «Орлиной степи». Да, на целине шла битва, не простая работа, а именно битва за хлеб!

В борьбе с трудностями как нельзя лучше проявлялись характеры молодых людей, новоселов алтайской степи. В самых различных конфликтах, какие начали возникать с первых же дней их степного новоселья, одни из них показали все свои прекрасные качества, другие — не совсем прекрасные. Было чрезвычайно интересно наблюдать за сшибкой разных по духу натур, борением страстей, развитием сложных трудовых и житейских ситуаций. Все это давало большую пищу для творческих раздумий.

Сам собой определился метод моих наблюдений. Я не метался по степи, да меня и не всегда обеспечивали для поездок машиной. Знал, что если придется писать об освоении целины, то я, следуя своей манере, не буду, конечно, создавать произведение широкого масштаба, а ограничусь произведением на локальном материале. И поэтому я взял под свое постоянное наблюдение три бригады, где заприметил наиболее интересных, чем-либо понравившихся мне людей. А виделась-то мне составленная из таких людей всего одна бригада; мне казалось, что все, связанное с началом целинной эпопеи, должно отразиться в жизни одной бригады, как в капле — море.

Хотя я поехал на Алтай с одной лишь целью — быть свидетелем событий, которые — не сомневался — войдут в нашу историю, поехал, не имея никаких, даже смутных литературных замыслов, а лишь испытывая некоторое творческое волнение, мне очень скоро захотелось написать что-нибудь об освоении целины. И совсем не потому, что хотелось порадовать нашу критику «скороспелкой», — до них она весьма охоча. И не для того, чтобы нажить литературный капитал на новой, горячей теме, — думаю, что я не заслужил таких подозрений. Желание писать родилось прежде всего потому, что той весной я был пере-

полнен большой радостью: уже летом в моем родном краю должны плескаться под ветром золотистые волны пшеницы, а не торчать бесконечные волчьи бурьяны, что скоро здесь всюду загорятся огни новой жизни. И еще потому, что с первых дней освоения целины в моей душе невольно пробуждались воспоминания о битвах на полях войны, а о битвах как о проявлении высокого патриотического взлета народного духа я писал до последних дней, считая за счастье, что могу запечатлеть хотя бы очень немногие из картин нашей героической истории. Наконец, потому, что в начавшейся степной битве главным героем был молодой советский человек — самый любимый мой герой, в характере которого наиболее ярко отражалось как настоящее, так и будущее.

Да, я всегда любил писать о молодых людях, причем людях цельного, героического склада, живущих не «приземленной», мышиной жизнью, а жизнью яркого, ослепительного накала, высоких чувств и мыслей. В центре всех моих произведений, написанных к тому времени, стояли молодые герои, такие, как Мишка Мамай (повесть «Бессмертие»), Васька Ольхин (рассказ «Огонь в тайге») и Андрей Лопухов («Белая береза»). Конечно, я всегда понимал, что героем художественного произведения может быть человек любого возраста. Это бесспорно. Но ведь если присмотреться к нашему времени, сразу же заметишь, что решающая роль во всех исторических событиях принадлежала главным образом молодым людям — будь то революция и гражданская война, коллективизация и индустриализация страны, Великая Отечественная война, освоение целины. Да и вообще приятно писать о становлении человеческой личности, о том, как молодой человек осваивается в сложном и вечно изменяющемся мире, как познает себя и людей, наконец, как к нему приходит любовь — это чудо из чудес молодости. Я всегда считал и считаю, что описание того, как складываются, иногда в сложнейших условиях, в тяжелом борении не только с разными обстоятельствами, но подчас и со своей натурой, характеры таких молодых героев, лучше всего служит наивысшим целям советской литературы — воспитанию людей нашего общества. Нет, я никогда не собирался создавать идеальных героев, хотя считаю, что в этом нет ничего предосудительного: они ведь бывают в жизни, и не так уж редко, если вспомнить многие замечательные имена, принадлежащие не только истории.

На целине я как раз и встретил таких молодых людей, каких люблю изображать в своих книгах. Их было немало — и они были очень приметны. Все они были разными, но многое, очень многое роднило их: они были, можно сказать, близнецами по

боевому настрою, стремлению к горячей и трудной работе. Они еще не знали всех своих сил, возможностей и хотели познать себя до самых глубин своего существа, хотели утвердиться как личности, как бойцы передового фронта, каким являлось освоение целины.

Меня, правда, немного смущало, что я недостаточно хорошо знаком с рабочей молодежью. Как человек, выросший в деревне, я лучше понимал деревенских молодых людей или, по крайней мере, недавно вышедших из деревни. Таких немало повстречалось на целине. Кстати сказать, именно они, с детства знакомые с работой земледельца и сельским бытом, по моим наблюдениям, гораздо легче, чем городские парни, осваивались в степи. Все они были детьми войны; многие из них своими глазами видели, как бушевало ее пламя на нашей земле.

И мне невольно вспомнился один мальчишка, которого я встречал на фронте. Он был сыном танковой части и даже имел медаль «За боевые заслуги». С той поры, как мы встречались, прошло ровно десять лет; стало быть, высчитал я, тому храброму солдатику исполнилось уже двадцать два или двадцать три года. И мне подумалось, что он, покинув после войны пепелище на Смоленщине, где когда-то стояла родная деревня, и пожив в городе, сейчас непременно на целине, если не на Алтае, то в Казахстане. Я был уверен, что он, уже испытавший упоение в бою, не останется в стороне от битвы за хлеб. У него и тогда уже был своеобразный характер — горячий, азартный, напористый; за десять лет он мог уже стать человеком твердого, даже крутого нрава и непреклонных убеждений.

Так я нашел своего главного молодого героя Леонида Багрянова. То, что он мальчишкой был на фронте, позволяло мне вспоминать не только о недалеком военном времени и рассказывать о том, какое оно оказало воздействие на развитие его личности, но и сравнить его взглядом военные битвы с мирной битвой в степи. Это было очень важно для осмысления того пути, какой мы прошли за годы после Победы, а также и для понимания того, что она прибавила в нашей природе. Передо мною было много ровесников моего маленького однополчанина, которые так или иначе, но пережили военное детство. Поэтому мне не так уж трудно было нарисовать в своем воображении собирательный образ Леонида Багрянова.

Представлялся он мне далеко не идеальным, а со многими серьезными недостатками: он был излишне горяч и нетерпелив, иногда резок и грубоват, но с отходчивым сердцем; он был способен увлечься, скажем, своеобычной девичьей красотой, но и способен уже разобраться в своих чувствах, побороться не толь-

ко с другими, но и с самим собой за свое истинное счастье. По своей натуре он — вожак молодежи, умеющий идти впереди и своим поведением зажигать сердца идущих позади. Конечно, он был не из той «заземленной» породы, которая так нравилась тогда нашей критике. Мой Леонид Багрянов — человек, любящий труд, а значит, активно мыслящий, — должен был выступить в романе как яростный противник шумной толпы расхристанных, убогих умом недорослей, разгуливающих под одобрительный визг критики в тогдашней текущей литературе.

Повстречался я на Алтае и с ярко выраженным антиподом Леонида Багрянова, которого окрестил Степаном Дерябой. Его как раз прогоняли с целины после затеянной им пьяной драки. Он был из тех людей, которые, хорошо познав «отдаленные места», околачивались потом, пользуясь нашей склонностью к всепрощению, в городах, в поисках дешевого лакомого куска. Это был типичный тунеядец, каких расплодилось в ту пору множество, откровенно и злобно презирающий труд, даже похваляющийся своим презрением, возводящим его в высшую степень достоинства. Совершенно невозможно было уразуметь, каким чудом его занесло в далекий край. Таких людей я успел повидать немало, живя под Москвой, и мне он показался давнишним знакомым. Нарисовать его образ, показать, как он озлобился против людей и их святынь, хотя прежде и был хорошим мальчишкой, мне было легче легкого. Позднее под моим пером будто сама собой складывалась его нелегкая судьба.

Таким образом, у меня почти одновременно появились два героя — оба из простых трудовых семей; ровесники, у которых из детства простирался вдаль один лишь путь. Но одного военное лихолетье, пропустив сквозь горнило испытаний, возвысило как человека и обогатило народной мудростью, а другого обожгло, помяло, искалечило духовно. У них были совершенно противоположные взгляды на труд, на свое место среди людей, на все, что делает их людьми. Причем это различие во взглядах носило откровенно и резко антагонистический характер; схватка их на целине была закономерной и неизбежной. И я оказался свидетелем такой схватки.

Могут сказать, что такой конфликт далеко не нов в нашей литературе. Совершенно верно. Однако он один из самых характерных, самых значительных для советской действительности; сколько я помню себя, он всегда являлся наиболее злободневным для нашего общества. На целине же он развертывался с особенной драматической силой, причем в самых различных вариантах, всегда достигавших необычайной остроты. И я уверен, что этот конфликт не исчезнет из советской литературы до тех пор, пока

труд в нашем обществе не станет самой большой потребностью и самым большим счастьем каждого человека.

Запомнились мне и другие люди на Алтае — и новоселы и старожилы. Я взял их на особую заметку, еще не зная, конечно, появятся ли они в моей будущей книге. Вот, скажем, в том районе, где я находился, появилась девушка-агроном с Кубани. Она с необычайной энергией взялась за дело и вскоре обнаружила отличные практические познания в работе. А работа у нее была нелегкой. В колхозах еще довольно сильны были некоторые отсталые, отжившие свое представления о хозяйствовании на земле; встречалось немало людей, даже среди руководителей, слабо знакомых с передовой агротехнической наукой, боящихся расстаться со старинкой. Мне не однажды приходилось наблюдать, как эта девушка, не боясь навлечь на себя разные беды, смело воевала за утверждение передовой агротехники, обеспечивающей устойчивые урожаи на целине. С утра до ночи она носилась по бригадам, вникая во все дела, всюду поддерживая творческий азарт молодежи. У нее было немало неприятностей в отношениях с разным начальством, но она держалась стойко, мужественно отстаивая свои принципы, борясь за торжество земледельческой культуры. Позднее, когда мне потребовался в романе агроном, я без всяких колебаний описал эту девушку с Кубани, назвав ее Галиной Хмелько. Правда, в жизни она была более сдержанной, сосредоточенной, серьезной, чем получилась в моей книге, — мне хотелось сильнее оттенить ее оптимизм, жизнерадостность, сделать ее более яркой, солнечной.

В моих блокнотах были сделаны зарисовки и других парней и девушек, приехавших на Алтай из разных областей Центральной России. Они пригодились мне, когда я после раздумий окончательно решил взяться за роман о целине. Конечно, я не старался выписывать точные портреты тех молодых людей, каких я свел в одной бригаде. Но отдельные зарисовки с натуры, иногда очень небольшие, во многом облегчали мой труд.

...Побывал я тогда и в соседнем, Волчихинском районе, где живут мои родственники. Один из них, мой дядя, оказался бригадиром целинной бригады. (Вот и пример, когда старожилы возглавляли в отдельных местах освоение целины!) Конечно, прежде всего, я познакомился с его бригадой, долго расспрашивал целинников об их работе, о житье-бытье на новоселье. Потом дядя по-свойски, ничего не утаивая, рассказал мне о всех трудностях в работе, каких мне не удалось заметить раньше в целинных бригадах.

У нас немало говорилось об одном обязательном для писателя условии, когда он собирает материалы для своей будущей книги: надо чувствовать себя совершенно независимым от тех людей, с которыми приходится иметь дело, надо всячески дорожить своей самостоятельностью и творческой свободой. Это очень важное условие я выполнял строго.

К сожалению, по состоянию здоровья я не мог сесть на трактор, чтобы самому испытать всю тяжесть работы на целине и, постоянно живя в одной бригаде, как можно глубже изучить молодых людей, которым суждено было положить начало героической целинной эпопее. Непосредственное участие в работе на целине, длительное пребывание с целинниками в одной палатке, несомненно, значительно облегчило бы потом мою работу над книгой. Я это хорошо понимал, но, повторяю, уже не мог отважиться на рискованные опыты. Впрочем, позднее оказалось, что ни один из тех писателей, какие сами работали на тракторах, не написал книгу об освоении целины. И так бывает...

IV

Вернулся я из поездки на Алтай в большом раздумье. Впечатления еще не улеглись, не отстоялись, начинать какую-либо книгу об освоении целины было преждевременно. Надо было не только хорошенько обдумать все увиденное, но и заняться серьезным изучением всевозможной справочной литературы о целине, начиная от солидных научных изданий до скороспелых брошюрок, которые хлынули тогда большим потоком на книжные прилавки.

За лето и осень у меня создалась довольно большая справочная библиотека, в которой нашли также место книги о заселении Алтая, его почвах, его фауне и флоре, его климатических условиях по разным зонам и, наконец, о колхозном землепользовании и земельных фондах в его пределах. Один лишь «Справочник бригадира тракторной бригады» представлял довольно солидный том — я далеко не уверен, что он из-за своих размеров был популярным у механизаторов сельского хозяйства. Но мне его, кстати, пришлось не прочитать, а проработать, делая всевозможные заметки, от корки до корки; на несколько лет он стал для меня настольной книгой. С особенным интересом я вчитывался, конечно, в книжки о самых первых опытах освоения целины в разных районах Сибири. Но дело осложнялось тем, что в разных книгах встречалось множество противоречивых сведений, рассуждений и всяческой путаницы. Иногда трудно было решить, кому верить, что принимать в расчет. Со време-

нем я понял, что изучать-то надо всю литературу, а вот верить-то прежде всего надо своим глазам.

Однако, несмотря на своеобразные сложности подготовительной работы, постепенно начинал складываться замысел будущей книги и писались отдельные, чем-то особенно тревожившие сцены, зачастую похожие на зарисовки виденного в алтайской степи, да и самой степи. Но работа продвигалась медленно, очень медленно...

Однажды у меня побывал Александр Александрович Фадеев. Он рассказал мне о работе над романом «Черная металлургия», а я ему, в свою очередь, о работе над «Орлиной степью». Я чистосердечно признался, какие трудности испытываю в работе. Считая, что я отважился на очень нелегкое дело, Александр Александрович все же всячески поддерживал и ободрял меня, а через день прислал еще и письмо, в котором есть такие строки: «Желаю Вам успеха в работе над повестью. Но очень советую Вам (извините за эту стариковскую привычку — советовать) — если будет трудно идти новая повесть, возвращайтесь к «Белой березе». Надеюсь, я прочитал эти строки так, как их надо было прочесть. Александр Александрович прежде всего желал мне успеха в работе над книгой о целине! Вот что было главным в его письме! Значит, как ни трудно, а надо продолжать начатое дело...

С благодарностью вспоминаю я и о Федоре Ивановиче Панферове. Он горячо поддержал мое решение поехать на Алтай, а потом всячески подвигал меня на создание книги о целине. Он немедленно подписал со мной договор, тем самым оказав мне материальную помощь, без которой я, собственно, и не смог бы взяться за «Орлиную степь». Наконец, все те годы, пока я писал роман, Федор Иванович очень часто беседовал со мной, читал отдельные главы, давал очень дельные советы.

Но у меня все еще оставалось немало сомнений по отдельным практическим вопросам освоения целины. Вскоре меня стала неотвязчиво тревожить мысль: надо еще раз поглядеть, что делается в целинных краях, что там уже достигнуто, какие произошли изменения в жизни ее новых обитателей. С этой мыслью я стал дожидаться следующего лета.

Между тем о целине уже начали распространяться самые невероятные слухи. Беглецы с целины, изображавшие собой страдальцев с обманутыми надеждами, в драматических тонах расписывали мрачные картины жизни в далеких степях. Меня не очень-то смущали их душещипательные, с прихлебываниями монологи, мне была знакома эта профессиональная манера изъяс-

няться тех, кто прошел всякие режимы в отдельных местах. Правда, встречались и застенчивые беглецы, вероятно, обманувшиеся в себе, в своих силах, в своем мужестве; их рассказы были более сдержанны, без показного надрыва. Слушая тех и других, я убеждался, что решение о новой поездке совершенно правильно: надо вновь все увидеть своими глазами. Но на этот раз, с целью расширения района своих наблюдений, я решил отправиться не на Алтай, а в Казахстан.

Только приехав в Павлодар, я узнал, какой нестерпимый зной держится над всей казахской степью. Все в ней сгорело под палящим солнцем. Никакие холода и ветры первой целинной весны по своему воздействию на людей не могли сравниться с застойной, гнетущей жарой, от которой негде было спастись даже степным птицам.

Засуха была тяжелым испытанием для молодых целинников, выросших чаще всего в местах, где не бывает таких жестоких стихийных бедствий. Впрочем, от засухи немало страдали даже ко всему привычные местные старожилы.

Трудно было ездить по голой, потрескавшейся от солнца степи на раскаленном «газике». Но, как говорится, взялся за гуж... Я проехал более тысячи километров и побывал в нескольких новых совхозах на прииртышской целине. Подолгу беседовал с директорами, агрономами, инженерами совхозов, руководителями партийных и комсомольских организаций и, конечно, больше всего с целинниками на полевых бригадных станах. Никто из них не скрывал от меня трудностей, какие приходилось преодолевать в то лето. Всюду с первого взгляда была видна необустроенность новосельской жизни, не везде успешно проводилось строительство центральных усадеб, случались частые перебои в снабжении бригад продуктами питания и питьевой водой. Всего не перечесть! Не скрывали целинники и того, что некоторые их «однополчане» не выдерживали трудностей и покидали степь, причем не всегда это были плохие, случайные люди. Просто у них не хватало выдержки, мужества, да и сильно грустилось им о покинутых родных, благодатных местах.

Все, с кем я встречался, знали, с какой целью я ношусь по выжженной степи и веду длинные, изнурительные беседы. Но это нисколько не смущало моих собеседников; убежден, они были со мной совершенно откровенны. И вот что особенно врезалось в память: всюду целинники прежде всего не без гордости сообщали о том, сколько засеяли целины весной, сколько вспахали под пары, хотя она так затвердела, что лемеха приходится затачивать после каждого гона. А уж потом (потом!) начинали рассказывать и о своих бедах. Нигде я не наблюдал даже ма-

лейших признаков растерянности. Никто из целинников, конечно, не веселился, у всех были суровые, обожженные солнцем, посеревшие от пыли лица, сдержанные или даже угрюмые взгляды. Но дело двигалось, работа шла!

Стойкость и упорство целинников произвели на меня тогда огромное впечатление. Я узнал много молодых людей, о которых непременно надо было сказать добрые слова— на добрую память в народе. И мне подумалось, что ветер времени отсеял за год с целины все пустые, пожухлые зерна, оставив здесь только те, какие несли в себе жизнь. На целине, по моим наблюдениям, складывался и пускал корни в землю особый род людей, наделенных большой любовью не только к родине детства, но и к большой Родине, в ее тысячеверстных государственных границах, проникнутых огромным чувством ответственности за судьбы своего Отечества, обладающих подлинной воинской стойкостью в любой беде, настоящим солдатским мужеством в преодолении любых невзгод.

Я всегда любил таких людей и старался сделать их героями своих произведений. Побывав в Прииртышье, я понял, что не ошибся, когда обратил на них особое внимание еще первой целинной весной на Алтае, а потом без колебаний решил, что только они и могут быть главными героями любого подлинно художественного полотна о целине. И я с удесятеренной энергией взялся за продолжение работы над «Орлиной степью»...

V

Решение о создании какой-то книги всегда трудное и во многом рискованное дело. Оно всегда выносится писателем единолично. Но это его решение не может быть случайным; в противном случае дело заканчивается неминуемой катастрофой. Решение писателя должно быть следствием кровной, жгучей потребности его души, всех его чувств, всего строя его мыслей.

Мое решение не было случайным, тем более данью модной теме. Оно было совершенно неизбежным, а серьезная работа над романом началась даже с некоторым запозданием из-за творческих раздумий.

Кстати, на этот раз я изменил своей всегдашней привычке — не стал разрабатывать детального плана будущей книги. (С течением времени у писателей меняются даже застарелые привычки в работе.) Я написал прежде всего пейзаж весенней алтайской степи, отмеченный некоторой символикой, а главное — задающей определенный музыкальный ритм всей будущей книги. Затем продумал основные сюжетные линии и начал писать, при-

держиваясь некоторых действительных событий, очевидцем которых был на Алтае. Я совершенно не стеснял своих героев в действиях, не одергивал их, если они своевольничали, не регламентировал их отношения между собой. Стоило мне взяться за перо, и они, пользующиеся полной свободой, начинали действовать раскованно и логично. Иной раз казалось, что я даже не затрачиваю никаких своих усилий на создание книги — все за меня делают мои герои, а я, по их велению, лишь вожу пером по бумаге...

К сожалению, работе мешали общеизвестные события тех лет. Нелегко было пережить их людям моего поколения. Они обжигали сознание своей беспощадной суровостью, заставляли бессонными ночами обдумывать прошлое, опять и опять всматриваться в свою жизнь. Горько и больно было сознавать, что судьбой тебе было уготовано долгие годы жить в полном неведении того, что творилось в окружающем тебя мире...

Потрясения, пережитые в те годы страной, отразились, конечно, и на литературе. В литературу хлынула молодежь, стремящаяся все переиначить на свой лад. В основе своей движение литературной молодежи, вполне закономерное для периодов крутых общественных перемен, несомненно, было здоровым и со временем принесло хорошие плоды. Но нечего кривить душой — появилось тогда немало и таких молодых людей, которые, вовсю деря глотки, объявляли себя зачинателями какой-то новой литературы, по существу, не имеющей ничего общего с литературой социалистического реализма. И многим показалось тогда, что эти самонадеянные, бесцеремонные, спесивые юноши вырвались даже в авангард нашей литературы — и отныне только в их руках будет находиться ее судьба. В преуспевании этих литературных недорослей, к счастью, недолгом, повинны прежде всего многие деятели нашей критики. Они вдруг совершенно позабыли о тех принципах, на которых много лет создавалась наша литература, начатая Горьким, и стали охотно повторять чужие слова о «реализме без берегов», устанавливать новые критерии в оценке литературных явлений, в которых преобладали внесоциальные мотивы. Многие периодические издания, особенно рассчитанные на юношество, начали заполняться так называемыми «исповедальными» повестями, хотя всем очевидно было, что их авторам слишком преждевременно исповедоваться перед миром. И были случаи, когда даже иные «старики», сбитые с толку, бросились трусцой за горластыми толпами, как оказалось вскоре, в большинстве бездарных, невежественных и продажных людишек. Да чего там! Тошно и вспоминать-то...

В этих условиях нелегко было работать над «Орлиной степью»,

где действовали не расхристанные, рефлектирующие герои, а люди дела, действий, высоких чувств и мыслей. Иногда казалось, что я напрасно тружусь: с такими героями меня не пустят на порог ни одного издательства, а уж критики-то, несомненно, налетят стаей...

Здесь опять-таки я должен упомянуть о Федоре Ивановиче Панферове. Он интересовался, как у меня продвигается дело, поторапливал и всегда поддерживал меня в моем стремлении написать откровенно полемический роман, в котором модным и всячески обласканным героям тогдашней «молодой литературы» я противопоставлял активно действующих героев, каких всюду было много, а не только на целине.

Мое положение осложнялось еще и тем, что меня, пишущего очень медленно, без конца обгоняли бойкие строчкогоны со своими литературными поделками. Года за два они успели настрочить и пустить в ход множество рассказов, повестей, пьес; создавалось впечатление, что о целине все, что следовало сказать, уже сказано. К тому же читатель, успев набить оскомину на низкопробных поделках, начинал терять интерес к целинной теме. Можно было пасть духом, отбросить перо, но у меня, к счастью, уже имелся некоторый опыт, — ведь и о войне некоторые успели написать раньше, чем я выступил с «Белой березой».

Закончил я «Орлиную степь» летом 1959 года, как и роман о войне, совершенно больным: сказалось необычайно сильное нервное напряжение — начались постоянные, изнурительные головные боли. Не однажды я горевал тогда, что природа не наделила меня бычьим здоровьем, необходимым для творческой работы, да и то, какое было, подорвала война...

...«Орлиная степь» была встречена тогдашней критикой, как и следовало ожидать, не очень-то приветливо. Но пусть бы встреча была только неприветливой! Не беда! А то ведь нашлись такие критики, которые, судя по всему, и не считали нужным даже ради приличия обмолвиться о романе добрым словом. Где уж тут до приличий! Они подняли такое улюлюканье, что хоть уши затыкай! Особенное раздражение поборников пресловутой дегероизации в литературе вызвал главный герой романа Леонид Багрянов, человек далеко не идеальный, но в основном сложившегося характера, твердых нравственных убеждений. Его всячески охаивали и в печати, и с трибун, презрительно обзывая «положительным героем» (что тогда считалось, да и сейчас еще многими считается наихудшей оценкой литературного персонажа!). Его осмеивали за то, что он изображался вожаком моло-

дежи (будто такой породы людей не существует на свете!) и вроде бы слишком возвышался над остальными героями, а всякое возвышение ой как вредно... В разноголосице хулителей чаще всего слышалось: не было таких героев, как Леонид Багрянов и его друзья, на целине! И вообще нет таких героев в действительности!

Не скрою, нелегко переживать такое писателю, отдавшему своей книге годы жизни, много здоровья и душевных сил. Нелегко! Но даже в самые черные минуты я не терял веры в жизнестойкость своей книги. Я был глубоко убежден, что в ней правда нашего времени, что ее герои — это люди, какие в самом деле совершили великий подвиг на целине. Как бы ни освистывали «Орлиную степь» поборники «дегероизации», я никогда не терял надежды, что она станет частью большой летописи героических свершений советского народа на восточных степных просторах нашего государства.

Я ждал этого почти двадцать лет.

Тягость этого длительного ожидания скрасил однажды лишь известный советский критик Евгений Иванович Осетров, всегда относившийся к моим книгам с глубоким пониманием и серьезной вдумчивостью. В 1972 году, когда в издательстве «Художественная литература» готовился к печати двухтомник моих избранных произведений, Е. И. Осетров охотно отозвался на предложение написать к нему предисловие. В нем он немало добрых, ободривших меня строк посвятил и «Орлиной степи»: «Михаил Бубеннов нарисовал поэтичный и прекрасный образ алтайской степи — далекого и прекрасного края нашей Родины, обживаемого молодыми героями. «Орлиную степь» менее всего можно назвать беллетристическим откликом на освоение не тронутых веками земель, художественной скороспелкой, каких появилось немало в то время». И далее, словно отвечая некоторым критикам: «Нельзя не любоваться душевным здоровьем таких людей, как Леонид Багрянов, — перед нами живой, деятельный характер, мужающий и закаляющийся в трудностях. Леонид любит и умеет работать, болеть заботами общего дела, радоваться весне и выйти с победой в схватках не только с обстоятельствами, иногда невероятно трудными, но и в сражениях с самим собой. А ведь это самое важное! Умение преодолевать самого себя доставляет Леониду неизменное удовольствие. Перед нами не идеализированный лик, а незаурядная личность...»

Трудно передать, как много значила для меня эта высокая оценка моего героя, да и всей «Орлиной степи» в те годы, когда над ней уже витало забвение.

Недавно Л. И. Брежневым был впервые дан глубочайший ана-

лиз того исторического общественного явления, которое зовется освоением целины, которое вслед за великой Победой имело наибольшее значение для дальнейшего развития нашей страны. Впервые с большой впечатляющей силой было рассказано и доказано, что советские люди, ставшие участниками грандиозной целинной эпопеи, были подлинными, настоящими героями нашего времени, достойными того, чтобы их имена были записаны золотом в нашей истории. Были названы многие имена таких героев, перед которыми наш народ теперь склоняется в земном поклоне.

Это заставило нашу критику вспомнить о тех забытых произведениях, в которых нашла какое-либо отражение героическая эпопея на целине. Впервые было обнаружено, что в них немало ярких картин памятного времени, что их герои сродни тем подлинным героям, имена которых недавно прогремели по всей стране.

...Писатель должен, кроме всего прочего, обладать еще и большим мужеством, и большой выдержкой. Он должен уметь с достоинством ждать справедливой оценки своего труда. Он должен помнить, что правда и в литературе всегда восторжествует. Пусть даже после его смерти.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

В начале своего творческого пути я писал лишь о деревне, в которой вырос и провел все свои юные годы. Во время войны исходил многие старинные русские земли, побывал в сотнях деревень, встречался с тысячами сельских жителей, перенесших тяжкие невзгоды и беды. Естественно, деревенские люди стали главными героями «Белой березы». Но за время длительной послевоенной городской жизни моя связь с деревней явно ослабела, стала случайной, поверхностной; мне все труднее становилось разбираться во всех сложностях деревенского бытия, в тех процессах, какие происходили на сельщине. Я стал лучше знать город, чем деревню. Часто бывал на московских предприятиях, знакомился с их работой, встречался со своими читателями в заводских клубах и библиотеках, а когда началось знаменательное движение на целинные земли — особенно хорошо познакомился с рабочей молодежью. Это и позволило мне написать роман «Орлиная степь» — о первых целинниках, главным образом представителях рабочего класса, но трудившихся в зна-

комых для меня сельских условиях, на просторах моей родной степи.

После выхода романа в свет моя связь с рабочей молодежью особенно окрепла. Мой интерес к ней все возрастал, и наступило время, когда я вновь стал думать о создании произведения, посвященного славным деяниям рабочей молодежи, какие свершались ею особенно во глубине Сибири.

Легко объяснить, почему меня опять-таки тянуло в Сибирь. Это моя родина, я ее люблю, знаю ее природу, ее людей, да и всегда чувствую перед ней свою вину за то, что мало посвятил ей своего труда. К тому же я отлично понимал, что освоение сибирских пространств и недр становится одной из важнейших государственных проблем, от решения которой зависит наше будущее, и не к чести писателя проявлять к ней равнодушие.

Летом 1961 года, после двухлетнего перерыва в работе, вызванного болезнью, я вновь отправился без всякого определенного замысла в далекий путь. На этот раз я решил забраться в Сибирь подальше, в какие-нибудь ее самые глухие и заповедные места. Я был уверен, что в любом месте там есть что посмотреть, везде происходят большие, небезынтересные перемены.

Прежде всего я побывал на строительстве Красноярской ГЭС; там как раз зачищалось дно котлована. Меня поразил грандиозный размах строительства на могучем и прекрасном Енисее. Заманчиво было задержаться здесь на длительное время, чтобы получше познакомиться с отважными строителями, серьезно всмотреться в их дело, — можно было не сомневаться, что оно и меня растревожит до глубины души. Но о строительстве гидростанций, как известно, к тому времени в советской литературе насчитывалось уже немало известных книг; я не мог рассчитывать на какой-то свой, особый успех в работе, тем более что создание произведений широкого плана не характерно для моей творческой манеры. Всегда, всю жизнь я был убежден, что и в небольшом произведении, сделанном на локальном материале, может отразиться во всей своей сложности большая эпоха.

В Красноярске, познакомясь с речниками, я случайно узнал, что «Братскгэсстрой» создал на Нижней Ангаре свою особую строительную организацию, которая ведет взрывные и дноуглубительные работы. Они заинтересовали меня тем, что были совершенно необычны (таких не велось тогда нигде в нашей стране), что связаны с большими трудностями, с постоянным риском, какому люди подвергались лишь на войне. И еще у меня мелькнула мысль, что ведь это очень символично, очень многозначительно — расчищение русла великой реки от подводных камней. Не долго раздумывая, я решил побывать на Нижней Ангаре.

Раньше этот край считался глухим и далеким, местом ссылки. Теперь же я на быстролетной, очень комфортабельной «Ракете» всего через пять часов оказался у Стрелки — в устье Ангары, где перебрался на небольшой теплоход и пошел вверх по легендарной реке.

Уже в самом устье Ангара поразила меня своей шириной, мощью и буйной стремительностью. Здесь, проходя Стрелковский порог, где торчат из воды огромные отполированные камни — Разбойник, Дворец, Боец и многие другие без названий, — река бурлит, пенится, особенно картинно обнаруживая свою поразительную силищу, словно стараясь устрашить тех смельчаков, какие намереваются прорваться в ее таинственное царство. Плыл я по Ангаре с остановкой на ночевку почти два дня и не переставал удивляться: дух захватывало от ее стремительного потока, от ее неоглядного простора, который, чем выше поднимаешься по ней, тем больше раздвигает горы, окутанные тайгой. Эти первые впечатления от Ангары сразу же начали высекать у меня много таких мыслей, какие можно назвать первыми зернами творчества.

Остановился я в райцентре Мотыгино, где находилось строительное управление, ведущее взрывные и скалоуборочные работы на Нижней Ангаре. Это центр огромного и богатейшего района. За годы Советской власти здесь обнаружены несметные природные богатства. Сейчас сотни геологов обшаривают здесь буквально каждый клочок земли. Изучаются, берутся на учет все клады.

Впервые, поднимаясь в Мотыгине на крутой берег реки, я невольно обратил внимание на то, что все улицы села вымощены серо-бурыми, поблескивающими камнями, а по кюветам течет ржаво-оранжевая вода. Оказалось, улицы вымощены железной рудой.

В пределах района находится громадный Ангаро-Питский бассейн. В нем горы почти чистого железа. Взрывай и грузи! И однажды оттуда на пристань Мотыгина было вывезено несколько тысяч тонн той замечательной руды. Большую часть ее увезли на заводы, а немного осталось на месте. Спустя какое-то время местные власти решили пустить те остатки на свои нужды. За это их покритиковали. Может, и правда неразумно было тратить драгоценную руду на дороги. Но мне, признаться, было весело смотреть на улицы Мотыгина. Не так уж много было истрачено там руды, но зато какая прекрасная наглядная агитация за свой район! И у меня тут же мелькнула мысль: если соберусь писать о работах на Ангаре, то районному центру в своей книге дам название Железнова...

В райкоме партии мне рассказали и о других богатствах района. Здесь уже сто лет добывается золото: еще до войны построен мощный комбинат по добыче сурьмы. Отсюда сплавляются сотки тысяч тонн ценнейшей древесины. Великолепная ангарская сосна славится во многих странах мира, начиная с Англии и кончая Аргентиной. Запасы ее огромны.

Меня снабдили картой района, лоцией Ангары и большими, разносторонними материалами об истории края, о его настоящем и его перспективах. Словом, мне была оказана всяческая помощь в глубоком изучении Приангарья, без чего нельзя было и думать о создании какой-либо книги.

В строительном управлении, которое возглавлял известный, опытный речник, знаток Енисейского бассейна Иннокентий Семенович Матонин, меня встретили несколько настороженно. Как ни говори, а сюда редко забирались писатели, от которых — по слухам — можно ожидать чего угодно. А строительное управление, как назло, переживало тревожные дни. Впрочем, положение на реке тревожило все Приангарье.

Мы привыкли считать Ангару большой рекой Сибири. А между тем в речном обиходе она относится, как это ни странно, к малым рекам: необычайно широка, воды несет много, но мелководна. Дно этой могучей реки во многих местах перегорожено каменными грядами из твердых пород. Несясь на соединение с Енисеем, она сливается с гряды на гряду, будто по каменной лестнице. На реке есть немало порогов и шивер, где каменные гряды едва прикрываются буйно стекающей ангарской стремниной; при обмелении они представляют большую опасность для судоходства и являются преградой для сплава леса. К тому же судовой ход на реке очень узок, извилист. Коварна эта сибирская красавица — Ангара!

Рождение Братского гидроузла затрагивало весь бассейн Ангары. Гидростроителям заранее было известно, что в период заполнения водохранилища значительно уменьшатся глубины по всему ее нижнему течению. Этого нельзя было допускать: от навигации на реке зависела жизнь всего Приангарья. Поэтому одновременно со строительством Братской ГЭС было решено реконструировать судовой ход на Нижней Ангаре — где углубить его, где расширить, где спрямить. Гидростроители думали и о том, что новый ход понадобится в будущем, когда начнется строительство других электростанций на реке — по нему придется доставлять тяжелые турбины.

Вначале взрывы подводных гряд и отдельных камней велись обычным шпуровым методом, какой применяется на суше.

На шиверах закреплялись на якорях плашкоуты с компрессорами, кранами и водолазными станциями. Затем на дно реки спускался водолаз; он бурил десятки шпуров, закладывал в них взрывчатые вещества с детонаторами, соединял все их электрической цепью. И все это на бешеной стремнине, которая так и крутит водолаза! После взрыва водолаз опять опускался на речное дно и руками выбирал взрыхленную породу в корзины. Если попадались крупные камни, опутывал тросами, а потом их извлекали с помощью крана на плашкоут или волочили катером к ближайшей яме.

Таким методом, конечно, нельзя было своевременно провести реконструкцию судового хода. И тогда на помощь строителям речного пути пришли сибирские ученые. Они предложили новый метод рыхления речного дна — накладной. На плавучих наклонных площадках («спаровках»), покрытых линолеумом, строители начали делать довольно большие (зачастую весом более тонны) заряды из некондиционного пороха, который отлежал свой век на складах. Эти заряды с большой предосторожностью спускали со «спаровок» на каменное, облизанное быстрыми водами речное дно.

Строители очень быстро освоились с новым методом. Более того, внесли в него разные поправки, и взрывы гораздо чаще, чем прежде, стали греметь над Ангарой. Но что было делать со взорванной породой? Начали срочно выдумывать разные самодельные снаряды («волокуши») для сгребания ее в ямы, пригнали краны для вычерпывания ее в баржи-углярки, привели земснаряд, который, вопреки всяким сомнениям, оказался очень полезным в деле. Наконец-то можно было рассчитывать, что за следующее лето трудная и необычная задача будет выполнена.

Но тут случилось то, чего они никак не ожидали. Пришло известие из Братска, что гидростроители, значительно опередив назначенные сроки, уже готовятся в скором времени начать заполнение водохранилища. Это встревожило всех на Нижней Ангаре. Надо было вновь срочно ускорять взрывные и скалоуборочные работы, иначе довольно быстро могли начаться большие осложнения и неприятности с навигацией. От темна до темна гремели взрывы на величественной реке. Сложная и опасная работа требовала большой смекалки, сноровки и храбрости. В эти дни на шивере Аладьина и случилась беда: на новом самодельном снаряде (небольшой самоходке), с которого сбрасывали заряды, вспыхнул пожар и прогремел взрыв; один рабочий погиб...

От меня скрывали этот несчастный случай, но я услыхал о

нем краем уха и попросил разрешения отправиться именно в прорабство на шивере Аладьина.

Очень запомнились мне минуты, когда я приближался к этой шивере. Вдруг в ее верхней части, откуда только что ушел теплоход-толкач со «спаровкой», прогремел мощный взрыв, в воздух взметнуло высоченный фонтан воды и много дыма, он развернулся над рекой в большое облако. Через несколько секунд над Ангарой вспыхнула огромная дуга радуги. Это было величественное зрелище! Радуга встала, как арка над рекой, и мне, человеку несколько романтических наклонностей, подумалось, что именно за нею и есть тот особый мир, познать который, может быть, будет очень трудно, но в то же время и приятно...

II

В прорабстве на шивере Аладьина собралось немало интересных людей, иные со сложными, изломанными судьбами или большими отметинами в ней. Хотя всех строителей и объединяла одна работа, но между ними существовали разные взгляды на ее цели и развивались в связи с этим острые, запутанные отношения, иной раз кипели, всплескиваясь, как струи на шивере, буйные молодые страсти.

Прежде всего мне бросились в глаза, конечно, люди, которые всей душой болели за свое дело, — люди с большим трудовым стажем, прославленные речники и строители нового судового хода. Среди них был старший взрывник коммунист Зайцев, опытный и смелый капитан теплохода Пынько, командир земснаряда Чечулин, механик Крикунов, инженер изыскательской партии Захаров, путевой мастер Потапов, бригадир поста Безруких. Но большинство здесь были молодые строители, приехавшие на Ангару главным образом после увольнения из рядов Советской Армии. Из молодых мне тогда запомнились взрывники Беляев и Ломоть, водолаз Демин, рабочий Дроздов, студент-практикант Портнягин. Это были люди высокого патриотического долга, наделенные светлым чувством коллективизма. Они работали самоотверженно, не считаясь со временем, хорошо понимая, какое значение их дело имеет для всего Приангарья.

Но были в прорабстве и людишки из тех, какие шатались по всей Сибири, нигде не находя себе места и дела по душе, зараженные до мозга костей индивидуализмом, мечтающие лишь о больших заработках да какой-то «легкой жизни». Человеку с несколько мрачным взглядом на действительность эти людишки могли броситься в глаза, пожалуй, прежде всего: они вели

себя чрезвычайно своевольно, дерзко, зачастую не признавали никакой трудовой дисциплины, устраивали «гужовки» — многодневные гульбища с драками. Это была настоящая «таежная вольница».

...Итак, как и когда-то на целине, я опять повстречал людей с резко противоположными взглядами на труд, на место и обязанности человека в обществе. Опять увидел, как происходят неизбежные столкновения между ними, типичные схватки наших дней.

Недолго пробыл я на шивере Аладьина, но, смею утверждать, мне удалось основательно постичь взрывное дело на реках, а также подсмотреть, что строители речного пути, удаляя камни из русла Ангары, заодно удаляли немало «подводных камней» и из своей жизни. Борьба за чистоту судового хода сливалась у них с борьбой за нравственную чистоту человеческих отношений. Мне удалось выудить не только несколько хариусов из речушки, впадающей в Ангару у шиверы, но и «выудить» несколько житейских историй, которые, при известной переплавке в личном творческом горниле, могли пригодиться для будущей книги.

Кстати, о творческих командировках, какие предоставляются иногда писателям, и надо прямо сказать — совсем не напрасно, как любят утверждать зубоскалы.

Когда-то после войны на съезд писателей Украины приехала делегация из Москвы. При первой же встрече с украинскими писателями за ужином некто начал довольно ехидно расспрашивать А. А. Фадеева:

— Скажите, какой из толстых журналов вы считаете лучшим?

— «Красную новь», — не задумываясь, ответил Александр Александрович и залился смехом, приглаживая седые волосы назад; как известно, этот журнал, выходивший под его редакцией, прекратил свое существование перед войной.

— А скажите, как вы относитесь к творческим командировкам? — не унимался любознательный. — Можно ли за небольшой срок изучить жизнь?

— Знаете что, товарищи! — вдруг серьезным тоном заговорил Александр Александрович. — Стало быть, если послать в командировку нелюбознательного писателя, он и за год не соберет нужного материала; если же послать остроглазого — ему будет достаточно и одного месяца.

Я вполне согласен с А. А. Фадеевым и всякие насмешливые разговоры о том, что нельзя «изучить» жизнь в течение короткой командировки, считаю обывательскими и невежественными.

Для того писателя, какой свалится с луны, короткой поездки для изучения жизни, конечно, будет недостаточно; для того же, какой изучает ее с малых лет и активно участвует в ней, бывает достаточно и короткой поездки, тем более если свои непосредственные впечатления он подкрепит изучением необходимой справочной литературы.

Впрочем, побывав на Ангаре, я совсем не сразу взялся за создание новой книги. Мне потребовался целый год для обдумывания своих впечатлений и записей, детального изучения столетней практики русских землепроходцев по расчистке русла Ангары от камней и, наконец, изучения взрывного дела. Одновременно, правда, делались и первые наброски для романа «Стремнина».

О чем же я задумал роман? Да опять же о том, что труд в нашей стране — великое, вдохновенное творчество и тот, кто трудится с умом, как говорится в народе, тот прежде всего и является мыслящей личностью. О том, что трудовая слава должна принадлежать тем, кто ее заслужил, а со всеми, кто пытается пользоваться ею незаслуженно, надо поступать круто. О том, что хищники всех мастей не просто нехорошие люди, а наши злейшие идейные противники, которых не пронять одной добротой.

Признаться, меня несколько смущало, что эта остросовременная тема по своему внутреннему содержанию была очень близкой к той, какой посвящена уже «Орлиная степь». Более того, прорабство на ангарской шивере по ограниченности своего мира и расстановке в нем противоборствующих сил очень напоминало целинную бригаду Леонида Багрянова в алтайской степи. Меня могли обвинить в своеобразной литературной «пробуксовке» — повторении не только темы, но и некоторых ситуаций. Но я подумал: а какая же тема после военной может считаться теперь наиболее важной, злободневной? Да конечно же, тема труда: она неисчерпаема, она главная золотая жила советской литературы. И все сомнения были отброшены.

Но роман «Стремнина», как и «Орлиная степь», вынашивался и складывался очень долго. За тот год, пока шла подготовительная работа, у меня в Москве побывали товарищи с Ангары. Они рассказали о том, что происходило там уже после моего отъезда. Речные строители, оказывается, самостоятельно разработали новый метод подводных направленных взрывов, который изменил весь ход взрывных и скалоуборочных работ. О направленных взрывах на суше все, конечно, наслышаны: с их помощью теперь передвигают целые горы, строят плотины для гидростанций. А вот направленные взрывы под водой, да еще

на ангарских шиверах, опять-таки совсем другое дело. Такого удачного решения проблемы мне очень не хватало для финала будущей, уже во многом обдуманной книги, и я решил еще раз побывать на Ангаре. Да и нелишне было еще раз повстречаться с рабочими, ведущими взрывы, чтобы глубже познать их психологию и написать о них просто, но как можно более образно и увлекательно. В последнее время у нас, к сожалению, стало много появляться книг, густо замутненных разной заумью, которая выдается за какую-то философию, но эта философия вроде мутного пойла. Нормальные люди употреблять его не могут. Литература должна быть умной, но без зауми, а кроме того, интересной и увлекательной.

В Красноярске я сказал знакомым речникам, что хочу добраться самолетом до Кежмы, а оттуда спуститься на самоходке вниз по Ангаре, делая остановки в тех местах, где еще велись взрывные работы.

...В Кежму я прилетел в полдень и быстро нашел на берегу самоходку, на которой мне предстояло совершить путешествие по Ангаре. Был какой-то летний праздник, кажется, петров день, и в Кежме его отмечали по старинке. Стояла невыносимая жара. Я решил искупаться, хотя и побаивался холодной ангарской воды. Но что случилось с прекрасной Ангарой? По ней чуть ли не сплошь несло из Братского водохранилища клубы какой-то спутанной травы. Она губила в реке все живое...

На многих шиверах Ангары взрывные работы были уже закончены. Никого не было на шивере Аладьина; оттуда была увезена даже прорабская, в которой я жил год назад. С грустью я прошел мимо памятных мест. На соседней шивере Мурожной я встретился со старыми знакомыми, за исключением, к сожалению, взрывника Анатолия Ломтя, который погиб при взрывных работах, — это была уже не первая смерть на здешних шиверах. Встретил и новых интересных людей: прораба Борзенко, взрывника Кожина, старшину водолазной станции Рябцева. Наконец, в Мотыгине повстречался с молодым инженером-речником Юрием Матьковым, который принимал участие в разработке метода направленных взрывов под водой. Он познакомил меня с новым оригинальным снарядом для производства взрывных работ, снабдил подробными описаниями нового метода и различными специальными чертежами. Осмотрел я и те шиверы, на которых с помощью нового метода был углублен, расширен или заново проложен судовой ход. Взорванная порода там отбрасывалась взрывами в разные стороны от судового хода, образуя вдоль него длинные валы из камней. Для уборки породы уже не требовались земснаряды.

Только после второй поездки на Ангару у меня окончательно сложились основные сюжетные линии романа «Стремнина». В основу его легли мои непосредственные наблюдения над жизнью и трудом речников и строителей. Следует, однако, оговориться: не скрывая, где происходит действие, описывая многие подлинные события, я полностью использовал и свое право на вымысел. В свое время я заявил в печати, что во избежание недоразумений об этом должны знать прежде всего те товарищи, какие вели взрывные работы. Причем, стремясь сделать конфликт наиболее острым и драматичным, я уложил в один месяц такие события, которые в действительности заняли два лета.

Вначале, как было сказано, подводные взрывы на Ангаре производились шпуровым методом. Я ограничился лишь упоминанием об этом методе, хотя широкое описание его в действии давало мне возможность создать острые, эффектные сцены в романе. (Не всегда полезно увлекаться эффектами!) Усовершенствование порохового заряда продолжалось около года. Я «усовершенствовал» заряд за день, причем, надеюсь, без всякого ущерба для его истории. Не так-то быстро создавалась всевозможная скалоуборочная техника, которой никогда не было в нашей стране. Я опять-таки убыстрил процесс ее создания, не отступая, однако, от общей хронологии творческих поисков строителей. И уж совсем сместил во времени описание нового метода рыхления речного дна с помощью подводных направленных взрывов. Все это было сделано для того, чтобы книга не получилась, по выражению А. А. Фадеева, аморфной, тягучей, лишенной внутреннего динамизма.

Кстати, хочу признаться — невероятно надоели нудные, вялые эпопеи, которые без всякой очевидной необходимости пишутся сейчас писателями, подчас совершенно не умеющими строить острое, занимательное, драматическое действие, чтобы все время держать читателя в напряжении. Не иначе, авторы их рассуждают так: а-а, не беда, если у кого из читателей сведет скулы! Зато какой увесистой будет книга! Но такие книги напоминают мне большие сырые кирпичи из самана. Без обжига. Они разваливаются от легчайшего толчка. А ведь сколько у нас ратовали за небольшие, написанные с разумной экономией, напряженные, как пружины в винтовочном затворе, книги! Да где там! Мы поговорим, пошумим — и ладно!

...Некоторые из тех людей, с которыми я познакомился на Ангаре, стали прототипами героев моей «Стремнины», — у них лишь немного изменены имена. Но это не значит, что они, как говорится, полностью «списаны с натуры». Я думаю, что писатель, создавая художественное произведение, вообще нико-

гда и не задается такой целью. Впрочем, если бы и задался, все равно в процессе работы он невольно, по чьей-то таинственной подсказке, придаст своему прототипу какие-то черты и черточки, принадлежащие другим людям, виденным им когда-то и где-то.

Кроме умения в совершенстве владеть словесной живописью, писатель должен обладать особым, очень редкостным избирательным зрением, которое дает ему возможность запечатлевать множество мельчайших наблюдений, необходимых для создания ярких, типических характеров не только своего времени, но и прошлого. Это избирательное зрение можно назвать вторым талантом писателя, который дается ему, пожалуй, не столько природой, сколько активной, деятельной жизнью среди людей. В затворничестве такой талант не развить, если даже человек в какой-то мере и наделен им от природы.

Как всегда, с особенным вниманием работал я над образами молодых людей. Мне хотелось показать их высокие духовные качества, какими отмечено лишь наше общество. Оказавшись в сложных жизненных обстоятельствах, они проявляют огромное нравственное превосходство над людьми, зараженными бациллами индивидуализма и эгоизма. Хотелось показать, что у нашей прекрасной молодежи, олицетворяющей подлинное творческое горение, никогда не может быть мира и лада с теми, кто насквозь пропитан равнодушием, ведущим к духовному угасанию, являющимся источником всяческого зла.

Больше всего меня занимал, естественно, образ главного героя романа — сибиряка Арсения Морошки, уроженца Приангарья, пережившего военное, сиротливое детство, прошедшего хорошую школу в нашей армии, умного, инициативного инженера-речника, человека народного, демократического склада. Как и Леонида Багрянова, я хотел нарисовать его крупным планом, считая, по давнишнему убеждению, что именно крупные героические характеры лучше всего отвечают главной, воспитательной задаче литературы.

Толчком к созданию такого образа послужила встреча с одним инженером-речником, а затем совместная поездка с ним по Енисею. Правда, его биография несхожа с биографией Морошки, она менее драматична, но уж это дело писателя — создать биографию своего героя, причем иногда с таким заострением, какое лучше всего, как при сильном свете, помогает разглядеть все его существо. Признаться, хотя мне и хорошо запомнился инженер-речник, я все же очень медленно, в больших раздумьях и даже муках выписывал образ своего Арсения Морошки. Не мне судить, каким он получился в романе, одно скажу — выписывал я его

с большой любовью, но без всяких прикрас, без всякой идеализации.

Создание образа героя нашего времени — весьма сложное и трудное дело. Сейчас оно под силу, мне кажется, не отдельным писателям, чего многие напрасно ожидают, а всей советской литературе. Да ведь образ такого героя давно уже и создается коллективными усилиями советских писателей. Он уже хорошо виден в книгах о нашей современности. Это только наша критика не всегда обращает на него свое рассеянное внимание.

В Мотыгине я не однажды заходил к одной чудесной старушке, бывшей рыбачке, чинившей теперь рыболовные сети для рыбозавода. Я с интересом наблюдал за ее работой, а она, по привычке людей, не любящих работать молча, рассказывала мне то о своей жизни, то о рыбачьей артели и годах войны. Из ее уст я услышал несколько интересных, тронувших меня историй; они к тому же были поведаны мне очень своеобычным, красочным языком. Эта старушка оказалась в моем романе об Ангаре. Она стала матерью Арсения Морошки. Многие говорят, что Анна Петровна — один из наиболее удачных женских образов в моих книгах. Очень сожалею, что ее речь менее своеобычна и красочна, чем у той милой старушки, — мне было трудно уловить все оттенки сибирского говора, сохранившегося лишь в таких местах, как Приангарье.

Главная же героиня романа Геля отыскалась совсем уж случайно. При первой встрече с нею я и не подумал, что она станет моей героиней. Но неисповедимы пути творчества! История любви и нелюбви Гели была услышана мною опять-таки не на шивере Аладьина, а совсем на другой шивере. В действительности эта драматическая история продолжалась около полугода. Мне нужно было уложить ее в строгие временные рамки моего романа, то есть не более как в два месяца. Немало пришлось поломать голову, чтобы найти логичный, правдивый, но очень сжатый (до предела!) путь развития ее драмы. Особенную трудность представляли поиски ее финала. До сих пор некоторые читатели, не понявшие всей сложности отношений между Морошкой и Гелей, находят неоправданным отъезд девушки с шиверы Буйной и тем более внешне спокойную реакцию на это Морошки. А как он, спрашивается, должен был вести себя в то время? Пытаться задержать при себе Гелю, которая готовилась стать матерью и думала только о своем будущем ребенке? Он знал, что Геля к нему вернется, да и она это знала.

Образ Гели стоил мне многих бессонных ночей, и выписан он, как мне кажется, мягко — акварелью. И поэтому он, может быть, очень любим мною.

Остается добавить, что каждая из трех историй, использованных в романе, в действительности развивалась совершенно обособленно, нигде не соприкасаясь с какой-либо другой. Каждая из трех человеческих судеб в отдельности могла стать основой для художественного произведения, но мне требовалось сделать из них некий сплав в одном романе. Пришлось отступить от некоторых подлинных событий, переделать другие до неузнаваемости и, наконец, придумать новые — и только в результате вот такой «переплавки» была создана, как мне думается, простая, естественная, современная история взаимоотношений трех людей в романе. Причем она происходила не где-нибудь, а именно на шивере Буйной, в атмосфере горячей работы прорабства, ведущего взрывы на Ангаре.

Кажется, я увлекся, зазвав читателя в свою лабораторию. Но без этого нельзя, раз речь идет о сложном писательском труде...

III

31 декабря 1966 года я писал в «Литературной газете»:

«Наконец-то дописаны последние страницы нового романа «Стремнина». Кончилась пятилетняя «сладкая каторга». Впрочем, еще какое-то время буду не спеша тщательно отделывать завершающие главы. Да и нелегко расставаться с рукописью, как с домом, где живут близкие, дорогие люди, с которыми так много прожито за пять лет».

Действительно, я еще долго не мог расстаться с рукописью «Стремнины». Но и после того, как расстался, мой роман увидел свет только через два года! В чем же дело? Нелегко написать художественное произведение, но опубликовать его иногда гораздо труднее. Не стоит распространяться о тех сложнейших взаимоотношениях, какие существуют в литературной среде. Они не всегда идеальны.

Долгая борьба за «Стремнину» отняла у меня так много сил, что я вновь оказался в больнице. И тут, всего через месяц после опубликования романа в журнале «Москва», я получил известие о присуждении мне за него второй премии Президиума ВЦСПС и Союза писателей СССР на Всесоюзном конкурсе на лучшее произведение о советском рабочем классе. Конкурс проводился впервые и был посвящен 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

Кстати, несмотря на почетную премию, наша критика обошла роман полным молчанием. Порадовало меня лишь небольшое письмецо В. Озерова. Вот оно: «Дорогой Михаил Семенович! Большое спасибо за «Стремнину». С интересом прочитал.

Крупные характеры, большие дела, бурные страсти — все это, по-моему, и составляет смысл нашего времени. Поздравляю. Новых Вам книг, крепкого здоровья, счастья! Ваш В. Озеров. 31.1.71 г.». Позднее порадовали и строки Е. Осетрова: «К числу современных авторов, кровно увлеченных темой Сибири, захваченных ею, наверное, навсегда, следует отнести и Михаила Бубеннова. Из его произведений самое сибирское — «Стремнина». Это роман героев. Их характеры под стать полноводным и бурным сибирским рекам, русла которых приходится прорубать, с тем чтобы дать проход судам. Прорубать взрывами. Работа героев сродни опасному труду солдат на войне...» И далее: «Самый прекрасный из них, которого нельзя не оценить, это, конечно, Арсений Морошка... Нет, это не пресловутый «идеальный» герой... Коренной сибиряк, он воплотил в себе наиболее привлекательные качества жителей суровой окраины, их энергию, предприимчивость, отвагу и, конечно, завидное умение говорить — кратко и сильно, точно и метко».

Спасибо этим критикам за большую поддержку, оказанную мне в трудные годы.

...Старых людей тревожат вечерние думы.

Я и сейчас не могу сказать с полной уверенностью, что не ошибся в юности, отправляясь в таинственную даль малозаметной тропой. Одно могу утверждать определенно: я не видел тогда для себя иного пути и не в силах был никуда свернуть с той тропы, на какую однажды ступила моя нога. Не в моей власти было не пойти на тот далекий зов, какой слышала моя душа.

Однако с горечью сознаю, что немногое мне удалось сделать на избранном пути за пятьдесят лет. Но если писатель был честен в своем труде, если мечтал лишь о беззаветном служении народу и родной стране — он во всем другом, я думаю, заслуживает снисхождения: все остальное в его жизни — от его природы и судьбы.

Я считаю себя рядовым солдатом русской литературы. С юных лет я служу ей, как служили советские солдаты своей Отчизне на полях Великой Отечественной войны. Не все они увенчали свои жизни героическими подвигами, достойными бессмертной славы, но все они честно исполнили свой священный воинский долг; от огня их сердец занялось и возникло над всем миром ослепительное сияние нашей Победы.

Москва, 1978—1979 гг.

●

ПОЭЗИЯ

Суюнбай ЭРАЛИЕВ,
народный поэт Киргизии

БЛАГОДАРЮ ВЕЛИКУЮ ПРИРОДУ

* * *

Остановясь в ложбине на ночлег,
мы ватники под головы сложили,
шатром избрали вековой орех,
а плечи небом Родины укрыли.
Хрустит трава на челюстях коней,
жуют траву стреноженные кони,
а я уже валяюсь в полусне
и растворяюсь в сладостной истоме.
Но вдруг кукушка начала:
— Ку-ку! —
закуковала звонко и протяжно,
и ветерок родился на лугу,
и в тонкое лицо повеял влажно,
и зашептал: «Не спи, не спи, не спи,
послушай шорох трав и насекомых,
тебя придут сегодня навестить
бессчетное число твоих знакомых!
Сегодня детство навестит тебя
и приведет с собой воспоминанья,
и ты поймешь все тайны бытия,
те, что не в силах разгадать
сознанье!»
...Таких ночей, конечно, в мире нет.

Я вдруг услышал
детства шаг бесшумный,
а по траве разлился лунный свет —
и разом стал чудесен мир подлунный.
Отары звезд, как овцы, не спешат,
в лугах небесных медленно блуждая,
а горы, словно чабаны, глядят,
чтобы из тьмы не вышла волчья стая.
А дальше что? Глубокий сон, рассвет
и розовая шапка на востоке...
Таких ночей, конечно, в мире нет,
от них в душе все светлые истоки.

ВОСПОМИНАНИЕ

В те дни
одну деревню за другой
мы брали то без боя, то с боями.
В одной нас ждали
жители гурьбой,
в другой —
лишь трубы черные стояли.

Но как я счастлив был осознавать,
что кровь друзей
пролита не напрасно,
когда встречала нас старуха мать
у повалившегося наземь прясла.

К нам подходила с кринкой молока,
с ковшом воды,
со скудным угощеньем,
и подымалась
дряхлая рука,
и осеняла нас благословеньем.

ВЕЧНЫЕ СНЕГА

Как сражались зима и весна!
И осталась на поле сраженья
вечно белых снегов пелена —
непокорные солнцу владенья.

Ощетинясь на горных хребтах,
отступив на седые вершины,
словно брошенные впопыхах,
залегли снеговые лавины.

А быть может, решила зима
их оставить, чтоб помнили люди,
что еще засвистит кутерьма
чистым холодом дышащей вьюги...

А пока истекают хребты
под напором палящего зноя
и грохочут ручьи с высоты,
мое сердце всю ночь беспокоя.

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

Снова птицы вершат перелет —
стая с юга,
другая с востока,
клин за клином из дальних широт —
вон они в синем небе высоко!
Их дороги среди облаков,
их ночлег —
где застигнет усталость...
Сколько стран,
государств,
городов
за плечами пернатых осталось!
Птичья стая, как воздух, вольна
и ничья, как небесные своды...
Под крылами граница видна —
нет границы
у птичьей свободы.
Их владенья —
распахнутный мир...
Так летите, пернатые дива!
В синем небе —
то клин, то пунктир...
Прилетайте, гнездитесь счастливо!

Перевел с киргизского
Станислав КУНЯЕВ

Георгий
РЫЖЕНКОВ

ВЫСОТА

Новеллы

Ожеледь

Погода часто менялась: то дыхнет оттепелью юг, то следом напомнит о себе север.

Небо низкими облаками прижалось к лесу. Изморось гладит лес. Мелкие капли дождя липнут к настывшим деревьям. В ледяном панцире повисают ветви. Клонятся тонкие вершины берез. В редине не выдерживают молодые сосенки — гнутся в дугу, а некоторых хрупкость подводит — ломается отяжелевшая вершина.

Холодный ветер гуляет в темноте рощи. В измороси купаются белокорые березы. Гибкие ниспадающие ветви качаются, баюкают лешего и, задевая обледенелые пряди соседок, рождают тихие хрустальные звуки. Звенят нескончаемым печальным звоном обледенелые ветви...

Новый день прогнал темноту, а в полдень ветер утих и тучи внезапно открыли солнце. На убеленной снегом поляне хоровод плакучих берез в блестящих украшениях. Деревья, у которых ветви ниспадают, плакучими называют.

Искрится ледяное ожерелье. Поблескивают на пнях горно-

стаевы шапки. Старые дубы в сверкающих ледяных кольчугах. Деревья подставили солнцу льдистые бока.

Преобразилась и пожухлая трава, не укрытая сугробом. Каждый стебелек, каждая былинка причудливо светятся в прозрачном ледяном одеянии.

Горем обернулась ожеледь для зимующих малых птах — толстая ледяная корка надежно упрятала всех букашек. Перелетают от дерева к дереву синицы, лазят меж стволов и сучьев в сосульках пóползни с пищухами. Издали кажется, что их ледяное украшение привлекает, а они, бедные, ищут, где древесную кору лед стороной обошел и не зацепился.

Беда постигла и многие молодые деревья. В разреженной пуще застыли согнувшиеся стволы, а хрупкие надломились. Но там, где лес не тронут рубкой, ожеледь не разгулялась. Слабые деревца с примерзшей ледяной ношей опираются на старших сестер, а те, словно в дружном коллективе, не дают падать.

В сиянии лунном...

Вечером возвращаюсь с работы, у дома встречает меня дочь.

— Папа, ты посмотри только! — возбужденно воскликнула она.

Я свернул с твердой дороги на истоптанный многочисленными детскими следами снег и встал на высоком берегу, где три березки-сестрички, словно взявшись за руки, переплелись ветвями, стоят, притихшие в полутьме.

С крутояра смотрю за Оку. Вечерняя мгла прячет заокские дали. Над заречьем только что поднялось круглоликое ночное светило, и сразу же лунные сполохи, прогнав темноту, легли на снег широкой искрящейся лентой. Прозрачный воздух приближал заречные луга, облитые русалочьим светом. Слева, в полусотне шагов, крутой овраг глубоко прорезал берег. Бугристое подгорье отрезает отмель реки. Луна скользит по обледенелым холмам, взметая фонтаны зеленовато-призрачного света. Выделяется один из холмов, обрызганный слепящими блестками. Кажется, что это выгорбье светится и освещает пространство вокруг себя. А дальше яркая полоса лунного света сошла с возвышенности и расчертила ледяное поле Оки, вспыхнула холодным пламенем на заречных буграх, ровной и строгой светящейся дорогой разделила пойму, отблесками прошлась по снежной короне стога, а затем, поблеклая и трепетная, рассеялась на опушке дремотного леса. Там, вдали, по горизонту темным забором протянулась дубовая роща.

Обернулся и бросил взгляд на задремавшие березки. Хрусталем застывшие капли сверкают на концах ветвей. Вверху моргают яркие звезды.

Ясный месяц щедро льет серебристо-зеленоватый свет на снеговые просторы. С прибрежной высоты смотрю на перламутровый белый покров и дрожащие звездочки на нем, разглядываю бесчисленные блики, разбросанные по ближним долам и всхолмлениям. Эта торжественная тишь и световой перепляс заворо-

жили меня — не хотелось уходить, и я долго стоял во власти лунной сказки, пока не начал зябнуть.

Перед сном хотелось снова взглянуть на прозрачную прелесть лунной ночи, на сверкающие переливы обледенелого взгорья. Месяц поднялся в зенит. Глянул на приметный холм, а с него будто украшения сняли. Холодным лунным блеском осветился склон, но уже не было того волшебства и той сказочной красоты, тех диковинных цветных узоров. Посмотрел за Оку в голубую просинь — вовсе потускнела заречная ширь.

Утром до рассвета я опять вышел искать таинственные картины. Луна светила на западной стороне — круглый шар низко повис над домами поселка.

Несколько дней стояла безоблачная, с хрусткими морозцами погода. Каждый вечер с восходом луны ходил смотреть заречную даль. Померкло разнообразие красок на холмистом раздолье — будто вуалью принакрылось. Затем месяц пошел на убыль — ущербился и с каждым днем таял. Снежную пустошь затоплял белесый мрак. Появилось ощущение угасающего костра, когда дрова прогорели, а с углей медленно спадает световая яркость и они постепенно прячутся в пепел, подпуская все ближе и ближе ночную темноту и прохладу.

При последующем полнолунии я надеялся снова увидеть пленительные полотна лунного сияния — утром и вечером в тишине подолгу стоял над кручей. Молочный нимб окружил луну. Желтый круг плутал по небесной хмури, а пороша запеленала ближнее обледенелое взгорье и дальнюю пойменную равнину — они лишь тускло светились в лунной седине. Полупрозрачная сумеречь притаила волшебные видения в сиянии лунном.

Оказывается, настоящая красота является только один раз. Природа не любит повторений и каждый раз творит для себя новые световые узоры.

Ледяные колокольцы

В паводок всякое бывает: иной раз река быстро очистится ото льда и несет свои мутные с луговым мусором воды или из затопленных озер белыми лебедями выплывут громоздкие льдины, а бывает, прорвется какой-нибудь затор, и тогда могучая Ока из торосистого поля натягивает на себя сплошную вереницу ледяного крошева.

В призрачной дреме рассвета мы долго лавировали на лодке меж сонных ледяных громадин и только что успели заплыть в тихую, образованную половодьем заводь, как ледяная лавина сплошь заняла речной стрежень. Мы пристали к прибрежному задернелому выступу, чтобы переждать, пока откроется фарватер.

Ледоход — зрелище великолепное, и полюбоваться им выходят на берег многие жители приречных селений.

Ясное и свежее утро обнимало землю. Нежданно мы услышали необыкновенную музыку. Крайние льдины, выбиваясь из торосов, упирались в берег, течение их разворачивало, и они, сталкиваясь, издавали тонкий хрустальный звон. А некоторые, поменьше, под сильным напором соседних, более тяжелых, на от-

мели выглядывали из воды, иногда вовсе поднимались на дыбы и переворачивались исподом вверх, а затем, бесцветные, также со звоном снова прятались в пучину. Коса рождала ледозвон. Она задерживала и чуть приподнимала на несколько мгновений каждую льдинку у берега, а та, снова погружаясь в воду, сталкивалась с другими, позванивала.

Целый час мы смотрели на ледоплав — река была перекрыта движущимися льдами, и целый час в утренней тишине слушали не беспорядочный глухой треск, какой бывает, когда рушится прочный ледовый панцирь, а чистый, временами чуть жалобный перезвон, иногда переходящий в прозрачную мелодию.

Позванивание льдин над разлившейся рекой напоминало отзвуки детства — точно разбредшиеся по лесу в ночном лошади издали колокольчиками дают о себе знать.

Жаворонок

Ока вышла из берегов и споро продолжает идти на прибыль. Когда перевалили быстрину Оки и лодка вошла в затопленные луга, мотор заглох. Мы взялись за весла... По застывшей воде и весла споро зашагали. Нам предстояло пересечь широкую пойму, преодолеть в ней цепочку располневших от полых вод озер с многочисленными протоками и попасть на Богдановский кордон.

С высоты звенела песня жаворонка. Оглянулись... Левый крутой берег отодвинулся далеко, а впереди на пойме простирается водная гладь — помутились в мареве дали. Жаворонок поет над водой. Слух ловит звонкосеребристые, чистые звуки милой и мелодичной, всем хорошо знакомой песни. Птица парит некоторое время, полусложив крылья, быстро снижается, у самой воды широко расставляет их и летит над водой, набирая высоту. Кажется, что чистые звуки из поднебесья вместе с солнечными бликами звонко переливаются на сверкающей воде.

Через несколько минут жаворонок снова быстро приближается к воде, а затем взвивается ввысь. И так три раза он повисает в голубизне и трижды спускается к затопленной долине, будто с высоты не веря глазам своим, что внизу вода... И опять из поднебесья нас сопровождает восхитительно светлая, непрерывно переливающаяся на всевозможные лады песня. А продолжается она, накрывая полую воду, так долго, как ни у одной птицы.

Певец описывает в голубом небе широкие круги и по спирали взвивается все выше и выше — в воздухе плавает одна черная точка. Но и с высоты так же щедро он дарил нам свою песню. Песня так же звонка и мелодична.

Слушаю торжественную песню весны и улавливаю в ней грустные нотки. Крошечная птичка тоскует по родному, залитому водой гнездовью. В голосе ее и радость возвращения на родную землю, и гимн бурному пробуждению природы, и едва уловимая грусть.

Тут мне невольно вспомнилось стихотворение поэта Владимира Михалева, пришедшего в литературу от полей и лугов:

Гнездо вверх дном,
Птенцы запаханы!
Вспорхнул и канул
в небосвод.
Надрывно охает и ахает,
А люди думают —
Поет!

Половодье. Луга в воде, а жаворонок поет о цветущем разнотравье, о ясных летних зорьках и росных долинах, утрами сверкающих изумрудными каплями. Неохота ему вить гнездо на высоком сухом берегу, не лежит к нему птичье сердце. Он ждет не дождется, когда схлынут вешние воды.

Выходит, и в беде свое гнездовье мило, потому и разносится по многоводью в душу западающая песенная грусть.

Вернулись...

Река, отыгравшись нежным перезвоном льдин, шла на убыль. Миновав цепочку озер в полузатопленных лугах, в лодке направляемся к Оке по небольшой, но пока еще по-весеннему полноводной речке.

В теснине обсохших берегов по водовертям минуем одну за другой речную огибь в ивовом окаеме. Быстрое течение рождает постоянную дрожь вздыбившихся из воды гибких прутьев кустарника.

Навстречу стремительно летит небольшая птица величиной со скворца. Да это зимородок: летит низко, часто машет небольшими тупыми крыльями, рядом сверкнул коричнево-красный низ, тешит взгляд темно-голубой верх, режет воздух длинный клинообразный клюв. Будто для облегчения веса, замыкает птицу прямо срезанный короткий хвост. По такой отличке эту «райскую» невидаль не спутаешь ни с одной птицей в наших краях.

Только отвел взгляд от удаляющейся птицы, вижу, на воде в голубом провале такая же птица крыльями машет. Поднимаю голову — впереди по-над речкой шустро приближается двойник. Этим же путем, один за другим, надвигаются еще маленькие силуэты. Я смотрю поочередно то на живописность птицы, то на такое же прекрасное отражение в воде. Шесть великолепно окрашенных пернатых странников, вдоволь напоив наши глаза, удалились к синеющей в легкой дымке уреме, где в заревом свете поблескивают водостоины.

Эти редкостные птицы ведут скрытный, уединенный образ жизни. Летом их можно видеть только в одиночку. Тихое и угрюмое существо, упрятавшись в кустах, как истый рыболов, с невозмутимым спокойствием часами недвижно и безмолвно глядит на воду, поджидая добычу. Увидев поживу, резко срывается с куста вниз головой и своим большим клювом хватает небольшую (чуть подлиннее спички) рыбешку. На случай неудачи ныряльщик и плавать немного умеет.

Пернатые рыболовы зиму провели на теплых водах и недавно

прилетели на родину. Не успели на пары разбиться — стайкой держатся. Их гнездовья пока затоплены. После спада воды по ивняковому крутобережью они роют норы до метра глубиной и там выводят потомство.

В межень на этой речке с перепадами не всюду и на ботнике протиснешься, а райским птахам-рыболовам здесь часто сопутствует удача: в устье речки мелкая рыба всегда из Оки заходит.

Из отголосков старых легенд слышал, что зимородок может придавать привлекательность и красоту всякому, кто оберегает его и покровительствует ему.

Глухариные витамины

На рассвете я долго плутал по сырым мочажинам и лесным крепям. Вышел на сухое взгорье и присел на полусгнивший пенек в гущине соснового низколесья. Певчая пернатая живность ликовала песнями. В многоголосом птичьем гомоне трудно разобрать отдельные голоса, однако некоторых солистов мне удалось видеть.

Вдали, за сетью ветвей, важно прогуливается крупная птица. Это глухарь. Он вышагивает меж сосенками и щиплет какую-то траву. Поднимаю бинокль... «Да он никак подснежники собирает», — догадался я. Вот подходит к фиолетовым пятнам сон-травы, там по нескольку стебельков с цветами из одного корневища выходят, и срывает раскрывшиеся бутоны. Но только мошник не букет для подруги готовит, а свой зоб наполняет. Теперь уж явственно вижу: несколько сорванных цветов на моих глазах проглотил...

Остановился лесной отшельник на маленькой полянке и осматривается: направляет свой глаз, окаймленный красным кольцом и с такой же яркой изгибистой надбровной полосой, то в одну сторону, то в другую и продолжает кормиться цветами сон-травы.

Этот первоцвет занесен в Красную книгу редких и охраняемых растений.

Нам, лесным жителям, трудно представить весенний светлый лес без низкорослого тюльпана.

Но почему растение сон-травой называют? Название дано из-за усыпляющего его действия. Якобы люди, попавшие вечером на поляну, где много этих растений, засыпают от цветочных испарений.

А вот что рассказывает легенда. Однажды охотник увидел, что медведь выдрал с корнем растение-цветок и начал лизать. Затем охмелел. Охотник тоже попробовал и цветок и корень. Вскоре и его одолел сон. С тех пор и стали называть растение сон-травой. Такие поверья издавна бытовали и у других народов.

Доля правды в древних легендах и поверьях есть: сон-трава применяется в медицине как лекарственное растение. В некоторых областях она исстари зовется травой-чернозельем. Пермские крестьяне ее свежим соком растирались от ревматизма и

«ломотных страданий». Во взваре травы купались от сыпей на коже. На Вологодчине отваром сон-травы поили рожениц: облегчает родовые потуги и успокаивает боль. Якуты сгоняли сон-травой чесотку: зелень клали на три дня в теплую сметану, затем ею мазали тело. Высушенные, истолченные в порошок растения привязывали к больному месту для созревания нарыва. На выпасах я много раз видел овец и коз, охотно поедающих целебные цветы. А вот в глухомани осторожную птицу на кормежке редко кому приходится видеть. А тут убедился: для глухаря фиолетовые колокольчики — витамины.

Коршун-нахлебник

В дубраве, что одной стороной примыкает к большому озеру, а другой упирается в болотную трясину, на вершине векового дуба темнеет большое гнездо. Несколько лет подряд здесь, на безлюдье, выводит свое потомство редкая для наших мест речная скопа. Часто на суку подолгу сидит крупная — больше полуметра — с черно-бурой спиной и грязно-белой грудью птица. Парочка соединилась на всю птичью жизнь и не изменяет старому гнезду. А неподалеку, в развилке ствола и толстых боковых ветвей, весной появилось второе гнездо. Это черный коршун — темно-бурый сверху и рыжеватый снизу, немного уступающий по размерам скопе, в соседи навязался. Он натаскал толстых прутьев, переплел их травами, устлал внутри лоскутами тряпиц да обрывками бумаг и тоже свой род продолжает.

Так и живут две пары хищников рядом. С весны охотничьи пути у них расходятся. Коршун улетает в редколесье и там то ящерицу схватит, то мышь поймает, то зазевавшейся птичкой поживится, то гадюку подхватит и долго кружит с ней над вырубкой, а когда и падалью довольствуется. Иногда коршуны над лесом парой летают, перекликаясь приятным посвистом.

Речная скопа на водных просторах рыболовством промышляет — улетает в залитые луга. После половодья, когда еще вода мутновата, ей, правда, приходится пробавляться лягушками да мышами. Однако этот хищник с загнутым клювом птиц не трогает. Даже в огромном гнезде скопы какая-то малая птаха нашла приют — своих птенцов под опекой крупного хищника выводит.

Но вот посветлела вода и стол «рыболова» становится богатым: свежей рыбы с избытком, а выброшенную на берег волнами или оставленную рыбаками скопа даже не берет.

Тут-то и начинает пользоваться ее соседством коршун — тоже переходит на рыбную диету, а потом рыбой потомство выкармливает, хотя сам и не ловит. Сначала объедки подбирает, а затем становится таким назойливым, что иногда отбирает добычу у соседей.

Однажды был такой случай. Над Окой летала речная скопа. Высмотрела поживу, бросилась в воду — несколько раз ударила крыльями о поверхность и вынесла крупную рыбу на песчаную косу. Дальше, видимо, лететь было тяжело. Только успела два-три раза клюнуть — откуда ни возьмись, коршун налетел.

Описал большой круг и, сложив крылья, ринулся с высоты на скопу. Но, оказалось, только предупредил о нападении. Не долетев до земли, выпустил крылья и взмыл опять кверху.

Когда коршун сделал второй заход и снова сложил крылья для второго выхода в пике, скопа поспешно улетела продолжать рыбную ловлю, оставив обед соседу-нахлебнику.

У реки

Давно буйствует рассвет, а туман упрямится — не пускает белый день наземь.

Целый час блуждаю в лугах по росистым травам и не могу выйти к излучине Оки. Влажная муть закрыла все вокруг — в двадцати шагах ничего не видно; повисла тягучая белая мгла, и я без дороги никак не сориентируюсь.

Наконец передо мной провал — речная ширь в молочном тумане. В прибрежных кустах сквозит сырость. Низкими облаками, рукой достать можно, проплывает белесая дымка, временами загораживая чистое небо надо мной. Солнце давно взошло, но серая поволока тумана начисто спрятала даже зарю.

Но вдруг седая пелена над водой разверзлась — небольшое просветление наступило. Неожиданно на речной стремнине вода заиграла солнечными брызгами. Всматриваюсь и удивляюсь: да это же дневное светило на тихой глади купается! Стрежень реки заблестел нестерпимо ярко. Откуда он, этот солнечный рикошет? Противоположный берег скрыт за плотной туманной завесой. Только и вижу — в реке сверкает солнечное отражение, будто солнце в омут свалилось и плотная лиловая неподвижная навесь подниматься ему не дает. А оно с белыми рыбками в прятки играет. Те, серебристые, то и дело дружной стайкой выплескиваются из воды.

Серебрятся круги от разыгравшейся рыбы. На прибрежном лозняке алмазами зарделись две крупные капли росы, готовые упасть.

Эге, вот в чем дело! У самой воды теплее, воздух не охладился до росы и тумана не образовалось. Эту-то прозрачную лазейку и высмотрело красное солнышко, заглянуло в окошко над рекой, а зеркальная гладь отражение рикошетом на эту сторону передала.

Смотрю на солнечный мираж, любуюсь сверканием воды под плотными облаками тумана и думаю: влажная дымка в одночасье разойдется. Припек растопит ее, снимет туманную мглу с поречья. И обольются солнечным светом росные травы.

Охотник за... осами

Едем просекой в кузове открытой грузовой машины. Успел заметить: от дупла придорожной старой осины отделилась темно-бурая птица и устремилась по прямому лесному коридору.

Хищник на длинных, в размахе около метра, крыльях с громоздкой поклажей не поднимается к вершинам, а летит от нас вполдерева медленно и тяжеловесно.

Шофер тоже заметил хищника и чуть прибавил газ. Расстояние сокращалось, хотя и медленно. Мы уже видим у пернатого охотника зажатую в лапах круглую пластинку из осиного гнезда. Оказывается осоед из ястребиной семьи в дупле похозяйничал.

Эти птицы прилетают к нам на месяц позже других хищных и раньше улетают: живут в лесу, пока шершни да осы со шмелями плодятся. Личинками этих жалящих насекомых выкармливают свое немногочисленное потомство и сами лакомятся.

Дорогу пересекли ухабы, и мы отстали. В этом лесном квартале с прогалинами и редколесьем много лет подряд гнездится пара воронов. В начале июня их жилье опустело. Осоед подправил «квартиру», украсил ее зелеными ветками, и вскоре появились два яичка. Тридцать три дня пернатые родители поочередно сидели в гнезде и кормили друг друга осиным отродьем, которое приносили в сотах. Затем полтора месяца выхаживали двух птенцов. Так что все теплое лето они совершают набеги на потомство шершней, шмелей и ос, а иногда и пчел в лесу разоряют. Только на лесной пасеке не медом, а личинками лакомятся. Жесткое оперение на голове и твердые щитки на ногах, будто броня, защищают птицу от укусов. Даже шершней осоед не боится. Взрослых насекомых с жалом осоед так искусно приладился ловить, что шершень или оса ложатся поперек края клюва и при быстром сжатии челюстей откусываемый кончик задней части тела вместе с жалом отпадает.

До полдюжины небольших осиных гнезд выследит и разорит за долгий летний день крылатый охотник. Но иногда гнезда попадаются большие. В научной литературе описан случай: «...в предместье американского города Питтсбурга нашли самое большое из известных до сих пор осиных гнезд — больше метра в диаметре».

Осоеды охотно поедают крупных гусениц, жуков, а также ящериц, змей и лягушек. Но основное питание — личинки ос — оправдывает название птицы.

Часами недвижно сидит на дереве охотник, обладающий острым зрением, и следит за осиной трассой.

Адамова трава

Несколько лет назад в лесу на речном склоне отыскал я редкое растение из орхидейных — адамову траву. И каждое лето в период цветения с волнением, как на первое свидание, приезжаю к этому удивительной красоты цветку. А сейчас как раз пора его цветения.

Третий день я числился в отпуске, но держали неотложные дела. Перед отъездом в санаторий решил съездить в лес к рабочим и лесникам, где отводили делянки, а затем посмотреть цветок.

На обратном пути из делянки посадил на мотоцикл своего

сослуживца и товарища по многочисленным лесным походам Алексея Матвеича — лесника с Богдановского кордона. Теперь я убедился, что все у них шло хорошо и мне можно уезжать лечиться.

Старый лесник словно прочитал мои мысли.

— Я говорил, не беспокойтесь, все сделаем, как быть должно, так что отправляйтесь к синему морю, отдыхайте...

На повороте остановил мотоцикл.

— Вы, Матвеич, — говорю я, — если желаете, идите домой. Тут недалеко до кордона, а я к адамовой траве съезжу.

— Ах, Дмитрий Данилыч, — укоризненно, но не очень строго говорит Матвеич. — Все-то вы бы ездили да смотрели... Просмотрите свой отпуск.

— А все-таки съезжу, посмотрю. Интересно же, Матвеич!

— Ну и я с вами.

...Малозаметная тропа воткнулась в лиственную густель. Мотоцикл я прислонил к корявому стволу старого дуба.

Петляем по известняковому склону. Чтобы не торить новой тропы в заветном месте и тем не выказать редкий цветок неблагодарным созерцателям, делаем полукруг поодаль и приближаемся к цветочному сокровищу с другой стороны. Идем молча, будто боясь вспугнуть редкую птицу.

Расклоняю пружинистые ветки низкорослого дуба и осторожно ступаю за куст. Здесь в плотном окружении кустарников спряталась прогалинка в пять шагов с редким разнотравьем: к поросли дуба полукружьем приткнулись кусты жимолости, а замыкают непролазное оцепление этой полянки заросли бересклета, что укрылись под липовой навесью, словно устыдились темных бородавок на своем уродливом теле.

На эту отгороженную кустами поляну, видно, очень редко ступает нога человека — в глухомани не увидишь путника, а если и забредет кто из «дикарей», то мало охотников продираться сквозь чащу кустарников. Здесь три растения чуть-чуть расступились, нацепив на себя по три величественных цветка в ладонь ширины. Замысловатый красно-бурый цветок усеян внутри пурпуровыми точками, словно родинками. Нижняя часть его — ярко-желтый башмачок — на игрушечную туфельку походит. Неброская фиолетовая пестрота других цветущих трав вокруг подчеркивает красоту царицы цветов — орхидеи.

Каждый год летом я прихожу сюда и каждый раз с непонятным благоговением замираю перед растительным волшебством с изумительными цветами. Эту встречу я всегда переживаю как полноту жизни. Нежность адамова цветка наполняет душу неосознанным счастьем.

В тишине прожужжал земляной шмель, мелькнув золотыми оплечьями у яркого цветка.

— Всю жизнь по лесу хожу, а такого цветка не примечал — впервые вижу удивительное чудо природы, такой не уйдет в забвенье, — нарушает длительное молчание Алексей Матвеич. Изумленный, он усомнился в аборигене. И, не считая этот цветок исконным жителем наших лесов, переспросил: — Аль птица с теплых краев семена занесла?

— Может, и птица, только родом он не из дальних стран. Раньше они чаще встречались. Но трудно упрятаться такому привлекательному цветку от глаз «любителей природы». Шату-

ны-туристы срывают, чтобы потом... выбросить. Так постепенно и выживают из леса. Сейчас очень редким стало это растение. Один знакомый московский профессор всю жизнь посвятил географии растений. В бесчисленных экспедициях изъездил всю Россию, а вот такой цветок в природе встречал очень редко — в десять лет один раз.

Посеяв однажды семена, семнадцать лет цветков ждать приходится. Да и то быть цветам лишь в том случае, если в почве окажутся особые грибы, с которыми царица цветов дружит.

Много и других тайн хранит эта северная орхидея. Но терпеливое ожидание щедро вознаграждается. Даже единственная встреча с цветущей сказочной адамовой травой не забудется — уходишь от нее с чувством глубокой душевной радости.

— Все цветки одинаковые, будто мастер-кудесник на один копыл загинал, — замечает Матвеич, — на больших бабочек похожи!

— Тысячелетиями природа шлифовала: не пролезет шмель в цветок за нектаром — быть пустоцвету. А буйно разовьется — увеличится в размерах, тогда не прочертит мохнатой спиной по пыльникам, не перенесет пыльцу на другой цветок — тоже семян не жди: тут большая и постоянная точность соблюдается.

Рассказывают, что, когда спросили знаменитого американского селекционера Лютера Бербанка, не пробовал ли он когда-нибудь выводить новые сорта орхидей, он изумленно воскликнул: «Орхидеи? Но разве их можно улучшить?»

Мало найдется представителей растительного мира, отличающихся такой изысканной формой, великолепием окраски, невероятными сочетаниями красок, наконец, удивительным ароматом, как орхидеи. Эти редкие растения занесены в Красную книгу СССР.

Постояли, полюбовались на царицу цветов, подышали экзотическим ароматом и направились к дубу, где приник к стволу мотоцикл.

— А теперь домой?

— Да, — говорю я, — только давайте, Матвеич, сначала завернем к той примеченной сосенке. Помните, шишки на ней гроздьями расположены?

— А домой уж к ночи?

— Да ведь сейчас как раз молодые шишки завязываются. Любопытно!

Я направил мотоцикл в глухомань, на заросшую высокой травой тропу, перехваченную выступающими из земли корнями деревьев, словно надутыми жилами мускульное тело. Тряска была немилосердная. Но сосенку с гроздьями шишек все же посмотрели.

Вечером мы с Матвеичем пили его отменный чай. И тем же вечером, уже затемно, я отправился с Богдановского кордона домой в Лукоречье. Завтра сборы в дальнюю дорогу.

Высота

Эта наторенная дорожка ведет на лесной крутояр. В конце тропы, у обрыва, деревья отступают. В любое время года эта

высота притягивает путника. Отсюда видны плавные изгибы Оки, широкая заводь с небольшим островком и заречные луговые просторы.

Зимой в заречье темная лента дороги пересекает снеговую целину, накинутую на луговое раздолье, и, коснувшись околицы деревни, что чернеет вдали рядами изб, прячется в лесу. Весной — водополица, зрелище великолепное, а летом зеленеет пойма с многочисленными голубыми озерами и широкими, чуть изогнутыми старицами.

Осень. С грустью смотрю на унылые долины, уставленные стогами сена. Просторная луговина обрамлена отливающим желтизной кустарником, словно в овале золотой рамки. А лес на грустный праздник прощания с теплом разукрасил свою одежду, чтобы потом на пороге зимнего сна сбросить ее.

С этой небольшой прогалины, на высоком берегу Оки, то предстанет в натуре «Золотая осень» Левитана, то никак не насмотришься на «Лесные дали» Шишкина. А где-то внизу у тихого омута одолень-трава на воде плавает и сидит грустная «Аленушка» Васнецова. И кажется разом, что выйдет из чащи лесной «Полесовщик» Крамского с устремленным на тебя взглядом.

А сейчас больше манит лес.

Вдали поймой протянулась дубовая роща в водяной оправе большого озера. Сквозная прозрачность обняла землю. Такая отчетливая видимость горизонта бывает только осенью. Просветлели лесные дали. Отодвинулся небосклон. Зеленый гребень из хвойного молодняка притулился к разодетому чернолесью. Светло-желтой полосой уходит вдаль трепетный осинник. Палевым ковром выделяется березняк. Маленьким островком среди краснолесья пылают кленовые заросли. Узкой фиолетовой лентой темнеют лесные провалы-овраги со светлыми ручьями-речками, запрятавшимися в ольшаник. Зеленым чубом на взгорке выпирает молодой сосняк. За далью, одетой в легкие цветные тона, открывается другая манящая даль. Желтая грива чернолесья оторочила горизонт.

Каждая порода деревьев на осеннем карнавале имеет свою окраску, потому и оттенки разные. Одни светлые тона среди зеленого краснолесья полосой в изломах тянутся, другие живописным кругом светятся, а третьи отдельными пятнами вкрапливаются в лесной хоровод. Горбатятся хвойные взгорки, уступами чередуясь с низинами, в обрамлении пестрого кружева затаенной красоты листопада. С высоты открылась бесконечность цветовых перипетий в лесном половодье. Смотри и никогда не насмотришься на лесную даль.

Вот почему испокон веков у людей страсть к высоте. Мы любим высокие места, откуда далеко видать, поэтому высота всегда манит. Да и к жизненной высоте человек через трудности стремится, чтобы во всей удивительной красоте видеть распахнутые светлые дали.

Деревья умирают стоя

У дороги, которая связывает лесные поселки, стоит древняя высохшая береза — «свидетель старины глубокой».

Сколько лет в дебрях люди торят дорогу, никто не помнит и никто не знает. Сколько лет дерево стоит стражем у дороги, тоже никто не угадает. А стоит оно в бору очень долго — может быть, двести лет, а может быть, и больше.

Когда рубка была, пощадили старую березу; ветви ее будто девичьи косы в то время повисали, чуть земли не касались. Плакучей ее называли. То ли в благодарность за то, что путников под сень резной зелени манила, то ли за коряжистость ствола забраковали, а может быть, по другой причине ее губить не хотели. Но пришло время дряхлеть дереву. Усохла вершина, а береза живет, ветви по весне зеленеют, шумят на ветру. Потом до ветвей очередь дошла: то среди лета одну прядь зелень покинет, то другая по теплу изумрудной листвой не оденется. А зимой, смотришь, ствол сухой ветви недосчитался — злой ветер обломит и в снег сбросит.

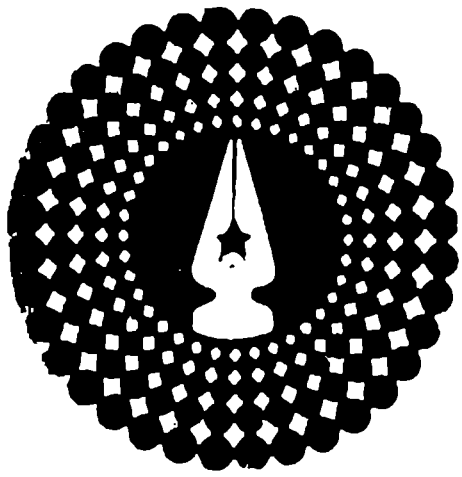
В одну из весен не обогрел живительный сок березовое тело, и оно не украсилось листвой. Каждое дуновение печально треплет засохшие ветви да не щадя обламывает их. В летнюю теплынь скорбно стояло дерево без зеленого одеяния. Вольный ветер в первые годы, будто жалеючи, лишь тонкие веточки отнимал, а потом и до толстых очередь дошла. В ветреную ночь поздней осени буря так разыгралась, что обезглавила дерево. Лишившись вершины, оно будто присело. Остались скелет из обломанных сучьев да могучий ствол, изрешеченный дятлами.

Усаживаясь в тень, с усладой отдыхали притомившиеся путники около доживающего второй век лесного долгожителя. При грибном обилии старая береза гулко передавала по древесной цепи ауканье любителей смиренной охоты. Два столетия лесная дичь находила у зеленокудрой пристанище. Белокорый стоерос с раскидистой кроной надежно закрывал беспокойных и суетливых обитателей пущи. Иногда на вершине неожиданно восседал лесной отшельник-глухарь, а то в непогоду качалась стая осторожных косачей. Перевидела и переслышала береза за долгую древесную жизнь много необузданного зверья всякого. Содрогалась ветвями, когда хищные рыси прядали и вонзали в белую кору острые когти. Не один раз и одинокий серый разбойник-бродяга непристойно оросил ее толстые корни. Касаясь ветвей, рыскал по чернотропу косолапый царь зверей. Красавец сохатый с высоким загривком расчесывал могучими рогами повисшие зеленые плети. Иногда в глухую полночь, укрывшись темнотой, останавливался чуткий вепрь. (Так в старину диких кабанов называли.) Старое дерево часто бросало тень и на мелкую мохнатую живность.

Нет-нет да и встретишь среди зеленой поросли такого же лесного исполина с отжившими ветвями. И усохшие деревья не спешат падать.

Этой ли березе или ее предку — березе покляпой — приходилось разносить по лесу былинный свист Соловья-разбойника, видеть неторопкую удаль Ильи Муромца. Отсюда ведь знаменитые Муромские леса пошли, а до родины богатыря святорусского — села Карачарова вовсе рукой подать. Много повидавшее дерево и умирает гордо.

●



ОЧЕРК
И ПУБЛИЦИСТИКА

Анатолий ОМЕЛЬЧУК

ГОРОДА НА ПАМЯТЬ

Делегатов и гостей XXVI съезда КПСС приветствовали представители советской молодежи. Среди них был и бригадир треста «Уренгойгазстрой», командир Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени XVIII съезда ВЛКСМ, депутат Верховного Совета СССР, член ЦК ВЛКСМ Павел Баряев.

— Мне, Павлу Баряеву, — сказал он, — бригадиру из Уренгоя, рядовому в шеренге молодой смены рабочего класса, оказано огромное доверие быть одним из пятисот тысяч добровольцев, прибывших с комсомольской путевкой на стройки десятой пятилетки.

На ста восьмидесяти всесоюзных ударных стройках, в цехах и забоях, на буровых и у пультов электростанций трудом моих сверстников писались строки комсомольского рапорта съезду коммунистов. Душа и сердце Ленинского комсомола — рабочая молодежь, верная традициям стахановцев, ударников пятилеток, — будет и впредь настойчиво овладевать пролетарской наукой побеждать.

...Жара стояла за тридцать — небывалая в здешних местах. Гимнастерки липли

к мокрым спинам, а комары не знали жалости. Ноги вязли в песке.

Когда замполит принес на погранзаставу комсомольские путевки для тех, кто заканчивал срок службы, каждый мог выбрать — остаться ли на Дальнем Востоке или поехать в далекую Тюменскую область.

— Поехали в Надым, ребята, — предложил сержант Павел Баряев. — С дальневосточной землей познакомились, пора и с северной...

И вот они вязнут в противном мелком песке, разыскивая среди невысоких и ветхих от времени бараков контору «Севергазстрой».

— Слышь, Павел, может, все-таки лучше было на Востоке остаться?

— Места знакомые, изведанные, а эти, видишь, как горячо встречают, вот только как провожать будут...

— А зачем нас провожать? Построим город и обживем его...

Бывших пограничников определили в бригаду Шевцова. Владимир Дмитриевич привлекал к себе обстоятельностью суждений и твердостью характера. Со словами не торопился, говорил их, словно взвешивал. На стройплощадке не суетился, но работа у него спорилась.

Будущая столица сибирской газовой индустрии представляла собой кучку бараков, сохранившихся от послевоенной железнодорожной стройки. К этому отживающему свое время микрорайону лепились вагончики прибывающих строителей и трассовиков. В кабинете управляющего ребята увидели макет будущего Надыма — пятиэтажные дома современной архитектурной формы, одетые в стекло и бетон.

Сооружение головной компрессорной было одним из важнейших объектов на стройке. Его и стала возводить бригада Павла Баряева. Именно отсюда позднее поехал Павел на XVIII съезд комсомола в Москву. Как известно, после съезда Центральный Комитет ВЛКСМ направил на ударные комсомольские стройки двухтысячный отряд добровольцев. Большая часть молодых рабочих отправилась в северную Сибирь строить город Новый Уренгой. Из столицы Павел Баряев ехал в будущий город командиром Всесоюзного отряда...

Ребята как должное приняли злую первомайскую пургу, которая «гостеприимно» встретила их в день приезда. Весна выдалась трудной, затяжной. Более теплой встречи они и не ожидали — были готовы к любым сюрпризам природы. Но к тому, что им придется остаться почти на месяц без работы, они не были готовы. «Мертвые» сезоны на северных стройках не редкость. Приходятся они на стык распутицы и начала навигации. Старые запасы материалов кончаются, а новые подвезти нечем: река не позволяет. На Пуре навигация открывается позже, чем на других северных реках: Обская губа, в которую впадает Пура, еще долгое время держит Обь на «ледовом замке». Самолетами не навозишься. В итоге возникает «мертвый» сезон.

Отряд Баряева не мог мириться с таким положением дел. Возникла идея написать письмо в ЦК ВЛКСМ. В тресте и в управлении — а на основе отряда было сформировано комсомольско-молодежное строительное управление № 53 — не все одобрили эту инициативу. Действовала здесь, конечно, и логика: «сор из избы не выносить».

Баряев первым поставил свою подпись под коллективным письмом. Потому что не за легкой жизнью ехали ребята в Уренгой, а настоящее дело делать. Принципиальная позиция отряда заставила некоторых хозяйственников пересмотреть устаревшие формы организации труда, в тресте мало-помалу стали находить рациональные методы снабжения стройки необходимым сырьем, старались не ссылаться на пресловутую «северную специфику».

На строительстве жилья бригада Павла Баряева трудилась в самые жгучие морозы. И, несмотря на это, в два раза перевыполняла ежедневные нормы. А ведь у Баряева и кадры-то были не особо квалифицированные. Правда, все прошли положенный курс в учебном комбинате, получили разряды. Но профессионалов со стажем было в коллективе не больше, чем пальцев на одной руке.

Не для рекордов строили, а для себя — каждый сердцем понимал: не решив жилищную проблему, нельзя освоить суровый край. И еще. Ребятам было важно доказать, что строить можно в любых погодных условиях, вводить объекты в самые сжатые сроки.

Конечно, они работали не по восемь положенных по норме часов.

— Остаемся после смены сами, ведь сдаем жилье, — отвечал на мой вопрос Баряев. — Мы-то живем в общежитии, а кому-то еще приходится селиться в самодельных балка́х. А то живут ребята и посменно: один на работе, другой спит на его кровати. Приезжают новые строители, а жилья не хватает, ведь дома́ не грибы, сами не растут.

Такого же мнения и командир башкирских строителей в Уренгое Вячеслав Вахрушев. За плечами у него немалый трудовой стаж — исколесил вдоль и поперек всю республику, когда работал в механизированной колонне треста «Башсельстрой», а теперь возглавляет единственную в управлении бригаду каменщиков. Она возводит в центре Уренгоя двухэтажный комплекс, где разместятся быткомбинат, магазин, столовая, молодежное кафе. Строить нелегко — бетон не рассчитан на сорокаградусные морозы, так что ребятам приходилось выхватывать редкие теплые дни, чтобы вести кладку стен.

— Думаю, уже под Новый год мы в новом кафе всей бригадой попляшем, — считал бригадир.

И они сдержали слово.

Деревянная пора Уренгоя прошла, началась бетонная, кирпичная, железная. Фронт работ бригады расширяется с каждым днем. Идет закладка фундаментов большого общежития, здания больницы. Им возводить и школы, и кинотеатры, и торговые центры, и, конечно же, Дворцы бракосочетания.

...Свадьба бригадира плотников Петра Землянко и бригадира отделочниц Татьяны Слепуховой была первой в украинском отряде, и земляки постарались. Когда молодожены появились в столовой, по случаю свадьбы торжественно украшенной, их встретил вокально-инструментальный ансамбль из Закарпатья. Откуда появились музыканты, когда? Молодоженам это было неизвестно. Сюрприз от земляков...

Коренастый крепыш Петр Землянко приехал в Уренгой первоклассным специалистом: после окончания ПТУ работал столяром

и плотником, затем окончил Донецкий строительный техникум. В Уренгое ему сразу же предложили должность мастера — не согласился: нет еще опыта, нужных знаний. «Вот поработаю как все...»

В Донецке у него была хорошая репутация — строил он объекты республиканского и союзного значения: хлопчатобумажный комбинат, прокатные станы и электросталеплавильный цех на Донецком металлургическом комбинате, конвертерный цех на «Азовстали». Заработки были более чем солидные.

— Что ж поманило в Сибирь? — спросил я Петра.

Землянко ответил коротко:

— Сибирь — суровый край, любит серьезный подход и к работе и к жизни. Здесь скорее познаешь истинную цену себе и другим.

— Каждую субботу — свадьба, — говорит Н. П. Литовченко, заместитель начальника управления по кадрам и быту. Наверное, он ищет понимания и сочувствия: организация свадеб ложится на его плечи. — По июль все расписано, а на дворе еще январь!

— Да это же прекрасно, — говорю я Николаю Прокопьевичу. — Каждая новая семья укрепляет уренгойский рабочий коллектив.

Литовченко соглашается и как бы в подтверждение этих слов говорит:

— Отряд Баряева самый стабильный в северных районах Тюмени. В него вошли достойные посланцы республик и областей, крепкие духом люди.

Разнообразна и культурная жизнь строителей. В Уренгое недавно побывали с концертом самодеятельные артисты Московского авиационного института, постоянные шефы стройки — агитбригада поезда «Молодогвардеец», артисты кино с Украины, художники из Башкирии, поэты и прозаики из Москвы. В местной библиотеке на обложках книг автографы Н. Грибачева, В. Кожевникова, Ю. Бондарева, Г. Маркова, В. Катаева, Б. Полевого. В этой библиотеке вам с гордостью покажут книги «Малая земля», «Возрождение» и «Целина» с дарственными надписями Л. И. Брежнева.

...Кажется, не так давно XVIII съезд ВЛКСМ провожал Всесоюзный ударный отряд на стройки Сибири и Дальнего Востока. Комсомольская площадь была в ярком свете прожекторов. Повсюду алели транспаранты: «Даешь Сибирь!», «Даешь БАМ!», «Даешь Уренгой!».

Мне запомнился взволнованный голос Павла Баряева:

— Мы построим Уренгой! Только быстрее бы за дело взяться.

И город уже есть. Молодой, новый, с иголочки. Когда вышел указ, что Уренгой получил статус города, Павел Баряев при встрече со мной улыбнулся и на вопрос: «Как жизнь?» — ответил:

— Нормально... — И, подмигнув, добавил: — Как это в песне поется:

Не каждому дано так щедро жить,
Друзьям на память города дарить.

Тюменская область, город Уренгой

●

Виктор ИЛЬИН

НЕ ИЩИТЕ ИХ СРЕДИ МЕРТВЫХ

6 июля 1943 года командующий 5-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенант танковых войск Павел Алексеевич Ротмистров получил приказ: к утру 8 июля сосредоточиться юго-западнее Старого Оскола. Для этого армии предстояло совершить форсированный марш протяженностью более двухсот километров.

Спустя полтора часа главные силы танковой армады начали движение двумя эшелонами. Танки спешили к месту тяжелых боев, туда, где развернулась грандиозная Курская битва.

Стояла жара. Клубы пыли висели над колоннами. Было трудно дышать, нестерпимо хотелось пить, но танкисты продолжали путь.

К утру 8 июля главные силы 5-й армии вышли на указанные рубежи. Экипажи и расчеты приводили в порядок материальную часть, заправляли машины горючим. Так прошел день. И вновь последовал приказ: танковой армии выйти в район Прохоровки, быть в готовности отразить атаки гитлеровцев.

11 июля противник создал на Прохоровском направлении мощную группи-

ровку из основных сил 4-й танковой армии. Около 700 танков и самоходных орудий, из которых свыше 100 были тяжелыми, нацелились на нашу оборону. Это были лучшие танковые войска рейха, во главе которых стояли наиболее опытные генералы и офицеры. Кроме этих сил, в сорока километрах от Прохоровки стояли наготове три танковые и три пехотные дивизии, насчитывавшие до 300 танков.

Таким образом, всего под Прохоровкой против 5-й гвардейской армии, насчитывавшей в своем составе 850 танков и самоходно-артиллерийских установок, фашисты сконцентрировали около тысячи танков и самоходок. Среди них были новые тяжелые танки «тигр».

Спустя годы после битвы под Прохоровкой генерал-полковник гитлеровского вермахта Гудериан, которого на Западе считают основоположником теории развития и боевого применения бронетанковых войск, писал в книге «Танки — вперед!»: «Характер боя танков против танков зависит прежде всего от тактико-технических данных танков противника, их действий и условий местности».

Тактико-технические данные наших машин, казалось бы, обещали немецким дивизиям победу, поскольку их танки могли вести огонь с более дальней дистанции, чем наши. Стадо «тигров» могло смять краснозвездные тридцатьчетверки своим вдвое большим весом. Одним словом, с точки зрения гитлеровской тактики перевес и превосходство в танках для фашистов в районе Прохоровки были обеспечены.

Однако события развернулись иначе. В приказе командующего Воронежским фронтом генерала армии Н. Ф. Ватутина, в частности, указывалось: «5-й гвардейской танковой армии уничтожить противника юго-западнее Прохоровки, к исходу дня выйти на рубеж Красная Дубрава, Яковлево».

Так случилось, что фашистам удалось упредить нашу атаку и 12 июля утром нанести при поддержке авиации массированный удар колонной тяжелых танков в стык между 181-й и 17-й танковыми бригадами.

В эти часы под Прохоровкой и произошли события, о которых пойдет речь.

...В танке их было четверо: командир танка лейтенант Иван Алексеевич Гусев, механик-водитель старший сержант Александр Сергеевич Николаев, стрелок-радист младший сержант Анатолий Григорьевич Зырянов, заряжающий сержант Роман Иосифович Чернов. Затем в танке появился пятый — командир батальона капитан Петр Алексеевич Скрипкин, выбравший танк Гусева в качестве командирской машины. Выбрал не случайно: это был лучший экипаж в батальоне.

Несколько слов о том, что же это были за люди, оказавшиеся в одном из советских танков.

Уроженцу села Сабанчево Атяшевского района Мордовской АССР лейтенанту Ивану Гусеву в ту пору шел двадцать первый год. В своей предвоенной жизни Иван успел закончить школу и учился в Ичалковском педагогическом училище, собираясь стать сельским учителем. Война помешала осуществить эту мечту. Он был призван в армию и в мае 1943 года закончил Камышинское танковое училище.

На сохранившемся снимке той поры лейтенант Гусев выгля-

дит обыкновенным парнем. Открытое, строгое лицо. Прищур глаз внимательный, безулыбчивый. Однополчане вспоминают: был Иван немногословен, деловит, отлично владел техникой, метко стрелял. Бывший командир танковой роты Герой Советского Союза, ныне полковник запаса Е. В. Шкурдалов вспоминает:

— С лейтенантом Гусевым я познакомился в мае 1943 года на формировке части. Он отличался даже среди бывалых танкистов исключительным трудолюбием и глубоким знанием дела. Машина Гусева всегда находилась в безупречном состоянии, и его часто ставили в пример другим. Экипаж Вани Гусева был любимцем всей 181-й танковой бригады.

О Гусеве рассказывает бывший секретарь партийной комиссии 181-й танковой бригады гвардии капитан, ныне подполковник запаса А. Р. Гнедин:

— 12 июля 1943 года в семь часов утра во всех ротах и батальонах бригады прошли митинги. Я был на митинге в первой роте второго танкового батальона. На этом митинге командир взвода Иван Гусев сказал: «Ни шагу назад. Все силы на разгром врага!» Через час состоялось заседание партийной комиссии, которая рассмотрела заявления о приеме в партию. Среди них было заявление Гусева. Он писал: «Прошу принять меня кандидатом в члены ВКП(б). Я хочу сражаться против немецко-фашистских извергов, неся высокое звание члена нашей великой партии».

Механик-водитель Александр Николаев. Он был ровесником командира. Александр родился в Новгородской области, окончил ФЗУ, работал токарем в поселке Колотино Ленинградской области. Вместе с предприятием эвакуировался на Урал и там добровольно пошел в армию.

Ветераны 181-й бригады вспоминают, что Саша Николаев отличался твердым характером, был общительным и верным товарищем. Несмотря на свою молодость, Николаев считался умелым мастером вождения боевой машины. Он воевал на Дону и в Сталинграде. В январе сорок третьего Николаева наградили орденом Отечественной войны, а после боев на Волге приняли в партию. «У меня двойной праздник, — писал он матери в апреле 1943 года, — исполнилось 20 лет, и я стал коммунистом».

— Саша был небольшого роста, — вспоминает о Николаеве один из ветеранов 181-й танковой бригады. — Помнится, у него на шее мы заметили узелок, перевязанный ниткой. Мы попросили Сашу показать, что находится в узелке. Он его развязал, там была земля. Еле сдерживая слезы, Саша сказал, что это земля ленинградская и на этой земле погибли его три брата и две сестры. Саша спрятал узелок и сказал, что будет беспощадно мстить фашистам...

А вот строчки о Николаеве из газеты 5-й танковой армии «На штурм»: «Одни считали его слишком юным, другие — непохожим на богатыря-танкиста. Он и в самом деле не выглядел богатырем. Но когда заходил разговор о его храбрости, о его боевом мастерстве, все заявляли в один голос: коммунист Александр Николаев — доблестный воин, умелый и смелый механик-водитель. Все были уверены, что, если потребуется, Николаев не пожалеет во имя Отчизны ни сил, ни крови, ни жизни».

Стрелком-радистом в экипаже тридцатьчетверки был Анатолий Зырянов. Родом Анатолий с Урала. Петлицы его гимнастерки украшали два алых треугольника, как положено младшему сержанту.

Совсем скупые сведения о заряжающем — сержанте Романе Чернове. Известно только, что он родом с Украины и носил у сердца комсомольский билет.

О капитане Скрипкине сведений тоже мало: прибыл в часть за три месяца до Курской битвы. На груди его алел орден Красного Знамени за участие в боях с японцами на Халхин-Голе.

— Раннее утро двенадцатого июля под Прохоровкой выдалось теплым, ясным, солнечным, — вспоминает Евгений Викторович Шкурдалов. — Но не пришлось нам полюбоваться на это утро. Пошли в бой. И таким он жарким был, что я потом уже ничего подобного никогда не испытывал и не видел...

Рассказ о танковом сражении 12 июля продолжает бывший командир 181-й танковой бригады гвардии полковник запаса Вячеслав Алексеевич Пузырев:

— Утром наша часть вступила в бой. Бой был необычайно жестокий и длился с девяти часов утра до полуночи. В этом бою особенно отличился экипаж Т-34 лейтенанта Ивана Алексеевича Гусева. В течение дня экипаж уничтожил десятки фашистских солдат и офицеров, подорвал три огневые точки противника, подбил два «тигра». Кроме того, Гусев и его экипаж спасли тяжело раненного командира батальона капитана П. А. Скрипкина...

Было так: в тридцатьчетверку Гусева один за другим попали два снаряда, осколками которых был тяжело ранен комбат Скрипкин. Танк окутался дымом, по броне поползли языки пламени. Гусев приказал механику Николаеву и радисту Зырянову вытащить комбата из машины. Танкисты действовали осторожно и сноровисто, и вскоре капитан был укрыт в воронке. Николаев и Зырянов стали перевязывать командира. На помощь раненому комбату поспешили две девушки-медсестры.

Заметив остановившийся танк и хлопотавших возле него танкистов, фашистский «тигр» намеревался добить машину и экипаж. «Тигр» неуклюже, но неотвратимо приближался к нашей тридцатьчетверке. Первым его заметил Гусев, который вместе с заряжающим Черновым находился в машине. Крикнув механику Николаеву, чтобы он поспешил в танк, Гусев открыл огонь по «тигру» из пушки. «Тигр» тоже выстрелил, продолжая двигаться к воронке.

Еще несколько минут, и тяжеленная махина может раздавить комбата и всех, кто возле него. Лейтенант Гусев крикнул механику:

— Саша, на таран!

Эту команду слышали по рации в других тридцатьчетверках батальона, отбивавших атаку фашистов. Это были последние слова лейтенанта Гусева. Оставляя за собой шлейф черного дыма, окутанная пламенем тридцатьчетверка устремилась на «тигра».

Вновь предоставим слово командиру 181-й танковой бригады В. А. Пузыреву:

— В данной обстановке лейтенант Гусев принял отчаянное, дерзкое, но единственно правильное решение: его танк развил

огромную скорость и врезался во вражеский «тигр». Взорвались боеприпасы и горючее. Члены экипажа ценой своих жизней защитили командира батальона и уничтожили еще один вражеский танк...

О подвиге мужественных танкистов вскоре узнала вся страна, а также родственники героев. Вот строки из письма однополчан родителям лейтенанта Гусева от 16 августа 1943 года: «...Экипаж героев погиб. Все это мы видели, но нас ничто не остановило, наоборот, за смерть любимых друзей танкисты шли вперед, вперед и вперед, не щадя сил и своей жизни! Сейчас мы далеко на западе от этого места сражения, но и здесь мы ежедневно мстим врагу за смерть любимых товарищей».

Танковый таран... Гигантская энергия бронированных машин, каждая из которых обладала мощным сгустком силы, рожденной многотонным весом и скоростью. Сталь Урала против металла Круппа. Взрывная сила сердец советских людей против звериной ярости захватчика...

После тарана и взрыва однополчане не смогли найти останков героев-танкистов. На митинге после боя уцелевший стрелок-радист тридцатьчетверки Анатолий Зырянов говорил:

— Не ищите их среди мертвых. Они с нами всегда, пока мы живы. Их подвиг зовет не жалеть своих сил и самой жизни.

Слово у сержанта Зырянова оказалось под стать броне, крепким. Вот что рассказал о дальнейшей судьбе Зырянова бывший заместитель командира второго танкового батальона подполковник запаса В. А. Янушкевич:

— После гибели лейтенанта Гусева Зырянов вошел в состав экипажа танка, в котором находился новый комбат. Пятого августа командирский танк попал в засаду. Сержант Зырянов геройски дрался и погиб, пытаясь спасти командира.

Передо мной письма однополчан, знавших экипаж лейтенанта Гусева. В них гордость за членов дружной танкистской семьи — мордвина Ивана Гусева, русского Александра Николаева, украинца Романа Чернова, совершивших огненный таран. Вот что пишет бывший замполит 2-й роты 2-го танкового батальона В. И. Фесенко: «Подвиг экипажа Гусева был известен не только в нашей бригаде, но и во всем корпусе. Мы были восхищены мужеством и беспредельной преданностью героев Родине». В. И. Фесенко также сообщает, что экипаж танка был посмертно представлен к званию Героя Советского Союза.

Гвардии полковник запаса, бывший командир 181-й танковой бригады В. А. Пузырев из Новосибирска подтверждает в своем письме, что 13 июля 1943 года документы о представлении к присвоению звания Героя Советского Союза (посмертно) членов экипажа Т-34 были направлены по инстанции. Кстати, оформлял эти документы бывший начальник оперативной части 181-й танковой бригады ныне гвардии майор запаса Герой Советского Союза Я. П. Вергун, а реляции печатала бывший секретарь политотдела бригады Н. С. Аверкова, письмами которых я располагаю.

Время обладает способностью выявлять, высвечивать героическое прошлое. И трижды прав кандидат исторических наук, заслуженный учитель школ РСФСР, бывший директор Ичалковского педагогического училища Н. Яшкин — учитель Ивана Гусева, когда он пишет в своем письме, что героический подвиг

экипажа Т-34 под командованием лейтенанта Гусева — национальное достояние советского народа.

Обращаясь мыслью к жизни бессмертных танкистов, сегодня уместно попытаться найти в истоках жизненных судеб героев нечто основополагающее, позволяющее глубже и отчетливее понять суть этих людей, убедиться, что их подвиг был не случайным порывом, а подготовлен всем укладом их предшествующей жизни.

Вчитайтесь в письма и документы той поры, дополняющие облик героев. Часть этих писем собрал доцент университета из города Саранска Андрей Григорьевич Борисов, который с энтузиазмом и величайшей тщательностью собирает все материалы, относящиеся к жизни героев-танкистов.

Итак, слово документам.

Письмо лейтенанта И. Гусева (весна 1943 года):

«Здравствуйте, дорогие родные дед Григорий Матвеевич и бабушка Наталья Ивановна, дядя Степан Григорьевич, тетя Аграфена Ильинична, тетя Ольга Григорьевна, крестная Екатерина Григорьевна с детьми, Анна Васильевна! Посылаю вам горячий привет и желаю всего хорошего в вашей жизни.

Дорогие родные! Давно я вам не писал, все ждал, когда я могу определить свое положение и местожительство. Но сделать это до сих пор не удавалось. Когда был около Горького, все ждал от вас письма, часто заходил на почту, но писем не было. Перед отъездом в последний раз заходил на почту, и опять без результата. И уехал из Горького, ничего не узнав ни о родных, ни о вас. Чуть слезы не закапали.

После Горького командовал взводом танков, жил в лесах, участвовал в учениях, перечувствовал, много вынес на своих плечах. Когда-нибудь расскажу об этом подробно, а рассказать есть что...

Сегодня еду на фронт, еду с охотой, ибо давно рвался туда. Что будет со мной? Где буду завтра? Что придется еще перенести? Не это основное, за себя я спокоен. Эти вопросы не очень волнуют меня. Больше всего меня волнует судьба родителей, братьев, сестер. Где они? Что с ними? Живы ли? Получив на эти вопросы ответы, я был бы готовым на все. Не знаю ничего также и о вас. Недавно встретил мордвина из Чамзинского района. Он мне рассказал немного о жизни в Мордовии. Стало как-то полегче на душе.

Возможно, приеду сам к вам когда-нибудь, тогда расскажу все. Передайте от меня привет дяде Степану, тете Евдокии Григорьевне, Марии, Анне, Насте, Дарье Григорьевне, Пете, Осе и всем родным и знакомым, в том числе и сабанчеевским. До свиданья, дорогие родные. Прощайте! Скоро сам приеду к вам в гости кушать блины и пироги. Как бы хотелось мне посмотреть на вас, если бы вы знали. Но ничего, война скоро кончится, во всяком случае, во второй половине 1943 г. кончится обязательно. Все. До скорого свиданья. Ваш Иван Гусев».

Вспоминает сестра лейтенанта И. Гусева:

«Он очень любил нас всех, особенно младших в семье, много уделял им внимания, рассказывал много интересного, сказки про богатырей, веселые приключения. Интересовался природой. Большинство стихотворений Пушкина, Лермонтова он знал наизусть. Имел в то время полное собрание сочинений Лермонтова в ста-

ром издании. Он купил на рынке за последние гроши дорогостоящую книгу и просил нас бережно относиться к ней. На упреки мамы, зачем деньги тратишь на книги, когда сам голодный, он говорил, что такие книги — это богатство. Нам прививал любовь к книгам, очень хотел, чтобы мы все получили образование, очень любил свою профессию и мне очень советовал поступить в педучилище.

После окончания первого курса института (когда началась война) он остался работать на ремонте при институте, чтобы заработать и этим самым помочь и родителям и себя поддержать. Мы с Клавой (сестрой. — **В. И.**) приехали к нему проведать и посмотреть, как он живет. Он очень обрадовался, хорошо нас встретил, рассказал о себе, очень беспокоился, что его до сих пор не берут в армию, говорил: «Вот уже несколько месяцев бушует война, а я себе места не нахожу. Если меня не возьмут в августе, то я уйду добровольно, не должна же такая буря пройти мимо меня».

Это была наша последняя встреча. Через несколько дней мы получили письмо, в котором он сообщал, что призван в армию, и просил приехать за его вещами, которые он оставил у знакомых, а сам уехал. Проводили его друзья, которые рассказывали, что он очень был рад, что примет участие в великой битве, и был уверен, что война скоро завершится и наш народ победит, ибо у нашего народа великая сила...

Вот коротко все, что могла я написать. Могу добавить: он очень умным человеком был и, конечно, если бы был жив, далеко пошел бы, — так о нем говорили преподаватели института, где он учился. При его жизни обещали ему большое будущее, восхищаясь его способностями и одаренностью».

Письмо Прохоровского райвоенкома матери механика-водителя А. Николаева:

«Сообщаю, что по дополнительно полученным спискам установлено, что Ваш сын старший сержант Николаев Александр Сергеевич, механик-водитель танка 181-й танковой бригады, героически погиб 12 июля 1943 года и похоронен в хуторе Петровка Прохоровского района Белгородской области.

В 1950 году останки воинов, похороненных в хуторе Петровка, были перенесены в общую братскую могилу в селе Прелестное. На братской могиле имеется памятник с надписью: «Вечная память героям, погибшим в боях за освобождение Родины».

О подвиге Александра Николаева написано в шеститомной книге «История Великой Отечественной войны (1941—1945 годы)» — том 3, стр. 274.

Братская могила села Прелестное находится в 10 км от станции Прохоровка Южной ж. д.».

Короткая летняя ночь в степи под Прохоровкой. Всего два-три часа сумерек, и вновь алеет небо. Еще немного, и взойдет солнце. Его первые лучи освещают вознесенную на пьедестал боевую тридцатьчетверку. Она высится над желтизной поспевающих хлебов воспоминанием о тех, кто отдал жизнь за нашу Родину, о тех, кого не надо искать среди мертвых, потому что они живы в нашей памяти.

●

Три года оставалась незаметной среди мемуаристов ЦДСА Анна Александровна Тимофеева-Егорова. Придет, займет отдельный столик и тихо слушает, как идет обсуждение рукописей товарищей.

— Анна Александровна, когда же будем слушать и обсуждать ваши записки? — как-то спросили ее.

— Не торопите, дайте поработать еще годика два, — ответила она.

Наконец, робея и волнуясь, она раскрыла перед нами рукопись «Держись, сестренка!».

И с первых же строчек, прочитанных тихим, срывающимся голосом, перед нами стал вырисовываться образ неугомонной, веселой и трудолюбивой девчонки — комсомолки Ани Егоровой. Работала на Метрострое, без отрыва от производства занималась в аэроклубе...

Когда грянула война, Аня стала горячо проситься на фронт и добилась своего.

Ее боевой путь начинался с того, что она стала воздушным почтальоном на фанерном «кукурузнике». Затем ей доверили грозную в ту пору машину Ил-2. Девушка-штурмовик! Сколько грозных ударов нанесла она в групповых и одиночных вылетах на колонны танков, на аэродромы, на огневые позиции врага! И рассказывает она о действиях штурмовиков убедительно, без прикрас, с деловой обстоятельностью труженика войны.

В этих записках идет раскрытие тайников памяти человека, за плечами которого много настоящих подвигов. Здесь мы находим ответ, как мыслил человек, какие клапаны открывались в его душе при самых суровых испытаниях.

Обращаясь к своим однополчанам — ветеранам Великой Отечественной войны, авторам сборника воспоминаний «На левом фланге», Леонид Ильич Брежнев писал: «Очень хорошо, когда непосредственные участники этого поистине переломного периода в жизни не только нашей страны, но и всего человечества берутся за перо, чтобы восстановить картину минувшего. Один человек, быть может, ярче помнит что-то одно — конкретный бой, операцию, самоотверженный поступок на фронте или в тылу. Но в коллективной памяти ветеранов запечатлен, можно сказать, сам ход истории во всей его полноте. Вот почему я считаю, что эта память — огромное нравственное, политическое, патриотическое достояние нашей страны, нашей партии».

Герой Советского Союза Анна Александровна Тимофеева-Егорова вносит в это достояние свой вклад, предлагая журналу «Молодая гвардия» главы из своих записок. Полностью ее книга «Держись, сестренка!» будет опубликована в Военном издательстве.

Иван ПАДЕРИН

Анна ТИМОФЕЕВА-ЕГОРОВА,
Герой Советского Союза

ГОРЯЧЕЕ НЕБО

ЗАПИСКИ ЛЕТЧИКА

●

1. Воздушный почтальон

В один из февральских дней 1942 года меня вызвали в штаб 130-й отдельной авиационной эскадрильи связи Южного фронта и дали задание вылететь в район Барвенково, разыскать конные подразделения и передать пакет с грифом «совершенно секретно» генералу Пархоменко — командиру 1-го кавалерийского корпуса.

Искать кавалеристов советовали по хуторам и балкам возле станции Лозовая.

Летела очень низко, разглядывала каждую балочку и каждый овраг. В одном из хуторов увидела танки, но не успела рассмотреть, чьи они, — по мне открыли стрельбу. Обошлось: спасла метель. Лечу дальше. Сквозь снежную завесу сверху со своего У-2 увидела притаившихся в овражке коней, затем разглядела цепочки людей в серых шинелях. Самолет мой был на лыжах, и я села прямо на снежное поле, не выбирая площадки. Побежала, пригибаясь, в сторону солдат. Навстречу мне — командир в маскировочном халате. Назвался начальником разведки первого кавкорпуса. Он рассказал мне обстановку, а я на своей карте еле заметными штрихами отметила все пункты, которые занимали кавалеристы.

— Давайте пакет, я передам комкору.

— Нет. Я должна лично вручить.

— Придется ползти метров сто. Вон, видите, до того сарая. В обход по оврагу далеко, да и небезопасно, на немцев можно нарваться.

Наконец пакет был передан в руки генерала.

Неподалеку разорвался снаряд, за ним — другой. Сотрясая землю, разрывы подняли столбы грунта и снежной пыли. Над головами со свистом пролетали осколки, а генерал продолжал стоять в раздумье. Затем, обращаясь ко мне, сказал:

— Давай так: махни в пятый корпус, отвези мое письмо и лети в штаб фронта.

Отыскать пятый корпус не составило труда, так как мне уже было известно его расположение от начальника разведки первого корпуса. Посадила самолет посреди хутора, передала конверт и тут же улетела. На аэродром вернулась ночью. На летном поле были зажжены костры.

За день я так наволновалась и намерзлась, что после доклада

командиру эскадрильи о выполнении задания, минуя столовую, побрела к своей хозяйке, радушной украинке, угощавшей меня каждый день борщом и наивкуснейшими солеными помидорами. Бывало, поставит все на стол, усадит меня рядом с собой и начнет угощать и рассказывать уже в который раз о своих трех красавцах сынах, воевавших где-то далеко на севере. Она вспоминала, как трудно ей было растить их после смерти мужа и как помогла ей Советская власть. Жалела она о том, что не успели сыновья жениться — началась война.

Я поделилась с ней своими новостями. Сказала, что получила от мамы письмо.

«Как ты-то там, дочушка? — спрашивала мама. — Береги себя, одевайся потеплее. Я тебе связала варежки с двумя пальцами, чтобы удобнее было стрелять...»

Однажды я прилетела с задания очень поздно.

Хозяйка помогла стащить намокшие унты и комбинезон, подала теплые валенки, налила борща, но я отказалась, поблагодарив, и залезла на печь. Но она все равно, когда я уже почти засыпала, сунула мне большую кружку горячего молока и заставила выпить.

Ночью забарабанили в окно. Хозяйка спросила:

— Кто?

— Егорову в штаб вызывают! — ответил мужской голос.

— Не пущу, — запричитала моя благодетельница. — Виданное ли дело, чтобы девчонку так мытарили. Не успела обсохнуть, отогреться, а ее опять будят.

Я спрыгнула с печи, натянула комбинезон, унты, шлем, подпоясалась ремнем с кобурой, взяла карту, засунула в голенище унта и только вышла на крыльцо, как подъехала машина.

Начальник штаба эскадрильи старший лейтенант Листаревич, сам в прошлом летчик, выскочил из «пикапа», освобождая мне место в кабине, и виновато сказал:

— Извини, Аннушка, что не дали тебе отдохнуть. Срочно вызывают в штаб фронта для доклада о кавалерийских корпусах Пархоменко и Гречко, которых ты разыскала сегодня.

Когда дежурный ввел меня в ярко освещенную комнату, я увидела группу генералов вокруг большого стола с картой на нем. Остановилась и растерялась, не зная, кому из них докладывать о своем прибытии.

— Вы летали на поиски кавалерийских корпусов? — спросил меня кто-то из генералов. — Покажите на карте, где находятся конники Пархоменко и Гречко?

Я волновалась и долго водила пальцем по испещренной цветными карандашами оперативной карте, а найти нужный район не могла.

— Может, я лучше по своей? — попросила генерала и вытащила из-за голенища унта помятую, без всяких знаков, но понятную мне полетную карту. Все рассмеялись, а мне стало както легко и просто.

Вернулись мы с Листаревичем из Каменска, где стоял штаб фронта, под утро. Не успела как следует согреться и заснуть, как опять:

— Звонили из штаба фронта. Приказали лететь тебе к Пархоменко, отвезти рацию и офицера связи. Полетишь по известному тебе, вчерашнему маршруту...

Но на прежнем месте корпуса не оказалось. Потеряв надежду найти его, решила посадить самолет и поспрашивать у местных жителей. Развернулась над заснеженным хутором, приземлилась у крайнего домика и, не выключая мотора, побежала к мазанке. Метелица намела сугробы снега, ветер валил с ног, бежать было очень тяжело. Постучала в окошко. Выглянул старик. Спрашиваю:

— Дедушка, здесь наши не проходили?

— Немцы тут, сынок, немцы! — крикнул старик и, будто испугавшись своих слов, замахал руками.

Я заторопилась к самолету. Но, пробежав самую малость, остановилась и оглянулась.

— Ой лиха беда, сынок! Тикай швыдче! — кричал мне вышедший из хаты старик. Он стоял в одной рубахе и валенках. Вытянутой рукой показывал на двух немцев, бегущих с другого конца улицы и стреляющих из автоматов. Старик упал, очевидно сраженный пулей. А я побежала к самолету, под пулями взобралась в кабину и быстро подняла машину в воздух.

Конников обнаружила в одном из хуторов. Села и подрулила к какой-то хате. С помощью офицера связи подтащила самолет ближе к сараю. Тут начался обстрел. Мы вытащили из кабины рацию и занесли ее в дом.

— Опять прилетел? Демаскируешь ты меня своим «кукурузником», давай немедленно улетай отсюда! — услышала я голос Пархоменко.

— Вот обстрел кончится, и я улечу.

— Обстрел не кончится, — сказал генерал. — Танки против нас идут. Улетай.

Я побежала к самолету, стала запускать мотор, а он не заводится. Подбежал офицер связи, стал помогать мне, но все напрасно: мотор не давал ни одной вспышки.

— Товарищ генерал, — взмолилась я, — пожалуйста, дайте лошадь отбуксировать самолет.

— Нет у меня лишних коней, сам видишь, в каком мы положении.

Лошадь все же мне дали. Нашлась и веревка. Привязала я ее к оси шасси двумя концами, а у коня на шее сделала подобие хомута. Присоединила к нему концы веревки, взяла лошадь под уздцы и тронулась вместе с обозом в путь. К счастью, пошел сильный снегопад, а там и ночь наступила, скрыла нас от вражеских снарядов.

Остановились мы в каком-то селе. Попросила хозяйку нагреть воды, в чугун слила из двигателя масло и тоже поставила в печь. В доме нашелся кое-какой инструмент. Нашлись и помощники из конников. Первым делом залили в мотор горячее масло, облили карбюратор горячей водой и стали запускать. К всеобщей радости, мотор чихнул раз, другой и заработал.

— Разрешите улетать товарищ генерал? — спросила я у Пархоменко.

— Возьми вот пакет и раненого, а на меня, старика, не сердись. На войне все бывает. Я ведь принял тебя за парня, а ты... — Он как-то неловко махнул рукой и с улыбкой отвернулся.

Однажды мне приказали лететь в 6-ю армию за начальником артиллерии Южного фронта генералом Жуком. Лететь было при-

ятно. Все кругом бело, чисто от снега. Сверху смотришь, и как будто нет войны, нет на земле ни горя, ни страданий, а все празднично и красиво. Летела на бреющем, маскируясь в балочках и перелесках, как бы сливаясь с местностью.

Благополучно прилетела в армию, выбрала площадку, посадила самолет, и тут же подъехала «эмка» с генералом.

Я ему доложила по всем правилам, а он:

— Что же, летчика-мужика не нашлось для начальника артиллерии фронта?

Вместо ответа спросила:

— Разрешите узнать, куда полетим?

Полковник, сопровождающий генерала, назвал мне пункт, а я, вынув карту из планшета, тут же на крыле самолета озябшими руками провела курс.

Мотора я не выключала, боясь, что он остынет на морозе и тогда его будет трудно завести. Села в первую кабину, а сзади генерал, закутанный в шарф вместо шлема.

Полетели. В зеркале вижу усталое, хмурое лицо генерала. Взгляды наши встречаются, я улыбаюсь и показываю рукой на принарядившуюся в зимний наряд землю, на заходящее солнце.

Но вот какая-то тень накрыла мой самолет. Взглянула я в солнечное небо — холодок пробежал по спине. Два «мессершмитта» пикируют прямо на нас. Маневрируя, уклоняюсь от пулеметных очередей, а фашисты еще и еще раз заходят для атаки. Неожиданно заглох мотор, пришлось садиться прямо на снежное поле. Хорошо еще, что вместо колес были лыжи.

Стервятники улетели, но через несколько минут опять град пуль и снарядов осыпал нас. Бежим к лесу. Падаем, поднимаемся и опять бежим.

Наконец все стихло. Попросила генерала обождать под деревьями, а сама вернулась к самолету и осмотрела его. Много пробоин в плоскостях, фюзеляже, отбита лопасть винта, пробиты масляный и бензиновый баки, искалечен мотор. Удивилась, как еще самолет не загорелся.

Наступала ночь.

Мы с генералом подтащили самолет к лесу, замаскировали его ветками и закрепили, привязав к стволам деревьев. А сами пошли на восток. Ноги проваливались глубоко в снег, временами казалось, что нет больше никаких сил сделать хотя бы один шаг. В одном овражке я села в сугроб и сказала:

— Дальше я не пойду, идите один.

Генерал сказал, что стоит присесть, как незаметно заснешь и замерзнешь. Он встряхнул меня и приказал следовать за ним.

К утру, обмороженные и вконец усталые, мы наткнулись на наших бойцов. Ими оказались артиллеристы той части, до которой мы не смогли долететь. Связистов я попросила сообщить в эскадрилью о моем местонахождении и о том, что самолет мой сильно поврежден: более восьмидесяти пробоин было в его теле.

Однажды я получила задание лететь на розыск «катюш». Это грозное для врага оружие только что появилось на нашем фронте. Стояла оттепель. В районе нашего аэродрома шел дождь, видимость метров сто.

Когда я отлетела километров десять, пошел снег, затем туман закрыл все, ни зги не видно. Решила набрать высоту, может, там посветлее, чем у земли. Высотомер показывал 900 метров. На высоте туман пореже, но что такое? Самолет начало лихорадить — вибрация. Посмотрела: плоскости фюзеляжа покрылись ледяной коркой. Мотор работает, все рули исправны, а самолет не слушается меня, падает. И вот тут какое-то чутье подсказало, что земля близко. Выключила мотор, потихоньку тяну ручку на себя, и вот... удар, самолет коснулся земли и покатился. Всячески стараюсь тормозить, хотя на У-2 и нет тормозов, есть лишь руль поворота. Наконец остановился. Тишина, в десяти шагах ничего не видно — туман. Отойти от самолета нельзя — потеряешься. Ждать, когда туман рассеется, пришлось долго. За это время логарифмической линейкой сколола весь лед с самолета, определила по времени и скорости полета местонахождение.

Наконец стало немного светлее, увидела перед носом самолета большой стог соломы. Как я в него не врезалась?!

С большими трудностями запустила мотор и полетела.

Батареи «катюш» я нашла быстро, передала секретный пакет и полетела обратно и опять попала в сильный снегопад. Аэродром нашла с трудом, машину посадила в какой-то кромешной мгле, не видно было даже стоянки самолетов.

Командир эскадрильи отругал меня. Летчики хмуро молчали. Оказывается, все они вернулись с полпути, не выполнив задания.

За этот полет начальник связи Южного фронта генерал Королев объявил мне благодарность. Там же в штабе связисты нарисовали в стенгазете дружеский шарж и подписали: «Женщина летает, мужчинам выходной».

На другой день мне привезли из политотдела подарок — посылку. И чего только в ней не было! Сверху лежал кисет для табака с вышитыми словами: «Дорогому бойцу от Маруси Кудрявцевой на память». Внутри кисета — письмо и фотография миловидной девушки моих лет. В письме она просила, чтобы дорогой боец крепче бил фашистов и скорей с победой возвращался домой.

А вскоре, в День Красной Армии, младший лейтенант Егорова, то есть я, была награждена орденом Красного Знамени.

Я только что прилетела с задания и, немного опоздав, сидела на праздничном собрании в задних рядах. В ушах еще шумело от работающего мотора, и я не расслышала, кого награждают. А когда поняла, то не совсем поверила...

В мае 1942 года началось наступление войск Юго-Западного фронта на Харьковском направлении. Им предстояло уничтожить группировку противника и освободить город.

Ослабленный в предыдущих боях, наш Южный фронт задачи не получил. Только две армии, 9-я и 57-я, должны были поддержать южное крыло ударного Юго-Западного фронта.

20 мая утром мне приказали лететь в 8-ю армию с совершенно секретным пакетом. Подлетая к городу Изюму, увидела на дорогах и просто по полю движение наших войск. В долине Северного Донца, у Святогорска и в Изюме было много пожаров.

Пожары с детства вызывали у меня неосознанную тревогу и волнение. «Вор хоть стены оставит, а пожар — ничего!» — говорили у нас в деревне.

В небе шел воздушный бой. Наша пара И-16 вела бой с шестеркой Ме-109. Бой был неравный, но наши «ишачки» искусно увертывались от огня «мессершмиттов», заходили в лобовую атаку, фашисты уклонялись и ничего не могли сделать.

Я не заметила, как немецкий истребитель коршуном набросился на мой самолет. Нырнуть бы в овражек или лощинку, но передо мной ровное поле. Справа лес сплошной стеной, слева город. Вдруг я увидела пламя. Горела моя машина, жарко было и мне. Едва сев, выскочила из кабины и, срывая с себя тлеющие лохмотья комбинезона, побежала к лесу.

Немецкий летчик пришел в ярость. Он снизил самолет до бреющего полета и перенес огонь пушек на меня. А я все бежала и бежала, временами падала, притворяясь убитой, прятала голову под прошлогодние кучки стеблей кукурузы, вскакивала, когда «мессер» уходил на разворот, и снова бежала, прижимая к груди секретный пакет.

Израсходовав весь боекомплект, фашист улетел.

Потом, когда я с ожогами на лице и в обгорелом комбинезоне вернулась в часть, командир эскадрильи сказал мне:

— Не печалься, Егорова, о самолете. Главное, сама осталась жива и приказ в войска доставила...

Вечером было комсомольское собрание. Летчику Сергею Спирину и мне дали рекомендации для вступления кандидатами в члены ВКП(б).

Меня рекомендовали комиссар А. В. Рябов и штурман Иркутский Иван.

В конце мая мы летали в 6-ю и 57-ю армии, окруженные гитлеровскими войсками. Там не хватало боеприпасов, продовольствия, горючего, много было раненых. Попытки прорваться сквозь окружение ни к чему не привели. Армии несли большие потери в живой силе и технике. Во время вылетов за нами охотились фашистские летчики, да и с земли нам часто доставалось: зениток у немцев было много. Вернулись в эскадрилью без самолетов Сергей Спирин и Виктор Кравцов. Был отправлен в госпиталь тяжело раненный Иван Сорокин.

Долго не возвращались с боевого задания Наум Сборщиков и штурман Алексей Черкасов. Пришли они в эскадрилью раненые, оборванные, грязные.

В июле противник занял Донбасс, вышел в большую излучину Дона и тем самым создал угрозу Сталинграду и Северному Кавказу.

Около переправ через Дон скопилось множество наших войск, техники. К переправам гнали скот и тракторы. Повозки, нагруженные домашним скарбом с сидящими наверху детьми, ждали своей очереди на переправу. Это ночью. А на рассвете начинались беспрестанные налеты фашистской авиации. Они бросали на переправы бомбы, с малых высот расстреливали скопление людей. Кричали женщины, плакали дети, мычал скот.

Под Пятигорском нам зачитали приказ НКО № 227. В нем было требование к войскам: «Ни шагу назад!» Приказ объявил решительную борьбу трусам, паникерам, нарушителям дисциплины.

Линия фронта менялась в день по нескольку раз. Нам приходилось летать по всему Северному Кавказу.

Но вот танковые соединения врага форсировали Кубань в районе Армавира, овладели Майкопом и Краснодаром. Были заняты почти все горные перевалы, захвачен Моздок и небольшие плацдармы на правом берегу Терека.

— Летите и разведайте, чьи войска движутся по дорогам в этом районе, — сказал комэск, показывая на карте.

Лететь днем на беззащитном самолете, который из винтовки могут сбить, не очень-то приятно. Полетела.

Войска на марше оказались нашими. Сделала над ними два круга. Истощенные и измотанные, увидев краснозвездный самолет, солдаты замахали руками, пилотками, касками. Развернулась обратно. Но что это? К земле несутся трассирующие нити огня. Бойцы внизу падают, разбегаются подальше от дороги. Тут я увидела в небе четыре фашистских истребителя. Атаковав колонну, они затем бросились на мой самолет. Выручил лесок и речка, петлявшая среди деревьев. Я полетела, чуть ли не касаясь колесами воды, да и камуфляж самолета помог мне слиться с зеленью деревьев. Маневр удался — отстали. Невредимая вернулась на аэродром.

Пришла на командный пункт докладывать командиру эскадрильи о виденном мною на дорогах и встретила там вернувшихся с задания Колю Потанина и Виктора Кравцова. Обычно спокойный и рассудительный, Потанин был непохож на себя. Стоял он в обгорелой форме, с измазанным в масле и крови лицом, с опаленными волосами. Он горячо просил командира эскадрильи майора Булкина и комиссара Рябова перевести его в боевую авиацию.

— Я хочу их, гадов, бить! — кричал Николай. — А то что получается: они нас бьют, а мы в кусты прячемся...

Виктор Кравцов также отказывался летать на У-2 и просился в штурмовую авиацию как самую, по его мнению, эффективную по уничтожению живой силы и техники врага. Резолюция комэска была — отказать.

В октябре противник захватил город Нальчик и вплотную подошел к городу Орджоникидзе, но подошедшие наши резервы нанесли контрудар по фашистской группировке. Попытка врага прорваться к Грозному не удалась.

И вот последний мой полет на У-2 в район Алагира. В пути меня атаковали истребители. Я пыталась от них спрятаться. Маневрируя на малой высоте, старалась слиться с местностью и врезалась правым крылом в дерево. Удар. Падение. Очнулась и никак не пойму, где нахожусь. Болят ноги, сдавило грудь, трудно дышать. А где же самолет? Посмотрела: он тут рядом лежит, весь изломан. Мотор уткнулся в землю, обломки винта валяются в стороне, на кустах висят элероны. В душе боль, досада, горечь. Никаких доказательств нет, что меня сбили фашистские летчики, кроме пробоин, да и как их увидишь в этих обломках.

Ковыляю в сторону аэродрома, а сама думаю, думаю... Скажу, что я сама разбила самолет. Вот случай перейти в боевую авиацию. Все знали, что я тоже не хочу летать больше на «кукурузнике», тоже очень хотела бы перейти на такой самолет, чтобы не я от фашистов, а они от меня драпали.

Только на второй день к вечеру я отыскала аул Шали в ущелье за городом Грозным и предстала перед командиром эскадрильи майором Булкиным.

— Я разбила самолет и готова отвечать за это по законам военного времени, — отчеканила я.

Майор, как мне показалось, был не в духе, сердито посмотрел на меня и стал кричать:

— В штрафную роту захотела, вот там узнаешь, почем фунт лиха. А то, видите, хулиганить стали, чтобы перейти в другой вид авиации.

Кого имел в виду Булкин, я не знала, но упрек его слушать мне было обидно. Заступился за меня подошедший комиссар Рябов А. В.

— Давай, командир, отправим ее в УТАП вместе с Потаниным. На переучивание. Ведь на Егорову было шесть запросов откомандировать в женский полк, а мы ее не отпускали и даже ей не говорили об этом.

И вот мы с Потаниным, он в прошлом летчик-истребитель, летим в учебно-тренировочный авиационный полк (УТАП).

— А знаете ли вы, что это за адова работа? — урезонивал меня командир учебно-тренировочного авиационного полка. — Ни одна женщина еще не воевала на штурмовике. Две пушки, два пулемета, две батареи реактивных снарядов, бомбы различных назначений — вот вооружение «черной смерти», как зовут немцы наш прославленный Ил-2! Поверьте моему опыту, не каждому, даже хорошему, летчику подвластна эта боевая машина, не всякий способен, управляя этим «летающим танком», одновременно ориентироваться в боевой обстановке на бреющем полете, бомбить, стрелять из пушек и пулеметов, выпускать реактивные снаряды по быстро мелькающим целям, вести групповой воздушный бой, принимать и передавать по радио команды. Подумайте!

— Думала уже. Все понимаю, — ответила командиру. — Но я давно решила...

Тренировочные полеты проходили каждый день. Питание в столовой было жидковатое, и после полетов мы устремлялись на реку Куру ловить миног. Мне они казались змеями, есть их не могла, но однажды после полета голова закружилась, и я упала. После этого случая есть стала все, и миног в том числе.

Прослышала я, что в УТАП приехал начальник политотдела 230-й штурмовой дивизии полковник Тупанов для отбора летчиков в боевые полки. Побежала разыскивать полковника.

— Я полковник Тупанов, — ответил небольшого роста с крупной головой, голубыми глазами и приветливой улыбкой человек в комбинезоне.

— Возьмите меня летчиком-штурмовиком на фронт. Не пожалеете.

— Как ваша фамилия?

— Егорова.

— Приходите завтра на собеседование.

Утром около штаба полка нас собралось человек тридцать. Были и приглашенные и добровольцы.

Тупанов не только беседовал с каждым из нас о полетах, но, предварительно изучив личные дела, расспрашивал о доме, о семье.

Меня он спросил тоже не о полетах совсем, а о том, на какой шахте Метростроя я работала и кем.

Я ответила: у «Красных ворот» на шахте 21—21 бис — арматурщицей, а на второй очереди на шахте 84—85 — «Динамо» — чеканщицей и машинистом подъема... Расспросил о матери и братьях.

Я отвечала, а сама все ниже и ниже опускала голову, готовая заплакать в любую минуту. Подумала, что Тупанов отвлекает меня от основной темы и, конечно, в конце беседы скажет: «Не подходите вы нам. Женщины в штурмовики не годятся».

— Я вас включаю в список летчиков 805-го штурмового авиационного полка нашей дивизии. Через три дня выезжаем, будьте готовы, — негромко сказал полковник, и сердцу моему стало жарко и тесно в груди от радости.

2. *Штурмовики*

На аэродроме, куда мы, летчики, приехали из полка, сразу же увидели штурмовик Ил-2. Это был красивый моноплан с удлиненной обтекаемой формой фюзеляжа, с лобовым стеклом фонаря, изготовленного из пуленепробиваемого стекла. Грозным было и вооружение самолета. Из передней кромки крыльев угрожающе выглядывали две скорострельные пушки и два пулемета, а под крыльями находились восемь металлических реек — направляющие для реактивных снарядов.

В центроплане было четыре бомбоотсека. Всего самолет мог нести шесть стокилограммовых бомб. Мотор, бензобаки, кабина летчика и другие уязвимые части были одеты в броню.

«Летающий танк» — так с гордостью называли летчики эту прекрасную машину, которой был не страшен ни ружейный, ни пулеметный огонь. Лишь прямое попадание орудийного снаряда могло вывести штурмовик из строя. Первый в мире бронированный самолет!

Батальонный комиссар Игнашов, заместитель командира полка по политической части, вызвал нас, вновь прибывших летчиков, на собеседование. Я не знаю, о чем он говорил с моими товарищами, но меня он удивил вопросом:

— Зачем вам подвергать себя смертельной опасности?

— Сразу уж и смертельной? — недовольно буркнула я.

А комиссар продолжал:

— Штурмовик слишком тяжел для женщины. Хотя он и бронированный, но летчики на нем гибнут чаще, чем на любом другом самолете нашей авиации. Подумайте хорошенько и возвращайтесь обратно в УТАП. Там, я слышал, вам предлагали должность летчика-инструктора. Я серьезно говорю: штурмовик не подходит женщине.

— А что же подходит женщине на войне, товарищ комиссар? — с вызовом спросила я. — Быть санинструктором? Таскать с поля боя под огнем противника раненых — это легче?

Специалисты полка приняли у нас экзамены по материальной части и вооружению самолета Ил-2. Штурман полка и началь-

ник воздушно-стрелковой службы обучили нас ориентировке на малых высотах, стрельбе, бомбометанию и тактике боя.

Наконец учеба закончилась, все экзамены сданы, и нас допустили к тренировочным полетам.

Аэродром наш был расположен почти на берегу моря, и, летая по кругу, мы большую часть полета вели над водой.

И вот однажды, когда я разворачивала самолет над морем, мотор внезапно заглох, винт остановился, наступила жуткая тишина. Чтобы не потерять скорости и не упасть в море, я перевела самолет на планирование. Убрала газ, выключила зажигание, перекрыла пожарный кран бензиновой магистрали. Аэродром был рядом, но скорость и высота падали катастрофически.

Внизу, между оврагами, увидела узенькую полоску ровной земли и решила идти на посадку. Машина коснулась земли и побежала по ней, а я стала усиленно тормозить, чтобы остановить ее. Вдали по полю в мою сторону уже мчалась санитарная машина, бежали летчики.

На второй день перед строем командир полка скомандовал:

— Младший лейтенант Егорова, два шага вперед!

Я вышла из строя и застыла: что-то будет? Вдруг мне приписали вынужденную посадку по той вине, что не научилась хорошо управлять самолетом?

— За находчивость, за спасение материальной части объявляю вам благодарность!

— Служу Советскому Союзу! — ответила я срывающимся голосом.

И вот вновь полеты по кругу — бомбометание и стрельбы. В горах, в пустынной местности у нас был свой полигон. Там стояли макеты танков, пушек, железнодорожных вагонов, самолетов с белыми крестами — они служили мишенью для учебных атак. Набрав заданную высоту, мы вводили штурмовик в крутое пикирование и яростно атаковали «цель», нажимая на гашетки незаряженных пушек, пулеметов и эрэсов. Учились бомбить мы тоже не настоящими, а учебными бомбами. Учили нас летать в строю в составе пары, звена, эскадрильи.

Когда Валентин Вахрамов и я прибыли для прохождения дальнейшей службы в 3-ю эскадрилью, ее командир лейтенант Андрианов, молодой, высокий, черноглазый, сказал:

— Кто из вас быстрее и лучше освоит штурмовик, научится метко бомбить и стрелять, хорошо держаться в строю, того возьму к себе ведомым.

Вахрамов летал хорошо, но однажды, отлично посадив машину, он во время пробега перепутал рычаги и убрал шасси. Они тут же сложились калачиком, и самолет какое-то расстояние прополз на брюхе, поцарапав фюзеляж и крылья. Валентина никто не ругал, никто не объявлял ему выговоров, но неудачу свою он переживал до слез.

В целом же настроение у нас было приподнятое. Радио сообщило радостную весть: полностью окружены и разгромлены гитлеровские войска под Сталинградом. После этой победы наши войска развернули наступление на всех участках фронта от Ленинграда до Кавказа.

Тем временем мы получили новенькие самолеты серебристой окраски. В каждом имелась кабина для стрелка, в которой была установлена полутурель с крупнокалиберным пулеметом. Эта

новинка радовала нас. Теперь штурмовик будет надежно прикрыт с хвоста от истребителей противника.

Вскоре мы прибыли в распоряжение Северо-Кавказского фронта в 4-ю воздушную армию. Штаб нашего полка был уже на месте и загодя приготовил нам жилье. Меня поселили в домике неподалеку от столовой у славной женщины, хозяйки дома, муж которой был на фронте.

Начальник штаба полка доложил всему летному составу боевую обстановку на нашем участке фронта. Опасаясь прорыва советских войск, противник построил от Новороссийска до Темрюка неприступный оборонительный рубеж. Он-то и должен был по их замыслу прикрыть отход войск в Крым. Железобетонные доты, дзоты, противотанковые минные поля, большое количество полевой и зенитной артиллерии. За обилие водных преград эту сильно укрепленную позицию гитлеровцы назвали «Голубой линией». Чтобы помешать немецкому флоту использовать Цемесскую бухту, в ночь на 4 февраля из Геленджика был высажен десант морской пехоты. Отряд под командованием майора Куникова бесшумно подплыл к окраине Новороссийска в районе рыбацкого поселка Станичка и занял плацдарм, названный Малой землей.

Гитлеровцы всячески старались ликвидировать плацдарм. Они бросали в атаки большие силы пехоты, танков, артиллерии. На плацдарме не затихали бои ни днем, ни ночью. В бесконечных контратаках гибли сотни советских воинов.

Наша задача: помочь десантникам удержать плацдарм.

Первую группу из шести самолетов повел на Малую землю штурман полка Петр Карев. Для меня этот боевой вылет был первым, и я шла ведомой слева у капитана. Все мое внимание было сосредоточено на ведущем. Я старалась держаться ближе к нему, боялась, как бы не отстать. Он раскачивает самолет в маневре, и я тоже, он пикирует, и я пикирую. Он стреляет, и я стреляю. Бомбы сбросила тоже вслед за ним.

При выходе из атаки на четвертом заходе на цель я все же потеряла группу и летела одна в сплошных разрывах снарядов. Над Цемесской бухтой дрались десятки наших и вражеских самолетов. В море падали и самолеты, и спускались на парашютах летчики, а от берегов враждующих сторон к ним спешили катера. Трудно было разобраться в этой кутерьме. Два немецких истребителя бросились в мою сторону. Скорость штурмовика меньше, чем у «мессершмитта». Спасли меня наши истребители прикрытия. Они отогнали стервятников от моего самолета и даже сбили одного, и я благополучно прилетела на свой аэродром.

Штурмовики не раз благодарили истребителей за помощь. Когда в воздухе появлялся Покрышкин, то нам казалось, что небо над Таманью становилось чище.

— Внимание! Внимание! В воздухе Покрышкин! — открытым текстом радировали немецкие посты наблюдения, и фашистские асы без промедления покидали жаркое кубанское небо.

Под прикрытием истребителей мы ежедневно вылетали на Малую землю, «Голубую линию», штурмовали корабли противника в Черном море, бомбили аэродромы. Фашисты жестоко огрызались. На моих глазах вспыхнул и горящим факелом рухнул в Азовское море самолет ведущего нашей группы капитана Покровского. В тот день мы недосчитались еще пяти экипажей.

Я вылезла из кабины Ила и, помню, не снимая парашюта и шлемофона, побежала в сторону от стоянки самолетов, не в силах больше сдержаться. Упала и разрыдалась. Механики молча, будто саваны, свертывали чехлы невернувшихся машин, а я плакала, вспоминая, как падали в море мои боевые друзья — падали как смертельно раненные птицы.

— Вы очень устали, Егорова? — услышала над собой голос командира полка. — Отдохните, успокойтесь, я не включил вас в следующую группу боевого вылета.

— Нет, нет, я полечу! — вскочила я. — И пожалуйста, не делайте исключений, не обижайте меня!

И вот уже самолет заправлен горючим, подвешены бомбы и эрэсы, заряжены пушки и пулеметы. Я вижу взлетевшую в воздух ракету и торопливо лезу в кабину, на ходу вытирая заплаканное лицо.

В конце мая командир полка Козин построил нас на аэродроме и взволнованно сказал:

— Товарищи летчики! Кто готов выполнить особое задание командования Северо-Кавказского фронта, прошу сделать два шага вперед!

Все летчики, как один, шагнули вперед.

— Нет, так не пойдет! — улыбнулся Козин. — Придется отбирать!

— Майор Керов, три шага вперед.

Павел Керов, командир первой эскадрильи, ветеран полка, мастер штурмовых ударов, вышел вперед.

Я невольно вспомнила о том, как однажды в полку осталось всего шесть исправных самолетов. На боевое задание их повел майор Керов. Приказ требовал любой ценой уничтожить переправу около станицы Николаевской на Дону. Охрана переправы была такой, что мало оставалось шансов на благополучное возвращение группы. Майор перехитрил врага: зашел на цель с тыла, разбил переправу и вернулся со своими «сынками» целым и невредимым.

Нас, молодых, майор удивлял завидным спокойствием и добротой. Он больше походил на учителя, а не на летчика. Никогда не повышал голоса, лишь печально посмотрит на провинившегося и покачает головой.

— Сухоруков, Пашков, Фролов... — обводя шеренгу взглядом, командир называл фамилии летчиков.

— Егорова! — услышала я свою фамилию.

В группу вошли три комэска, все командиры звеньев, старшие летчики с боевым опытом — всего девятнадцать человек.

Вскоре нас приняли командующий фронтом генерал И. Е. Петров и командующий 4-й воздушной армией генерал К. А. Вершинин.

— Задача у вас, товарищи, по замыслу простая, а по исполнению очень трудная, — обратился к нам И. Е. Петров, поправляя пенсне и немного заикаясь. — Нашим войскам предстоит прорвать «Голубую линию» фашистской обороны. Но прежде надо замаскировать наступающих — поставить дымовую завесу. Это сделаете вы.

О том, как надо выполнять задание, нам рассказал генерал Вершинин. Лететь предстояло без бомб, без реактивных снарядов, пушки и пулеметы не заряжать, без стрелков и без турельных пулеметов в задней кабине. Лететь почти над землей. Чем ниже, тем лучше. Самолеты будут заряжены баллонами с дымным газом.

— Самое сложное в том, что под огнем врага нельзя будет маневрировать. — Генерал Вершинин склонился над картой. — Семь километров надо пройти по прямой и на предельно малой высоте. Понятно, почему маневрировать нельзя?

— Получится рваная завеса вместо сплошной, — догадался кто-то из летчиков.

— Верно, — согласился генерал Петров. — Поэтому завеса должна быть сплошной и ровной, как линейка.

26 мая, едва зарозовел восток, мы на полуторке выехали на аэродром. Михаил Николаевич Козин, наш Батя, всегда веселый, общительный, был мрачнее тучи. Не то сердился, что ему не разрешили лететь, не то переживал за нас.

А летчики? Каково было у них настроение перед боевым вылетом?

Я хорошо знала всех и, сидя на скамеечке в кузове грузовика и упираясь спиной в кабину, смотрела на ребят, до безрассудства смелых в бою, а сейчас таких обыкновенных и немножко смешных, напоминающих моих родных братьев.

Вот Коля Пахомов затянул свою любимую:

Встань, казачка молодая, у плетня,
Проводи меня до солнышка в поход...

Толя Бугров о чем-то возбужденно рассказывал Валентину Вахрамову, и оба хохотали, как дети, держась друг за друга.

Чему-то улыбались голубые глаза Миши Бердашкевича, на его ранее красивом лице много рубцов от ожогов. Может, он вспомнил, как удрал из госпиталя в свой полк... в госпитальной одежде.

Командир третьей эскадрильи Семен Андрианов обнял правой рукой комэска второй эскадрильи — Бориса Страхова, и они молча глядели в даль кубанской степи, ожившей после долгой зимы.

Двадцатилетние комэски старались казаться степенными, напускали на себя строгость. Андрианов, например, завел трубку и ходил, не выпуская ее изо рта даже при разговоре, только чуточку передвинет ее в уголок губ... Заместитель комэска третьей эскадрильи Филипп Пашков — джентльмен. Всячески, когда ехали на машине, он оберегал меня от толчков на ухабах.

— Вот война кончится, поедем в Пензу, покажу тебе все достопримечательности, связанные с именами Радищева, Белинского, Лермонтова, Куприна. А какой у нас лес! Сколько грибов, ягод! Попадаются такие полянки, что рыжики можно косой косить. Ах и вкусно их мама готовит! Поедешь? Да?

Почему-то никогда он не называл меня по имени или по фамилии.

— Ну, станишница, как дела? — спросит с улыбкой.

— Спасибо, хорошо, — отвечу ему.

Однажды Пашков полетел в тыл врага сфотографировать аэро-

дром. Его сопровождали истребители. На обратном пути, когда было выполнено задание, на него налетели шесть «мессершмиттов». Завязался бой. Ведущий истребителей прикрытия передал Пашкову, чтобы он «топал» домой, а мы займемся «худыми». «Худыми» летчики наши прозвали Ме-109 за его тонкий фюзеляж. Но Пашков увидел, что один наш истребитель загорелся и камнем стал падать на землю. Пашков направил свой штурмовик на гитлеровский самолет и сбил его.

Когда Пашков вернулся на аэродром, его сперва сильно отругали за то, что отвлекся от выполнения своего задания и вступил в бой. Но когда проявили пленку, командир полка обнял Пашкова и поздравил с наградой — орденом Красной Звезды. Через неделю Пашков вылетел на задание и не вернулся. Мысленно мы его похоронили. Но спустя пять дней он вернулся в полк со своим воздушным стрелком — обросший весь, рваный, грязный, но веселый. Мне он по возвращении сказал, впервые обращаясь по имени:

— Говорят, что ты сильно плакала обо мне?.. Спасибо! Но лучше бы ты верила в мою жизнь, верила, что я обязательно вернусь...

Пашков все же погиб в районе Верхне-Баканской, что севернее Новороссийска. В тот раз я долго ждала, старалась не верить в его гибель, но так и не дождалась, написала письмо его матери и сестре в город Пензу, куда Филипп приглашал меня поехать после войны.

Итак, мы ехали на аэродром и все пока что были живы, и Пашков с улыбкой поддерживал меня за локоть, когда машину встряхивало на колдобинах.

Вдруг кто-то сильно забарабанил по кабине грузовика и несколько голосов закричали шоферу: «Стой! Стой!» Шофер остановил машину. Оказалось: дорогу перебежала кошка.

В другой раз остановили машину и заставили шофера дать задний ход, когда навстречу попалась женщина с пустыми ведрами на коромысле.

Летчики, конечно, не были суеверными людьми, но вот шутили, и со стороны могло показаться, что едут очень веселые, под хмельком парни, которым вовсе нет дела до предстоящего боевого вылета. Но это, конечно, было не так.

Показался аэродром. Техники, механики, мотористы, оружейники копошились у самолетов. Так всегда: в морозы и жару, под открытым небом они готовили самолеты к бою. Не было случая в полку, чтобы что-то не сработало или отказало по вине этих великих тружеников аэродрома. Израненные самолеты они «лечили» со старанием сердобольного лекаря.

Механик моего Ил-2 Горобец, вытирая на ходу огрубевшие, натруженные руки, доложил о готовности боевой машины. Потом помог надеть парашют, что-то поправил в кабине, а когда заработал мотор, сунул в мою ладонь бог весть где раздобытое моченое яблоко, прокричал над ухом: «Пересохнет во рту, укусите яблочко!» — и, сдуваемый ветром, скатился с крыла.

Включила рацию. В наушниках голос ведущего группы майора Керова. Получаю разрешение выруливать. Впереди меня штурмовик лейтенанта Павла Усова, почти вплотную с ним рулит бывший шахтер — летчик Степочкин. Два неразлучных друга, хотя совсем несхожие по характеру и внешности.

В паре со мной Ваня Сухоруков, паренек из Иванова, тихий, как красная девица, на земле, но в воздухе — неузнаваемый. Это он в ноябре 1942-го водил группу штурмовиков под Орджоникидзе, где в одной из лощин на подступах к Военно-Грузинской дороге уничтожил большое скопление танков и автомашин противника. Впоследствии капитану Сухорукову Ивану Александровичу было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Первым взлетел майор Керов. Летчики быстро пристроились к ведущему, заняли боевой порядок. Оглянувшись назад, вижу на востоке восходящее солнце, а на западе, по нашему курсу, небо темное, дым и туман по земле.

«Голубая линия» встретила нас четырехслойным огнем дальнобойных зениток. Взрывы снарядов, преграждая путь штурмовикам, встали стеной. Наша группа пробилась сквозь этот заслон на минимальной высоте и вышла к станице Киевской.

Небо снова прорезали зловещие трассы. Снаряды «эрликонов» красными шариками чертили небо, осколки разорванного металла барабанили по броне самолета. Однако курс и высоту изменить нельзя. Надо идти только по прямой. А вокруг море огня, и я невольно прижимаюсь к бронеспинке самолета. Секунды кажутся вечностью. Хочется закрыть глаза.

Наконец Керов, а за ним и все штурмовики развернулись вправо на восток и начали набирать высоту. Задание выполнено. В шлемофонах голос Керова — густой, ровный, как и его характер. Он благодарит истребителей за отличное сопровождение. На душе радостно, мы возвращаемся все девятнадцать.

Вот и Тимашевская. На посадку первым заходит тот, у кого сильно повреждена машина. Села и я. Зарулила на стоянку, выключила мотор и только тогда ощутила смертельную усталость. Кабину, как воробьи, облепили техник, механик, моторист, оружейница, летчики, не летавшие на задание.

— Вы ранены, товарищ лейтенант? — кричит оружейница Дуся Назаркина. — У вас кровь на лице!

— Нет, — говорю я, — это губы потрескались и кровоточат.

Механик показывает мне на огромную дыру в левом крыле самолета: «Хорошо, что снаряд не разорвался, иначе разнесло бы. Смотрите, перебито и управление триммера руля глубины».

Я летела и не замечала, что «илюша» мой тяжело ранен. Богатырь!

Построен полк, вынесено знамя. Мы, выполнявшие особое задание, стоим отдельно — именинники. Командующий 4-й воздушной армией генерал Вершинин поздравляет нас за отличное выполнение задания и прикрепляет на гимнастерки каждому ордена Красного Знамени.

А вечером еще одна радость: наши войска прорвали трижды проклятую «Голубую линию».

Жизнь полка шла своим чередом. Продолжались жестокие бои на Таманском полуострове. С ревом поднимались в воздух штурмовики. В день приходилось делать по нескольку вылетов. И большую часть пути к цели мы находились над водами Черного и Азовского морей.

Я с детства очень боялась воды, плохо плавала. Когда летала над морем, то всегда казалось, что и мотор плохо тянет. Выдали нам спасательные пояса, но летчики не доверяли им, не наде-

вали. Я же перед каждым вылетом под шутки и смех товарищей обязательно надевала пояс.

Не вернулся с боевого вылета любимец полка Боря Страхов. А через день его привезли в полк моряки и рассказали, что лейтенанта прибило к берегу волной. Он был без спасательного пояса. Мы хоронили Бориса Страхова всей дивизией со всеми воинскими почестями в станице Джигинской. В войну летчиков редко хоронили, они гибли там, где вели бой: взрывались, сгорали вместе с самолетом. Я стояла у гроба и плакала. Казалось, вот сейчас Борис встанет, взглянет веселыми глазами и скажет: «И зачем это девчонок на войну берут...» и протянет мне сорванный у капонира полевой цветок, как это он делал очень часто.

Однажды меня вызвали на КП полка и приказали вести четверку штурмовиков на косу Чушка, на штурмовку только что переправившегося через Керченский пролив резерва немецкой пехоты. Я попыталась отказаться от роли ведущего и робко попросила командира полка разрешить мне лететь в качестве ведомого.

— А кто, по-вашему, должен вести группу? — глядя на меня в упор, спросил он. — Осталась одна необстрелянная молодежь. Погибли Усов, Степочкин, Андрианов, Зиновьев, Грудняк, Подыненогин, Тасец, Пашков, Балябин. Обгорел Бугров, тяжело ранен Трекин. Так кто поведет летчиков на боевое задание? — отворачиваясь, протирая глаза перчаткой, спрашивал меня подполковник.

Я повернулась и выскочила из землянки. Летчик Виктор Гуркин, получив задание, начал возмущаться:

— В этакую погоду только смертников посылают на такую цель, — ворчал он.

Вместо того чтобы как-то разъяснить летчику и успокоить, я приказала:

— Все бегом к самолетам!

Взлетела. Взлетели и мои ведомые. Пристроились к нам и истребители сопровождения. Они почти всегда стояли ближе к линии фронта, мы, штурмовики, — подальше.

Я знала, что лететь к цели на косу Чушка по прямой, через лабиринт зенитных батарей невозможно. Решила действовать глубоким заходом со стороны Азовского моря. Низкая облачность сейчас работала на нас.

При подходе к цели попали под сильный зенитный огонь. «С зенитками надо хитрить, — вспомнились слова моего командира эскадрильи Андрианова. — Лучше вовсе не связываться с ними, а уж если бить, то ту, которая стоит поперек дороги».

Готовясь к атаке, раскачиваю самолет, меняю высоту, скорость. Ведомые мои делают то же самое.

Проскочили первый пояс противовоздушной обороны, затем второй. Вот она, цель. Коса Чушка тянется на восемнадцать километров, похожа на насыпь недостроенного моста через Керченский пролив. На этой узкой и плоской песчаной полосе, обмываемой двумя морями, столько фашистской нечисти, что и не видно самой косы: сплошные машины, орудия, танки, живая сила.

Пикируем, сбрасываем бомбы, бьем из пушек и пулеметов. Вновь набираем высоту и опять в атаку. Вижу, как горят ма-

шины, что-то взрывается. Бежит пехота, танки ползут в разные стороны и давят своих же солдат.

Боеприпасы на исходе, нужно уходить. Развернула самолет в свою сторону, но тут обнаружила: нет самолета Гуркина. Сбили?!

Когда стали перелетать линию фронта, увидели недалеко от плавней штурмовик Гуркина. Пилот и воздушный стрелок стояли на крыле самолета и махали нам, стреляли из ракетниц.

Я сделала над ними вираж, помахала крыльями: мол, ждите помощи, посадила самолет и, доложив о выполнении задания, пересела на По-2 и вылетела за Гуркиным. Привезла сбитых товарищей в полк, а за их самолетом поехали механики на грузовой машине.

Полеты, полеты... Командование дивизии решило отправить меня на курсы штурманов. Была такая должность — штурман эскадрильи, то есть заместитель командира эскадрильи, и штурман полка — заместитель командира полка по штурманской службе.

Я категорически отказалась ехать на курсы. Тогда командир дивизии генерал Гетьман приказал майору Кареву отвезти меня «под конвоем». Мне ничего не оставалось как смириться.

И вот я учусь. Учатся вместе со мной еще шесть «невольников» — четыре летчика-истребителя и два штурмовика. Через два месяца курсы были закончены, и мы уехали в свой полк.

Вскоре мне предложили выбрать себе воздушного стрелка.

— Что значит выбрать? — спросила я. — Если есть свободный стрелок, давайте его мне, а если нет, то надо просить, чтобы дали. А брать из экипажа, когда летчик и воздушный стрелок слетались, не годится.

— У нас тут есть один стрелок свободный, так сказать, безэкипажный. Но какой-то он странный, несерьезный. Хотим отправить его из полка в наземные части. Вам он, конечно, не подойдет.

— Как фамилия стрелка?

— Мокосов.

— Давайте его мне.

Когда Мокосов явился, я поначалу в душе пожалела о своем решении взять его к себе стрелком. Передо мной стоял парнишка лет восемнадцати от роду, с круглым, расплывшимся в улыбке лицом.

— Вы раньше летали когда-нибудь? — спросила его.

— Нет. Я курсы стрелков окончил, и все.

— Хотите воевать стрелком?

— Очень хочу, но мне летчика не назначают.

— Ладно. Завтра сама приму у вас зачет.

На второй день я увидела Мокосова в кабине штурмовика. При опросе он отвечал мне без запинок, не переставая улыбаться. И мы стали летать с ним на боевые задания.

Сама я, наверное, ни за что не согласилась бы летать воздушным стрелком на Ил-2. Страшно. Сидит стрелок спиной к летчику в открытой кабине. Перед ним полутурель с крупнокалиберным пулеметом. Страшно стрелку, когда фашистский истребитель заходит в хвост нашего штурмовика и в упор начинает

расстреливать. У стрелка нет ни бугорка земли, за который он мог бы укрыться от пуль, ни траншеи. У него в руках пулемет, но ведь управление самолетом у летчика, и прицеливаться стрелку, когда летчик, маневрируя, бросает самолет из стороны в сторону, очень трудно.

Да, трудно и опасно быть стрелком на штурмовике.

Мокосов с первых полетов вел себя очень активно. Увидев самолет противника, давал выстрел из ракетницы в сторону вражеского самолета, предупреждая наших пилотов об опасности. Когда я, уходя от цели, переводила самолет в набор высоты, Мокосов строчил из своего пулемета по наземным целям, передавал мне по переговорному аппарату все, что видел и на земле и в воздухе. Я радовалась его успехам и при каждом удобном случае хвалила, а командование полка вскоре наградило Мокосова за успешные боевые вылеты и подбитый «мессер» медалью «За боевые заслуги».

16 сентября был освобожден Новороссийск, 21 сентября — Анапа. Теперь мы летали уже на Керченский полуостров.

Мне довелось однажды вести шестерку штурмовиков в район Баксы.

Летим. Вдруг ударили зенитки. Взглянула вниз: кого же они охраняют? И тут же заметила: в садах танки замаскированы.

— С маневром в атаку! — кричу по радио и пикирую. В прицеле танк, выпускаю эрэсы. Быстро набегает земля. Кажется, она падает на меня. Пальцы опять касаются гашеток — и из-под крыльев самолета с воющим стоном устремляются к земле смертоносные ракеты. Беру на себя ручку управления, и штурмовик послушно выходит из пикирования. Сбросив серию бомб, перевожу машину на набор высоты, а мой стрелок старшина Мокосов начинает поливать мечущихся внизу фашистов из крупнокалиберного пулемета. Закончив штурмовку, покидаем окутанную огнем и дымом цель, поворачиваем на свою сторону.

Но тут нас встречают «мессеры». Одна их группа сковывает боем наших истребителей прикрытия, другая атакует Илы. Завязывается воздушный бой.

Два истребителя, один краснозвездный, другой — с черно-белым крестом на фюзеляже, сцепившись, падают в море. Бой продолжает шестерка наших против десяти «мессеров». Силы явно неравны. На моих глазах в море падают еще два наших Ила. Но и фашистам достается сполна. Вот один «мессер» задымил и отвалил в сторону, а другой камнем полетел к земле. Тут что-то ударило в плексигласовую боковину фонаря. Оглядываюсь, вижу кровь на бронестекле, разделяющем мою кабину от кабины стрелка: «Мокосов ранен!» В тот же миг чувствую — самолет сносит вправо. Перебиты тяги рулей. Мои ведомые летят на восток домой, а мой самолет не слушается меня, повернул на запад, к врагу. Напрягаю все силы и умение. Развернула все же штурмовик. Лечу на предельно малой скорости, теряя высоту. Земля все ближе, ближе.

Вдруг вижу, из окопов пехотинцев летят кверху какие-то предметы. Гранаты? Нет! Это наши солдаты восторженно машут мне, бросая вверх каски. Они, как малые дети, радуются за меня: все же дотянула! Наконец вижу аэродром и сажаю машину.

Тишина. Только теперь вижу свои окровавленные руки. Гим-

настерка тоже в крови. И не заметила, как поранило осколком снаряда.

Вылезаю из кабины — и к стрелку. «Жив, Мокосов?» — «Жив!» Отлегло от сердца. К самолету бегут летчики. На полном ходу катит краснокрестная «санитарка», за нею — тягач, чтобы поскорее отбуксировать искалеченный самолет со взлетной полосы.

Мокосова кладут на носилки, а он пытается встать и все повторяет:

— Товарищ лейтенант! Не отправляйте меня в госпиталь, пусть меня полечит наш доктор, я скоро поправлюсь и опять буду летать, не берите себе нового стрелка!

— Хорошо, хорошо, Мокосов, я попрошу, чтобы вас лечили в нашем приаэродромном медсанбате. Поправляйтесь побыстрей!

На второй день иду проведать своего стрелка и вдруг слышу: за последним капониром кто-то всхлипывает. Подошла. Сидит в траве, уткнувшись лицом в колени, и горько плачет оружейница Дуся Назаркина.

«Обидел кто-то», — подумала я, но тут же отказалась от своего предположения. Дусю в полку все очень любили. Задорная, веселая и очень трудолюбивая оружейница пришлась по душе всем. Наблюдать за ней, когда она подвешивала бомбы, реактивные снаряды, заряжала пушки и пулеметы, было одно удовольствие. Ее в меру полная фигурка в выцветшей на солнце гимнастерке, всегда чистой и отглаженной бог весть как и чем, мелькала вокруг штурмовика с необыкновенной быстротой и ловкостью.

Как она одна ухитрялась подвешивать под фюзеляж самолета стокилограммовые бомбы, до сих пор остается для меня загадкой, а она шутила: «Я до войны в Москве на заводе «Красный богатырь» в кружке штангистов занималась!»

И вот плачет «штангист». Потрясла ее за плечо, она не отозвалась. Тогда я подсела к ней, взяла ее голову, приподняла и положила к себе на колени. Пилотка, которую она зажала в руках, была вся мокрая и помятая. Я молча гладила ее по голове. Прошло минут десять, и Дуся, подняв голову, стала рассказывать мне о большой своей любви к Сережке — воздушному стрелку, не вернувшемуся с задания.

— Я не хочу жить без него. Мы только вчера объяснились в любви, первый раз поцеловались и решили пожениться, когда закончится война. И вот его нет. Погиб! — Она со стоном упала на землю, зажала лицо ладонями и глухо зарыдала.

Я сбегала в штабную землянку, принесла воды и нашатырный спирт из аптечки. Разжала ей рот, дала попить. Спирт поднесла к носу и натерла виски. Понемногу она стала успокаиваться и вдруг:

— Товарищ лейтенант! Анна Александровна! Прошу вас, умоляю, возьмите меня к себе воздушным стрелком. Я знаю все силуэты вражеских самолетов, я умею хорошо стрелять. Возьмите! Я хочу мстить за Сережу. Возьмите!

— У меня же есть стрелок. Мокосов, — сказала я, растерявшись от неожиданной просьбы Дуси.

— Но он ранен, да и сможет ли после такого ранения стрелять, ведь у него перебита правая рука.

Я стала отговаривать ее. Рассказала, как опасно быть на штурмовике стрелком.

— И все же возьмите меня к себе, поддержите мою просьбу перед командованием полка, а рапорт я сейчас напишу...

В первом же боевом вылете Назаркина ничуть не хуже Мокосова справлялась со своими обязанностями воздушного стрелка.

Весной наш полк перебазировался в район Полтавы. Здесь возле деревни Карловка Петр Первый разбил шведов, а совсем недавно уничтожена крупная группировка фашистских войск. Вблизи бывших русских редутов, на том месте, где остались обломки вражеской техники, наши штабисты нашли для нас естественный полигон. Построили наблюдательную вышку, обозначили траншеи деревянными «солдатиками», имитируя передовую линию, установили деревянные пушки, танки с крестами, автомашины.

Нам предстояло обучить на этом полигоне многих молодых летчиков. Уезжая с фронта, мы рассчитывали на недолгий отдых в тылу. Атака полигонных «декораций» цементными бомбами не вызывала энтузиазма у бывалых летчиков, а для молодых эта работа была продолжением надоевших школьных занятий. Они мечтали о подвигах. Короче, все рвались на фронт.

Незаметно пролетел май. Молодые летчики научились метко стрелять и бомбить, стали уверенно держаться в боевом строю.

Вскоре наш полк вылетел в 6-ю воздушную армию генерала Полынина — героя воздушных боев в Испании.

...Девятку штурмовиков повел в бой командир второй эскадрильи капитан Михаил Бердашкевич. Задача — уничтожить переправу на реке Буге, воспрепятствовать отходу вражеских войск. Миша тщательно «проиграл» весь полет с молодыми летчиками, каждого из своих ведомых просил повторить «полет». Показывал на карте и, присев на корточки, чертил на земле прутиком. И только когда убедился, что всем все понятно, скомандовал:

— По самолетам!

При подходе к цели летчики услышали спокойный и мягкий голос капитана:

— Снять предохранители! Разомкнитесь, держитесь свободнее!

Группа с разворота зашла на переправу. Зенитки встретили наших штурмовиков плотным огнем.

— Маневр, ребята! Маневр! — приказывает Бердашкевич и пикирует на переправу. За ним устремились его «ребята». Трассы огня с земли скрестились над штурмовиками. Самолет летчика Хухлина как-то неловко, будто нехотя, без надобности, с развороченным крылом, с разбитым стабилизатором полез вверх, затем резко опустил нос и пошел к земле. Хухлин сумел выровнять, а затем посадить разбитый Ил-2 на маленькое, изрытое воронками поле за переправой.

И тут к штурмовику бросились со всех сторон гитлеровцы. Все это видел ведущий и направил всю свою группу на помощь Хухлину. Штурмовики стали стрелять по фашистам, отгоняя их от самолета товарища. Андрей Коняхин, верный и неразлучный друг Виктора Хухлина, посадил свой самолет вблизи от его подстреленного Ила. Фашисты, увидев двойную добычу,

вновь бросились в атаку, но Бердашкевич с группой отбил еще одну их атаку и улетел, так как кончалось горючее.

Спасаясь от наседавших автоматчиков, Андрей открыл по ним огонь из пушек и пулеметов, но трассы огня проходили высоко, минуя фрицев. Тогда воздушный стрелок Коняхина выскочил из самолета, нечеловеческими усилиями приподнял хвост штурмовика, и летчик застрочил прицельно.

Тем временем Хухлин поджег свой израненный Ил-2, подбежал к самолету друга и вместе со стрелком забрался в заднюю кабину. Коняхин развернулся, дал полный газ с форсажем, штурмовик устремился вперед и над головами фашистских автоматчиков взмыл в небо.

И вот свой аэродром. Как только самолет сел, заглох мотор: кончилось горючее. Летчики и стрелки вытащили Коняхина из кабины, долго качали, а затем на руках несли до штабной землянки.

А вскоре состоялось партийное собрание. На повестке дня стоял один вопрос — прием в партию. Парторг полка капитан В. И. Разин зачитал заявление Андрея Коняхина. Собрание вынесло единогласное решение: товарища Коняхина в ряды партии коммунистов принять!

Далее парторг зачитал заявление Назаркиной Евдокии Алексеевны, 1921 года рождения, русской. Она просила принять ее кандидатом в члены партии большевиков.

— Расскажите свою автобиографию, — попросил замполит полка Д. Швидкий.

Дуся, заметно волнуясь, встала, одернула гимнастерку, поправила на груди медаль «За боевые заслуги», подошла к столу президиума и негромко заговорила:

— Отец мой, Назаркин Алексей Ильич, был солдатом царской армии, воевал под командованием генерала Брусилова. Награжден был четырьмя Георгиевскими крестами. Дослужился до чина старшего унтер-офицера. Был тяжело ранен. В гражданскую войну воевал против Колчака под командованием Блюхера. Потерял ногу. Мама умерла, нас осталось шестеро детей мал мала меньше: четыре брата и две сестры. Тяжело было отцу прокормить такую ораву. Он отнес в торгсин свои Георгиевские кресты и купил нам по ботинкам и... сахару...

Дуся замолчала, наклонила голову, а руки что-то нервно искали в кармане юбки. Наконец она достала конверт и начала сбивчиво говорить:

— Братишка Вася прислал письмо. Пишет, что похоронили они отца. Папа последнее время был председателем колхоза в деревне Тишково под Москвой. Сорвался с цепи колхозный бык, отец бросился его ловить, зацепился за что-то деревянной ногой и упал. Бык лежачего отца начал поддевать рогами и бросать... Женщины, неистово крича, разбежались в стороны. Помочь отцу было некому. В деревне остались только стар да млад. Братья все на фронте, кроме Васятки. Иван погиб, защищая Севастополь, а Семен под Москвой.

У Назаркиной по лицу побежали слезы.

— Что еще пишет братишка? Прочитайте, — попросил капитан Швидкий.

— «...Похоронили отца рядом с мамой. Поплакал я, дорогая сестра, на могилках, да и решил податься в Москву, там, сказы-

вают, всех принимают в ФЗУ, не смотрят на образование, а оно у меня не ахти какое — как ты знаешь, всего три класса. Попрошусь, может, примут, и тогда я буду сыт и одет. Ты обо мне не беспокойся, бей фашистов так, как бьет их брат Миша, — его ведь орденом наградили. Сестра Даша зовет меня к себе в Рязанскую область, но я попытаю счастья на заводе «Красный богатырь», где ты раньше работала...»

Все молчали, а Дуся продолжала стоять у стола, опустив бессильно руки с письмом. По лицу ее текли слезы.

— Кто рекомендует Назаркину? — спросил кто-то из коммунистов.

— Комсомольская организация, старший техник-лейтенант Шурхин и лейтенант Егорова, — ответил парторг.

От имени комсомольцев полка выступил секретарь, он сказал, что Назаркина, придя в полк, сразу включилась в общественную работу. Она член полкового бюро, член редколлегии, участвует в самодеятельности.

Коммунист Шурхин рассказал о Назаркиной, как она, будучи оружейницей, быстро готовила к бою штурмовик. Быстрее всех разбирала для чистки и вновь устанавливала пушки. А они весом по семьдесят килограммов. Не было случая у летчика, чтобы он пожаловался на то, что пушки «заело» или взрыватели у бомб или эрэсов не сработали.

— А о том, как она сейчас справляется с обязанностями воздушного стрелка, пусть скажет лейтенант Егорова, — закончил Шурхин.

— Назаркина стрелок отличный, — сказала я. — И вообще храбрая девушка.

Собрание постановило: принять Назаркину Е. А. кандидатом в члены ВКП(б).

Полесье осталось позади, впереди Польша. Наша армия шла освобождать многострадальный польский народ.

Мы, штурмовики, наносили по танкам и пехоте противника удар за ударом. Однажды вылетели штурмовать резерв противника в районе городка Холм. Вел нас сам командир полка Михаил Николаевич Козин — Батя. Лесные массивы остались позади. Летим над полем с узкими полосками неубранной ржи.

— Егорова! — слышу по радио голос Михаила Николаевича. — Справа по курсу в кустарнике замаскирована артиллерия. Пройдись из пушек по гадам!

Резко отворачиваю вправо, отыскиваю глазами цель, перевожу самолет в пикирование и открываю огонь.

Откуда-то взялись зенитки, преграждают нам путь.

— Вахрамов! — опять пренебрегая шифром, слышу голос Бати. — Дай из эрэсов по батарее!

На дороге, возле Холма, — механизированная колонна: бронетранспортеры, цистерны с горючим, грузовики, танки. Командир с разворота повел нас на цель.

— Маневр, ребятки, маневр! Прицельно огонь! — И устремился в атаку. С земли тянутся к нам дымные полосы — это малокалиберные пушки открыли по нас огонь, заговорили шестиствольные «эрликоны». Довернуть бы на них, дать туда пару очередей, но слишком заманчиво в прицеле маячит бронеавто-

мобиль. В небе все больше и больше черных разрывов. Посыпались бомбы. Вот уже настала пора выводить из пикирования, а ведущий все продолжает свой стремительный полет к земле. Вдруг залп зениток. Самолет Козина как бы остановился на месте, что-то вспыхнуло над ним, и он рухнул на скопление техники врага. Взвился огромный столб огня, возвестив нам о гибели нашего Бати... Мы в каком-то безумии стали делать заход за заходом на цель, пока не израсходовали весь боезапас.

Сделали последний заход, как бы прощаясь с Батей, командиром нашего 805-го штурмового полка, подполковником Козиным Михаилом Николаевичем. С земли по нас уже никто не стрелял...

На аэродроме был траурный митинг. Мы все стояли поникшие в этот страшный, черный день. Шел дождь, как бы оплакивая вместе с нами погибших. Вместе с дождем с лиц однополчан скатывались слезы.

20 августа 1944 года страна отмечала День авиации. С утра заданий не было, и мы собрались вечером отпраздновать наш праздник. Настроение у всех было приподнятое. Вообще летчики удивительный народ. Только что смотрели смерти в глаза — и вот шутят, смеются... Я никогда не видела на лицах летчиков и стрелков растерянности, тоски.

К празднику готовился и коллектив нашей художественной самодеятельности. Каждая эскадрилья репетировала свой «сольный» номер.

Но праздник был прерван в самом начале. Уже в полдень летчики нашей дивизии отбивали яростные атаки немцев на Мангушевском плацдарме за рекой Вислой. Гвардейцы Чуйкова из последних сил сдерживали там натиск врага, и помощь штурмовиков была нужна как воздух.

Мы вылетели большими эшелонированными группами. Одну группу в пятнадцать Илов повел командир полка майор Петр Тимофеевич Карев, другую группу должна была вести я, штурман полка, у меня в этот раз было как-то тягостно на душе, и я с волнением ожидала команду... Ох, эти минуты ожидания! Они тянутся часами.

Выйдя с командного пункта, я пошла на стоянку своего самолета. Из кабины стрелка выглядывала Дуся. Давно я не видела ее такой улыбающейся. Щеки разрумянились, глаза блестят. Ну, думаю, понемногу отходит мой воздушный стрелок от пережитых потрясений.

Механик самолета Горобец доложил о готовности машины, затем сделал мне таинственный кивок в сторону Дуси и зашептал:

— Товарищ старший лейтенант, сержант Назаркина втихаря уложила к себе в заднюю кабину противотанковые бомбочки со взрывателями...

— Да что она, с ума сошла! — вырвалось у меня. — Сейчас же очистить ее кабину!

Я посмотрела на часы. До вылета оставалось три минуты.

— Она не подпускает к кабине, — сказал Горобец, — грозит пистолетом...

Я вспрыгнула на крыло, подошла к задней кабине. Дуся, как наседка крыльями, пыталась прикрыть руками и телом все, что находилось в кабине. Я легонько отодвинула ее и просунула руку на дно кабины. Бомбы! Вытащила одну полуторакилограм-

мовую и передала механику. Когда я хотела взять другую, Дуся взволнованно заговорила:

— Товарищ старший лейтенант! Оставьте их мне. Ведь эти бомбочки при прямом попадании насквозь танк пробивают. Оставьте! Ведь мы летим сейчас бомбить танки.

— Механик! Немедленно очистить кабину! — закричала я.

Зеленая ракета в воздухе. Я поспешно надеваю парашют, сажусь в кабину, запускаю двигатель, проверяю рацию и выруливаю. По переговорному аппарату слышу голос Назаркиной, он подозрительно веселый. «Сумел ли Горобец вытащить все бомбы из-под ее ног в кабине?» — думаю я и взлетаю. За мной спешат пятнадцать штурмовиков. Чтобы собрать всю свою стаю, делаю круг над аэродромом.

...Впереди завиднелась Висла с островами посредине. Справа, как в тумане, Варшава.

— Слева над нами четыре «фоккера», — слышу голос Назаркиной. Она первая увидела истребителей противника и, чтобы все обратили внимание, дала в их сторону ракету.

Дальнобойные зенитки преградили путь штурмовикам. Маневрируем, но снаряды все равно рвутся так близко, что осколки их барабанят по броне Ила. Трассы «эрликонов» красными шариками летят в нас. Плацдарм в огне.

Но вот атаки вражеских истребителей и зенитный огонь с земли остаются позади.

Мы обрушиваем на танки противника огонь реактивных снарядов и пушек, забрасываем их маленькими противотанковыми бомбами. Под нами горит земля. В азарте боя я не замечаю сплошных разрывов зенитных снарядов вокруг моего самолета.

Но вот машину сильно подбрасывает, самолет лезет вверх, перестает слушаться. Сосредоточиваю все силы, чтобы перевести штурмовик в пикирование и открыть стрельбу. Ведомые видят, что самолет мой подбит. Кто-то кричит мне по радио:

— Уходи на свою сторону!

Потом все смолкло, связь прервалась. Нет связи даже с Назаркиной. Убита?! Самолет трясет как в лихорадке. Он не слушается рулей — они перебиты. В кабину со стороны мотора врывается пламя. Хочу открыть кабину — не открывается.

Летчики, вернувшиеся с задания, доложили, что ведущий группы старший лейтенант Егорова с воздушным стрелком Евдокией Назаркиной погибли в районе цели. Но летчик Петр Макаренко, летевший ведомым справа у меня, сказал:

— Я видел у самой земли парашют. Может, выпрыгнули?

Маме моей Егоровой Степаниде Васильевне в деревню Володово Кувшиновского района Калининской области послали похоронную, а в Верховный Совет — наградной лист на присвоение мне звания Героя Советского Союза посмертно.

...Каким-то чудом меня выбрасывает из кабины. Перед землей машинально дернула за кольцо. Тлеющий парашют открылся, но не полностью...

Очнулась от страшной боли во всем теле. Огнем горела голова, нестерпимо болели позвоночник, обгоревшие руки и ноги, с трудом открыла глаза и увидела перед собой... гитлеровцев.

Об этой трагической минуте в моей жизни бывший немецкий офицер Л. Дингер впоследствии рассказал в западногерманском журнале «Немецкий парашютист».

«Наша парашютно-десантная дивизия была переброшена из солнечной Италии в кромешный ад Восточного фронта в августе 1944 года, — писал Дингер. — Под ударами авиации русских мы пережили в тот день очень тягостное состояние. Мне как раз что-то нужно было на перевязочном пункте, и там я был свидетелем такого случая.

С передовой на санитарной повозке привезли русского летчика. Парень выглядел довольно-таки сильно искалеченным в своем обгоревшем. разорванном в лохмотья комбинезоне. Лицо было покрыто маслом и кровью. Солдаты, которые его доставили, рассказывают, что летчик выбросился из горящего боевого самолета и опустился около их позиций.

Когда в операционной палате сняли с него шлем и комбинезон, все были ошеломлены: летчик была девушкой! Еще больше поразило всех присутствующих поведение русской летчицы, которая не произнесла ни единого звука, когда во время обработки с нее снимали куски кожи... Как это возможно, чтобы в женщине была воспитана такая нечеловеческая выдержка?!»

Теперь установлено: на Мангушевском плацдарме в тот день, когда меня сбили, наша 197-я штурмовая авиадивизия и 8-я гвардейская армия уничтожили сотни вражеских танков.

Отсюда понятно, почему Дингер писал о «кромешном аде Восточного фронта», почему на протяжении десятилетий помнит санитарную палатку и все, что происходило в ней.

Пять суток гитлеровцы везли нас по Германии. Я часто теряла сознание. Когда приходила в себя, мне страшно хотелось пить, но как утолить жажду, если вместо лица страшная маска со склеенными губами? Стояла жара. На ожогах образовались нагноения. Медицинской помощи мне не оказывали никакой.

Юля Кращенко, юная санитарка, попавшая в плен на плацдарме, всегда сидела рядом. Через соломинку, вставленную в щель рта, поила меня. Где она раздобыла пустую консервную банку, где брала воду — я не знаю...

На каком-то полустанке пленных выгрузили и повели.

Впереди колонны, окруженной озверелыми конвоирами и немецкими овчарками, советские военнопленные несли меня на носилках, как носят покойников на кладбище.

Вдруг слышу голос одного из несущих носилки:

— Держись, сестренка! Русский доктор Синяков воскрешает из мертвых!..

Нас с Юлей поместили в изолированный сырой карцер с цементным низким потолком и двумя решетками на окнах. Двухэтажные нары. На верхней — Юля, на нижней — я. В обгоревшем моем сапоге — партбилет, два ордена Красного Знамени и медаль «За отвагу».

У дверей гитлеровец с деревянным лицом и автоматом на шее.

Так началось полное душевной тревоги и физической боли мое кошмарное существование в фашистском лагере ЗЦ.

Однажды открылась со скрипом дверь и вошел, как призрак, немецкий фельдфебель.

— Ого! Здесь уже пахнет покойником, — сказал он, раскуривая сигарету. — Сколько раз говорил: у нас барак, а не морг! — крикнул он кому-то через плечо и, склоняясь над нарами, ошеломленно воскликнул: — Тысяча чертей! До чего живучи эти русские ведьмы! Дышит... Живого места нет, а дышит!

От меня, видимо, и вправду пахло покойником. Сильные ожоги на руках, ногах, лице покрылись гноем.

— Заходи, — сказал фельдфебель стоявшему у двери человеку, а сам вышел из каземата.

Это был «русский доктор», как называли здесь военного врача 2-го ранга Георгия Федоровича Синякова, плененного вместе с транспортом раненых красноармейцев и командиров в 1941 году под Киевом. От имени всех пленных лагеря доктор Синяков и профессор Белградского университета доктор Павле Трипинац ходили в гестапо и просили разрешения лечить русскую летчицу.

Негласное вече лагерных патриотов решило во что бы то ни стало добыть медикаменты. Нужные лекарства нашлись в бараке военнопленных французов, англичан и американцев, которым разрешались передачи посылок международного Красного Креста.

Мало-помалу я стала поправляться. И тут ко мне начали подсылать провокаторов, изменников Родины. Однажды пожаловал эсэсовец, прилично говоривший по-русски.

— Гниешь, девочка? — спросил с наглой усмешкой.

Я молча отвернулась к стене. Эсэсовец ручкой резиновой плетки постучал по моему плечу:

— О, я не сержусь, детка! Мы уважаем сильных, — и, помолчав, добавил: — Твое слово — и завтра будешь в лучшем госпитале Берлина, а послезавтра о тебе заговорят все газеты рейха, ну!

— Эх, звери! Человек при смерти, а у вас только одно на уме, — послышался злой голос Юлии.

— Молчать, русская свинья! — взорвался эсэсовец.

— Сам ты свинья! — выкрикнула Юлия.

— Сгною! — завопил гитлеровец и выбежал из камеры.

Позднее к нам зашел Георгий Федорович Синяков.

— В моем сапоге тайник, — призналась я ему. — Спрячьте партбилет и ордена. Если вернетесь на Родину, передайте кому следует.

Синяков ушел. Вечером пришли два немца и увели Юлию. Отстранили от меня Синякова и Трипинаца. Теперь перевязки делал изменник Родины с черными глазами разбойника. Но лагерное вече действовало. Каким-то чудом мне передали пайку хлеба с запиской внутри: «Держись, сестренка!»

В один из тяжких дней одиночного заключения мое внимание привлек высокий, худой, лет семнадцати часовой. Он заступал в караул уже не первый день и каждый раз с нескрываемым любопытством всматривался в «летающую ведьму». Однажды, озираясь на дверь, он достал из кармана сверток, вынул кусок пирога, шагнул к нарам, проворно положил на мою грудь и улыбнулся.

— Битте эссен, русише фрау! — ласково сказал солдат, становясь на свое место. — Битте!

— Убери! Мне не надо вашего! — больше знаками, чем словами, сказала я.

— Найн, найн! Их ист фашистен нихт! — воскликнул часовой и торопливо начал объяснять: приехала из деревни мать, привезла съестное. Солдат рассказал матери, кого он охраняет в лагере. Мать, видимо, посочувствовала моему горю, возможно, вспомнила о своих детях, велела сыну передать мне хлеб...

В последний день января 1945 года танкисты майора Ильина из 5-й ударной армии освободили проклятый лагерь ЗЦ. Но не все узники обрели свободу.

За два дня до прихода наших эсэсовцы выгнали из бараков всех, кто мог стоять на ногах, построили в колонны и, окружив овчарками, погнали под конвоем на запад.

В лагере остались только «доходяги», то есть умирающие люди, да часть врачей и санитаров под командой доктора Синякова, которые тайком выкопали глубокую яму под операционной и спрятались в ней.

Через решетку окна я видела, как гестаповец, говорящий по-русски, и два автоматчика вбегали в бараки французов и стреляли. Видимо, добивали тех, кто не мог идти.

Но вот артиллерийская канонада приблизилась к самому лагерю. Снаряды рвались то справа, то слева от моего карцера, который был закрыт на замок с внешней стороны.

И вдруг все смолкло. Наступило затишье. Дверь распахнулась, на ее пороге — танкисты. Майор Ильин предложил мне поехать в госпиталь с ранеными танкистами. Я отказалась:

— Буду искать свой полк. Он где-то здесь, на этом участке фронта.

С полевой почтой танкистов я отправила два письма: маме и в полк замполиту полка Швидкому Д. Т. Ведь меня всюду считали погибшей.

В тот же день, 31 января 1945 года, в день освобождения, доктор Синяков Георгий Федорович принес и торжественно вручил мне мой партийный билет и ордена...

В полку вскоре получили мое письмо, и майор Швидкий нашел меня в отделе кадров 16-й воздушной армии. Я сидела на улице на скамеечке, ждала своего назначения. Рядом со мной лежали два костыля, с помощью которых я передвигалась, и соломенная сумочка с эмблемой ВВС и моими инициалами АЕ, сплетенная летчиками-узниками Кюстринского лагеря в подарок мне. (Эта сумочка сейчас находится в музее Вооруженных Сил СССР в Москве.)

Замполит увидел меня первым, выскочил из машины и с распростертыми в стороны руками бегом направился в мою сторону...

Я встретила Победу в Крыму, в санатории «Гурзуф».

...Много лет ушло на поиски дорогих мне людей. И вот нашелся Георгий Федорович Синяков, «русский доктор». Он живет в Челябинске, преподает в медицинском институте и заведует хирургическим отделением больницы тракторного завода.

Бесстрашная комсомолка Юлия Кращенко живет и работает в своем родном колхозе «Ново-Червонное» Ворошиловградской области. Воспитала троих детей. Когда они приехали ко мне, я встретила их как самых близких и родных мне людей. Мы выступили по телевидению. Были гостями 663-й московской школы. В этот раз я спросила Георгия Федоровича, спросила, как бы утверждая:

— Вы хранили мой партийный билет и ордена?

— Нет! — ответил доктор. — Их хранил немецкий коммунист Гельмут Чахер.

Мне захотелось разыскать Чахера и поблагодарить его. Я написала много писем в ГДР, и одно из них было напечатано в немецкой газете. И вот летом 1965 года я получила письмо из Германской Демократической Республики от жены Чахера, русской женщины Клавдии Александровны.

Она сообщала мне о том, что Гельмут после войны работал секретарем райкома партии в городе Форсте и умер в 1959 году.

Мы стали переписываться с Клавдией Александровной, а в ноябре 1965 года она приехала с немецкой делегацией в Москву и, конечно же, побывала у меня.

Нашла я и профессора Павле Трипинаца. Он живет у себя на родине, в Югославии. Заведует кафедрой биохимии Белградского университета.

Давно миновали страшные годы войны. Вот уже выросли сыновья и подрастают внуки. Старший сын у меня военный летчик-инженер, подполковник. Летает на современных самолетах. Младший мой сын Игорь — горный инженер. Внучка Лерочка мечтает стать летчицей, как бабушка и как папа. Аленка собирается быть врачом, чтобы лечить бабушку, то есть меня.

●

ИСКУССТВО

О. ВОРОНОВА

К МЫШЛЕНИЮ ВЫСОКОМУ И ОБРАЗНОМУ

Таллин — город удивительный. В центре его, на высоком холме, возвышается старинный замок, обнесенный каменными стенами; подниматься к нему надо или по узким, круто взлетающим вверх переулкам, или по еще более узким и еще более крутым лестницам — в старые времена эти дороги перекрывались железными, запиравшимися на ночь воротами. Над замком царит высокая стройная башня — таллинцы зовут ее «Длинный Герман». А в нижнем городе, средневековом городе купцов и ремесленников, тоже укрывавшемся за массивными стенами, стоит другая башня, приземистая и круглая, — «Толстая Маргарита».

Каждый раз, попадая в Таллин, я совершаю три неизменных маршрута. Сперва поднимаюсь наверх, к замку, и смотрю оттуда на панораму черепичных крыш и позеленевших от времени шпилей. Затем еду в Кадриоргский дворец XVIII века; в нем собрана богатейшая коллекция эстонского искусства — живопись, графика, скульптура, прикладные художественные изделия. Вглядываюсь в деревянную резьбу Клавеса и Михеля Ситтовых (отец был последним представителем поздней евро-

пейской готики, сын — один из первых послов Ренессанса), в полотна основателей эстонской живописи Иохана Келера и Пауля Рауда, в тончайшие по штриховой нюансировке офорты Эдуарда Вийральта, захожу в ежегодно пополняющийся отдел советского эстонского искусства. А после музея иду в мастерские художников. Через поэзию древних, тесно сжавшихся под защитой крепостных стен, через уже сложившиеся в эстонском искусстве традиции стараюсь глубже понять искусство современников — их находки и поиски.

Эстонские художники работают много и разнообразно, понимая, что найти новые пути в искусстве можно, лишь в совершенстве овладев своим ремеслом. За творчеством некоторых я наблюдаю уже много лет, чуть ли не с первых их выступлений на выставках. Наблюдаю, потому что в нем отчетливо проявляются характерные для сегодняшнего дня тенденции. Среди этих художников — график Херальд Ээльма, живописец Николай Кормашов и скульптор Матти Варик. В их произведениях сосредоточиваются многие проблемы, волнующие наших современников; серьезность мысли сочетается в них со стремлением к образному совершенству и мужественной зрелости.

Однажды мне пришлось пересечь республику с севера на юг, от Таллина до Пярну на автобусе. Мы ехали не спеша, останавливаясь в наиболее достопримечательных местах, и впечатлений было много. Но из всех этих впечатлений, пожалуй, сильнее всего поразили и остались в памяти эстонские можжевельники. В русских лесах, теряясь среди мощных корней берез и сосен, можжевельники кажутся слабенькими, хилыми, здесь же они исполнены силы и упорства. Тесно обступая трясины, они то устремлялись вверх, как пламенеющие факелы, то круглились боками, словно огромные зеленые шары. Я пробыла тогда в Эстонии считанные дни. И вероятно, мне не удалось бы понять мятежный характер эстонской природы, если бы незадолго до этого я не увидела на выставке пейзажа литографию Херальда Ээльма «Можжевельники».

Большие черные пятна трех кустов — совершенно разных — сообщали пейзажу почти скульптурную ритмичность. И так велика была эта драматическая напряженность, что гравюра точнее и ярче слов говорила и об их одиночестве под жгучим январским ветром, и об их страстной воле к жизни. Казалось, этому способствовала и шероховатость камня, с которого делался оттиск, и характер штриха, и расположение цветов: преобладающий черный был лишь усилен белыми прожилками. Обобщенные, лаконичные «Можжевельники» как бы утверждали любовь художника к своему краю, веру в него. Именно благодаря его личному отношению, его «соприсутствию» возникало не просто изображение, а образ прибалтийской природы.

Не только «Можжевельники» — каждый из листов Ээльма утверждал любовь художника к родине, к ее природе и людям. График рассказывал о морских судах и индустриальных комплексах, о таллинской гавани, о спортивных состязаниях велосипедистов, о строителях и возвращающихся домой солдатах. Особенно часто и охотно обращался он к рыбацкой теме — изображал угловатые контуры старых рыболовецких судов, самих рыбаков: в лодках, борющихся с морскими волнами, закидывающих и вытягивающих сети.

Он искал своего понимания правды жизни, поэзии правды. Его листы, посвященные рыбакам, были по-настоящему публицистичны. Графика интересовали не столько быт, внешность или даже душевная жизнь людей, сколько их поступки. Действиями и только действиями измерялась для него ценность человеческой личности. Сдержанны, немногословны его герои; тяжелая, подчас опасная работа научила их решительности и мужеству. Суровые, обветренные лица; скользящие, стремительные тела огромных рыб; сети, своим серебристым мерцанием словно освещающие действие, — все это создавало поэму о тружениках моря. Воспевая труд и нравственный героизм рыбаков, Ээльма утверждал значительность жизни не прославленных единиц, но сотен скромных, мало кому известных людей.

Публицистичность сочеталась в его произведениях с поэзией, с умением по-новому видеть и почувствовать мир. «Земля ждет» — так называется одна из его линогравюр, посвященных молодежи. Ждут поля, их нужно засевать, обрабатывать, нужно выращивать и собирать урожай, и в таком же ожидании находятся двое юношей и девушка; крохотный полевой цветок в ее руке, символизируя одновременно весну природы и человеческую юность, словно связывает их с землей. Художник внимательно прослеживает тонкую и сложную гамму душевных переходов — от сосредоточенного раздумья до внутренней готовности к работе, чистота юности сама по себе является для него источником радости и света.

Выразительность «молодежных листов» Ээльма по сути своей музыкальная. Строгий вкус и безупречное чувство меры характерны для них так же, как и жизнеутверждение — каждая из его гравюр оптимистична и как бы нацелена в будущее: она не просто сообщает факты, но заставляет задумываться о развитии жизни. Художнику свойственно светлое, лирико-романтическое отношение к жизни, он верит в красоту и внутренний свет молодости, благородство чувств, силу и надежность земли. Искусство для него синоним добра. Искусство Ээльма не безмятежно. У него есть листы о революции («Гроздья гнева», «Борьба», «Свобода»), о Великой Отечественной войне («Несчастье века», «После бомбы»). С неподдельным и искренним волнением рассказывает график о грозовых минутах истории. В трагическом начале жизненных противоречий для него нарушение гармонии, искажение естественной нормы бытия. Стремясь к высокому нравственному идеалу, он ищет и повсюду подчеркивает его. Всмотримся хотя бы в его «Свободу». Гравюра выполнена в торжественных замедленных ритмах, подчеркнувших внутренний свет и душевную ясность персонажей. Статическая композиция, величавые жесты, красивые молодые лица с умиротворенными и одновременно ожидающими глазами. Свобода — это неторопливая уверенная поступь в будущее, это объединяющая людей спокойная доброта, это надежды, которые непременно сбудутся.

Не просто картину жизни, но ее символическое выражение, общезначимую художественную формулу видим мы в графических листах Ээльма. По удачному выражению одного из критиков Эстонии, ему удалось создать «некое поле художественного напряжения, обладающее огромной возбуждающей силой». Его творческий мир широк и разнообразен, он вмещает радостное и трагическое, гармонию мира и сложность его противоречий. К че-

ловеческой нежности обращается он в таких листах, как «Дети под деревьями», к разуму и совести в работе «После бомбы», ко всему комплексу людских воспоминаний, чувств и воображения — в «Родине»: могучий ствол старого дерева, вмещающий в своих кругах и настоящее, и прошлое, и цветы, и леса, и летящих в светозарном воздухе ласточек, и стариков, и молодых людей, которые любят и будут продолжать жизнь, — в этом образе заключается поэтический и нравственный идеал художника. В нем много теплоты, спокойствия, чувства живой и постоянной связи с родной землей, удивительного ощущения почти вечного бытия природы.

Символика и глубина чувств «Родины» вплотную подводит к философскому обобщению «Цветения»: срез земной сферы, всего земного пространства густо порос цветами. Некоторые из них — простые полевые растения, другие — необычайные, фантастические, напоминающие экзотические раковины, но и те и другие сплетаются в своеобразный орнаментальный узор, словно источающий таинственную жизненную силу. Художник здесь не стремится к упорядоченности или симметричности композиции, все изображенное им будто является плодом импровизации, но в импровизации этой нет случайных мотивов — на всем печать поэтического восприятия жизни, ощущения полноты и света земного бытия.

Мастерская Ээльма находится на площади Свободы, главной площади Таллина, рядом с Союзом художников Эстонии. Поднимитесь на последний этаж по старой узкой лестнице, постучитесь в дверь: художник почти всегда там, на своем рабочем месте. Если его нет, значит, он на острове Сааремаа — там, среди добротных крестьянских деревянных домов, у морского берега, обдуваемого солеными ветрами, его летнее прибежище. Но если его нет и на Сааремаа, значит, он путешествует.

Может быть, это путешествие по родному краю, может быть, и зарубежное. Путешествия обогащают его, помогают работать. Нет, он не делает путевых зарисовок и набросков — в поездках оттачиваются образы, становятся шире и зрелее мысли. В поездке по южной Эстонии он как бы увидел свою республику с птичьего полета: мягкие холмы, перерезанные небыстрыми реками, светлые кроны лиственных деревьев и темные стрелы елей — пейзаж «Южная Эстония» получился чем-то похожим на народную песню: словно два голоса ведут раздумчивую, неторопливую мелодию — вверх-вниз, вверх-вниз...

Людей объединяет искусство, и Ээльма рисует венецианский мост Риальто, на котором можно встретить приезжих со всех концов света. Белый, немного тяжеловатый мост этот нависает над Большим каналом обилием крошечных лавочек, в которых продаются ювелирные изделия, сверкающая стеклянная мишура. Ээльма точно воссоздает форму моста и ниш-лавочек, но легкомыслие базара несовместимо для него с извечной красотой Венеции, и ниши Риальто в его интерпретации становятся хранилищами прославленных произведений искусства, которые находятся в разных городах и музеях, — каждое из них способствует объединению сердец и душ, в каждом из них выявляется гуманистическая сущность искусства.

Людей объединяет наука, стремление к знанию — так возникает связь между взлетом Икара и современным ракетодромом.

И наконец, сегодняшних людей доброй воли объединяет борьба за мир. «Новые мосты» называется лист, сделанный графиком в Словакии. Над устремленными линиями проложенных человеком дорог летят огромные, словно сквозь увеличительное стекло увиденные, белые голуби — не просто летят, но купаются, пляшут в солнечных лучах. Округлые очертания крыльев, перечеркивающие прямые линии железобетонных конструкций, создают впечатление разомкнутого круга и рождают образ светлого, поэтического утра.

Ээльма делает не только станковую, но и книжную графику, иллюстрирует произведения эстонских классиков; особенно охотно он размышляет над прозой Тамсааре, сосредоточивая свое внимание на характерах центральных персонажей и узловых моментах повествования. Одно время он увлекался рисунками — они были всегда неожиданны по манере видения и чуть таинственны. Изображая сидящего в кресле человека, художник только отчасти прорисовывает фигуру, оставляя большую ее часть лишь намеченной легкими штрихами. «Этого достаточно, — уверяет он. — Ведь подобные рисунки лишь записи мыслей, а мысль надо записывать сразу, быстро». Наряду с большими станковыми листами у него есть целые блокноты, заполненные такими «записями».

Не все безусловно в его творчестве. На одной из таллинских выставок мелькнул лист, где был изображен разношенный башмак с тщательно прорисованными деталями; огромный, самодовлеющий, он занимал все пространственное поле и все внимание зрителя. Должен ли мастер тратить силы и время на подобные упражнения? Глубокомыслие в них чисто внешнее, а потому ложное.

К чести Ээльма, такие увлечения для него случайны и преходящи. Вновь и вновь он возвращается к излюбленной теме эстонской деревни, ибо неисчерпаемы богатства находимых там впечатлений и образных мотивов. В 1979 году график создает цикл очень красивых, строгих по композиции листов, среди которых «Дом», «Двор», «Мельница», «Сарай», «Ворота». В этих работах и своеобразное воспоминание о детстве, и осмысление этого детства взрослым человеком, и некий собирательный образ прошлого, и утверждение необходимых для настоящего дня традиций, утверждение мирной и счастливой трудовой жизни. Они подкупают своей простотой, немногословностью, связью с землей. Через детали — угол сруба, потолочные балки, птицу, свивающую гнездо над воротами, — зритель переносится в мир веками выверенной крестьянской жизни, чувствует ее обстоятельность и, более того, мудрость. Так в любовно построенном собственными руками доме ощущается не только характер строителя, но и закономерности деревенской жизни вообще. «В наше время в искусстве особенно важны философские идеи, оно должно помогать людям понимать мир, находить свое место в нем, — говорит Херальд Ээльма. — Лично же для меня очень важен национальный оттенок в искусстве, меня волнует судьба родного народа, его отношения с природой. Я уверен, что человек должен знать, откуда он пришел, свои традиции, свое прошлое. В этом знании он черпает силу для настоящего и будущего».

Мысль о том, что человек должен жить в целостном и гармоническом мире, что бытие его должно быть озарено стремлением к красоте и душевной ясности, свойственна не только Х. Ээльма,

но и Матти Варику. Но доказывает эту мысль каждый из художников по-своему. Ээльма награжден премией комсомола Эстонии за цикл графических листов, рассказывающих о трудовой молодежи Эстонии. Варик — за скульптурную композицию, посвященную войне во Вьетнаме. Ээльма утверждает то положительное, что есть и должно быть. Варик гневно протестует против того, чего быть не должно.

Название сожженной вьетнамской деревни Сонгми встало в памяти человеческой рядом с именами Лидице, Хатыни, Орадура. В композиции Матти Варика «Сонгми» шесть фигур — четверо взрослых и два ребенка. Они приговорены к гибели, отсчитаны последние минуты прощания с жизнью, огонь подступает. Поднятые к небу, трепещущие руки похожи на языки пламени. В ужасе жмутся к взрослым, вдруг переставшим быть защитой, малыши.

Скульптурная группа эта производит огромное впечатление. Она по-настоящему трагедийна, и зритель, глядящий на нее, не может чувствовать себя в стороне от того, что происходит в мире.

«Искусство не только удовольствие, но и душевная боль художника; без этого не было бы ни Гойи, ни Рембрандта. Искусство — это душа и совесть народа», — писала замечательный советский скульптор Вера Игнатьевна Мухина. Она мечтала об «агитационной скульптуре», остроэмоциональной, пропагандистски убедительной, которую можно возить из города в город, из страны в страну. Именно такой и получилась «Сонгми» — политически действенной, пропагандистски убедительной, остроэмоциональной: в ней нет ни одной детали, которая не подчеркивала бы общую идею произведения.

Впечатление, произведенное на меня «Сонгми», было так сильно, что я даже побаивалась встречи с другими работами Варика — не будут ли они слабее этой, не окажется ли художник «автором одной песни»? К счастью, время показало, что такой страх был необоснован. Созданные Матти Вариком памятники убеждают в широте и многосторонности его дарования Он делает монументальную и станковую скульптуру, мелкую пластику, портреты, обнаженную натуру, анималистические произведения. У его косуль тонкие ноги, длинные шеи, приподнятые головы, насторожившиеся уши, они будто выбежали на лесную поляну и прислушиваются: все ли спокойно, не грозит ли какая-нибудь опасность? Поставленная на открытом воздухе, скульптура эта органически включается в окружающее пространство, богат и мелодичен ритм линий, возникающий при ее обходе, — он помогает человеку сосредоточиться, ощутить тишину и красоту природы, погрузиться в нее.

Лирическим волнением исполнена композиция «Весна», изображающая сидящих рядом юношу и девушку. Очень соразмерная по пропорциям, она кажется воздушно-легкой. На прихотливом сближении и отдалении фигур, на ощущении свободы, которое дают просветы между ними, основано пластическое единство «Весны». На сходном принципе построена и декоративная группа «Сигнал»: мягкость и текучесть силуэтов фигур — они закутаны в необычные, свободно и непринужденно обвивающие их тела одежды — словно взрывается четкими, острыми очертаниями труб. Ярко-красный цвет скульптурной группы завершает цепь ассоциаций, невольно заставляя думать о вестниках далеких ми-

ров. Весь подвижный, волнистый контур композиции создает ощущение легкого, быстрого и неостановимого движения.

Из декоративных произведений Варика особенно хочется отметить скульптуру «Мое море и земля». Величавая мужская фигура соседствует с такой же величавой женской. Спокойные и уверенные в себе, они воспринимаются как вырастающие из земли могучие деревья; в складках их одежд, похожих на морские волны, находит надежное убежище ребенок. Все бытовое, случайное исчезает из сюжета и характеров — романтически идеализированные фигуры становятся символом самой жизни. В соотношении пластических объемов подчеркивается геометрическая слитность, лаконичность моделировки; стремясь расширить принятый в Эстонии скульптурный язык, Варик сочетает классически простые и строгие формы с особенностями современной парковой скульптуры, обогащая их орнаментальными народными мотивами. По-своему стремясь вернуть современного человека к утраченной им цельности, он хочет, чтобы его скульптуры обладали внутренней значительностью, заложенной не только в отношении художника к модели, но и в объективных качествах самого произведения. Не случайно его «Торс» становится олицетворением вечных сил природы. Варик не пытается достигнуть иллюзии живого тела или утвердить идеал античной красоты и тонкости пропорций. Вырезанный из цельного ствола, его «Торс» воплощает идею о бродящем соками, великолепном своей жизнеспособностью дереве. Укрупненные, утяжеленные, как бы переполненные материальной телесностью и силой формы утверждают ощущение монолитности мира.

Стремление осмыслить, синтезировать реальный мир сказывается и в портретах Варика: его притягивают те лица, в которых за простотой внешних черт он видит сложные силы, сформировавшие человеческий характер. Назову хотя бы «Мужской портрет»: немолодой и не слишком красивый мужчина покоряет своим спокойствием и раздумчивостью; затаенная духовная жизнь, моральная стойкость, пронесенная через трудные годы, делают этот образ глубоко человечным.

Вторая сторона творчества Варика — это монументальное искусство. Им исполнены памятник жертвам фашизма в Кингисеппе, памятник восстанию 1 декабря 1924 года в Таллине, грандиозный монументальный ансамбль на Маарьямяги близ Таллина. Недавно создан памятник В. И. Ленину для дружественной Финляндии.

Умение увидеть будущую скульптуру в окружении домов и улиц, сделать так, чтобы это окружение не подавляло монумент, но составляло с ним единый ансамбль, — сильная сторона творчества Варика. Впрочем, своим успехом он обязан еще и готовностью работать над проектом, не считая часов и дней. «Только если не боишься вновь считать свою работу черновиком, приходит удача», — говорит он.

Так работал он над памятником восстанию трудящихся Эстонии 1 декабря 1924 года, жестоко подавленному буржуазией. Замысел родился быстро, но воплощение его потребовало немало времени. Как сделать, чтобы в нем не было элемента случайности, чтобы формы его диктовались самой жизнью? Прежде всего встал вопрос о месте памятника. Решили воздвигнуть его на привокзальной площади — именно здесь развернулся один из самых ожесточенных боев: со всех концов города узкими улицами стекались на

площадь рабочие отряды и тут же вступали в сражение. Для того чтобы воссоздать ощущение многолюдья, тесноты и целеустремленности, Матти Варик и архитектор А. Мурдмаа установили на полированной гранитной плите семь гранитных, слегка наклоненных к центру пилонов. Напоминая по форме пирамиды и уже этим взывая к человеческой памяти, они одновременно организуют внутреннее пространство монумента: в узких промежутках между ними — динамичные скульптурные группы; люди отстаивают свою свободу, сражаются, падают, погибают, но не сдаются. Обобщенная лепка фигур позволяет скульптору добиться того, что они создают впечатление единой массы, олицетворяя весь трудовой народ Эстонии.

Самая большая работа Варика — огромный, торжественный, мемориальный ансамбль на Маарьямяги. Архитектурные и скульптурные элементы вступают здесь в сложное взаимодействие с природой: с одной стороны плато Маарьямяги замыкается высоким обрывом, с другой — гладью таллинского залива.

Дорога из отшлифованных гранитных плит ведет к игле обелиска. По ее сторонам — поросшие зеленой травой склоны холмов, амфитеатр каменных трибун. На Маарьямяги можно бродить в одиночестве, думая, вспоминая, размышляя; на Маарьямяги можно проводить многолюдные собрания и встречи. Каждый поворот дороги радует новым видом, новым ощущением — объемным, пространственным, эмоциональным. Архитектурная форма становится выразительной, образной; скульптурные детали помогают яркости звучания. Приведу лишь один пример. Две высокие сближенные стены могли бы казаться голыми и скучными, виднеющийся за ними лес — случайным, не связанным с замыслом пейзажем. Но скульптор помещает между этими стенами летящих птиц — и все сразу наполняется движением и смыслом: они летят из леса, из своего дома; огромные, ширококрылые, с трудом пробиваются они в узкой стремнине, воздух словно гудит от шума их крыльев; похожие одновременно и на языки пламени, и на реющие знамена, птицы рвутся вперед, навстречу солнцу.

Правда, порой, полагаясь на выразительность самого материала, Варик оказывается как бы в плену у него. В лежащей женской фигуре (парк скульптуры у Кадриорга) образ кажется удивительно вялым, лишенным внутреннего движения. Впрочем, не отдельные неудачи, а то лучшее, что скульптор сделал, определяет его лицо. В лучших его работах есть творческая концепция, единая система пластического мышления, особый строй художественного языка, который можно назвать и национально-самобытным, и современным, характерным для советского искусства на нынешнем этапе его развития. В них реальная жизненная правда и глубокое философское раскрытие темы.

Херальд Ээльма и Матти Варик эстонцы. Николай Кормашов, тоже лауреат комсомола Эстонии, — русский. Ээльма и Варик развивают традиции национального искусства, ищут новые дороги в границах этих традиций. Кормашов стремится к сочетанию традиций эстонского и русского искусства. Задача эта трудна, но в наше время такие попытки не только возможны, но и закономерны.

Уроженец деревни Владимирской области, Кормашов оканчивает Государственный художественный институт Эстонской ССР. Не порывая с родительским домом на Муромщине, обосновывается в Таллине. Попав в этот город почти по воле случая («Не отважился сдавать приемные экзамены в Ленинграде, боялся, что не пройду»), художник не может с ним расстаться. С таллинских пейзажей и началась его творческая биография: Кормашов воссоздавал геометрически четкие кварталы новостроек, залитые бетоном строительные площадки, виды старого Таллина — романтизировал заснеженные старинные улочки, рвущиеся к небу шпили, могучие формы крепостных башен и стен.

Вслед за пейзажами появились его первые сюжетные картины — «Над мирной землей», «Соль земли», «Рыбаки». Картины эти отличались публицистичностью и суровой романтикой восприятия действительности, конкретные жизненные сцены подавались как явления, таящие в себе жизнеутверждающий, обобщающий смысл, в характерах персонажей подчеркивались сила воли, энергия, монументальность.

«Соль земли» и триптих «Молодые строители» стали своеобразными вехами в его искусстве. В первом полотне он словно открывал для себя могучую силу человеческой энергии и воли, во втором — оптимизм современной действительности, ее устремленность в будущее. Если раньше лицо времени определяли для него не столько люди, сколько железобетонные конструкции, то молодые строители уже не представляются ему подавленными техникой, они сами управляют ею, подчиняют ее себе.

В эти годы Кормашов работает в русле таллинской живописной школы — стремится к четкости композиционных решений и острой характерности образов, прибегает порой к сознательной утрировке форм, пользуется сдержанной черно-серой гаммой, изредка оживляемой коричнево-красноватыми тонами. Но постепенно в его живописи появляются большие, принципиальные изменения, продиктованные его привязанностью к России и к русскому искусству. В поездках в деревню, в Псковскую область, он пишет памятники древнерусского зодчества, льняные поля и крестьянские избы. Синева небес спорит в этих полотнах с зеленью лугов, с золотистым тоном тесовых срубов. Одновременно Кормашов пристально изучает древнерусскую живопись, вдумчиво анализирует иконопись. Не отдельным приемам, но художественному обобщению, синтезу, творческому использованию символики — вот чему учился он у мастеров Древней Руси.

Уверенный, что художнику необходимо думать прежде всего о важном, значительном и говорить об этом неторопливо, достойно, торжественно, Кормашов стремится к созданию глубоких, метафорически емких, синтетических образов. Взятые из обыденной жизни события он не конкретизирует, но наполняет общезначимым смыслом; простых, встречающихся в действительности людей возвышает над уровнем будничной суеты, придает им черты величия.

Думать о важном, по мнению Кормашова, — это значит размышлять об общечеловеческих проблемах, поэтому он часто обращается к темам любви и материнства, войны и мира, нравственной стойкости и созидания, жизни и смерти. Важно не скрывать от себя и других трагических противоречий бытия, не бояться драматических положений. Синева небес, прочерченная

следом падающей звезды, резко контрастирует с тяжеловесными человеческими фигурами, исполненными в глухих коричнево-охристых тонах («Трапеза»); напряженный композиционный ритм силуэтов создает драматическое настроение — все в картине повествует о сложности и краткости человеческой жизни. Еще драматичнее по настроению триптих «Жертвам войн». Группы в отчаянии рыдающих невест и мужественно встречающих безутешное горе вдов окружают центральную часть триптиха: старуха мать склоняет колени перед чернеющим, словно рана, выжженным в доске углублением, которое олицетворяет погибшего сына. Обуглившееся пятно на горящем красном фоне кажется особенно трагичным и мертвенным в сопоставлении с белыми одеждами девушек, с окружающими светящимися полями.

В сложном сочетании эстонского и русского искусства — экспрессивности и лиризма, рациональности и одухотворенности — рождается стиль Кормашова. Всмотримся хотя бы в полотно «Моя Эстония». Подросток, шагающий по округлой сфере Земли, привлекает чистотой и романтической приподнятостью: вступая в жизнь, он доверчиво и радостно приветствует расстилающийся перед ним мир. «Это мой сын, — говорит художник. — Каким он был, таким и написал. Ничего не придумывал». Действительно, портретное сходство несомненно, но так же несомненно, что образ перерастает из конкретного в обобщенный, становится символом юности с ее мечтами и надеждами. Сферическая композиция, характерная для русской иконописи, позволяет еще более расширить символическое звучание картины: не по полю или лугу — по планете Земля идет подросток. Горизонт делит полотно на две половины — и Земля ощущается частью вселенной.

Не менее важен и колорит картины. Светлые, радостные краски утверждают высоту чувств, чистоту его порывов. Композиционный портрет становится утверждением стремления к идеалу, и это, пожалуй, главное, подсказанное Кормашову искусством мастеров Древней Руси. Даже пейзажи Кормашова далеки от непосредственности — скорее это «идеальные пейзажи», экстракт, полученный путем художественного обобщения конкретных мотивов и наблюдений. Даже натюрморты его являются раздумьями о поэтических свойствах вещей, об их взаимоотношениях с людьми, с человеком. Искусство для него начинается с мысли, как правило, социально-философской, потом она наполняется чувствами, определяющими атмосферу произведения, достаточно вспомнить хотя бы «Демонстрацию из детства» — освещающий всю картину восторг детского восприятия советских праздников. Но при всей своей страстности Кормашов в выражении чувств строг и сдержан — он умеет подчинить лирику философии, взволнованность — логике. Он много работает над композицией, цветом, но все это для него только средства выразительности. «Мастерство, форма, если за ними ничего не кроется, ничего не могут дать», — уверяет он. Форма лишь способ выявить глубину содержания картины, утвердить ее программность, концепцию. Не случайно одно из его полотен так и называется «Концепция»: юноша и девушка под большим деревом среди беспредельного мира олицетворяют собой извечный ход жизни, ее неостановимое развитие. Повторяющая древнюю легенду, картина эта очень современна, но современность ее для художника

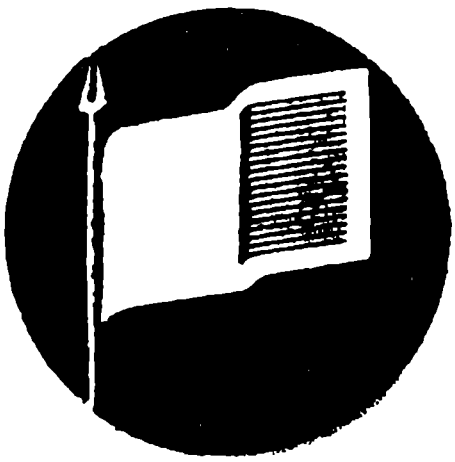
не в костюмах и деталях, а в той напряженности и силе, с которой сегодня звучат извечные проблемы круговорота бытия, стремления человека к свету и познанию, борьбы доброго и злого начал. Для Кормашова неоспоримо, что искусство не только дает эстетическое наслаждение, но что оно в первую очередь воспитывает человеческую личность.

Работы Кормашова рассчитаны не на мгновенное восприятие, но на активную работу зрительской мысли. Следовать за ним по этому пути трудно, но радостно: путь ведет от холодноватой рассудочности к поискам высоких эстетических и нравственных идеалов, к постижению закономерностей окружающего нас мира.

По мировосприятию, тематике, стилю работы Херальда Ээльма, Матти Варика и Николая Кормашова очень различны. И все-таки, когда внимательно размышляешь об их творчестве, видишь, что сходства в них гораздо больше. Различие — в выборе воссоздаваемых явлений, в подходе к ним, в средствах изобразительности и выразительности. В частностях. Сходство же — в основном, главном, в том, без чего немыслима творческая работа: это отношение к искусству, понимание его задач, убежденность в его социальной сущности. Что бы ни изображали эти художники, они всегда трактуют изображаемое с принципиальных, философских, гуманистических позиций.

Что входит для них в понятие искусства? Точное наблюдение жизненных явлений; умение осмыслить их в пространстве и во времени; углубленное внимание к художественно-эстетическим традициям; способность к высокому эмоциональному строю мышления; к постановке серьезных общественных проблем, к духовной насыщенности и содержательности произведений. Именно эти качества близки и дороги нашей эпохе, умеющей понять и стремление к совершенству, и глубину человеческой мысли, и силу творческих чувств.

●



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЧАЛМАЕВ

ЗОВ ВЕРШИН

О МОЛОДЫХ ГЕРОЯХ ПЕТРА ПРОСКУРИНА

...Есть странный вид беспокойства, возникающего порой у молодых героев П. Проскурина при полном благополучии, даже победоносном их шествии к очевидным победам, к бесспорным успехам. Беспокойство это не сразу становится заметным. В час явного торжества практицизма, в плену бытового благополучия эти герои вдруг оказываются способными тосковать по чему-то далекому, даже недосягаемому. В атмосфере псевдоинтеллектуального словоговорения, среди «бархатной» риторики, гибкой учтивости, которые, кажется, становятся престижным стандартом в глазах мещан, многие из героев писателя жаждут вдруг неформальной, наивно-прямой доброты, открытости. А от всего чересчур ясного, готовенького и расшифрованного, не требующего труда души при усвоении они бегут к чему-то, как им кажется, таинственному.

Так, художник Ростовцев в романе «Имя твое» не хочет механически переносить на полотно чересчур наглядные сюжеты и композиции жизни, только то, что видит «око» физическое... Его мучит видение, впрочем, страстно вызываемое

им же самим: «Предчувствие того, что к нему должно прийти что-то великое, вечное, не оставляет его... По самой середине реки в челне стремится к нему Гонец, и Ростовцев сразу понял, что это Гонец... Сноп лучей накрыл челн, и борода Гонца вспыхнула тусклым серебром, засияли кровли храмов города-крепости, и во всю мощь открылись солнечные пространства».

Конечно, это почти сновидение, навеянное тревожной по колориту картиной Н. К. Рериха «Гонец», (Род восстал на род)», любимого художника проскуринского героя. Но и другие герои повестей и романов П. Проскурина часто ждут своего «гонца», который поможет им раздвинуть то и дело сдвигающиеся берега обыденности, поможет избежать раннего постарения души. И вот на вершине зрелости иные из героев Проскурина вдруг ощущают всю меру ограниченности своего знания, свою слабость в роли повелителя пробужденных ими же сил природы. Как пишет современный поэт:

Дыхание весенних гроз,
бушуя, пролетает мимо,
но тайна совести и звезд,
струящих свет на новый мост,
на древний городской погост,
мучительна, непостижима.

Во многих повестях, рассказах писателя герои предпринимают «путешествия» внутрь своей души. Возникают остродраматические поиски таких начал, «задатков» души, над которыми не властны никакие случайности, «пестрые» события узкобытовой жизни. Чтобы ощущать в себе настоящее, многим из героев Петра Проскурина надо то и дело искать иные физические и духовные «возбудители». В частности, искать путь за тридевять земель, дорогу, неожиданные встречи, «глотать» впечатления, способные в известной мере разрушить отлаженный ранее уклад жизни.

Сам писатель в статье «Размышления в пути» сказал о таких героях, о натурах, находящихся в беспрерывном духовном развитии: «Для художника жизнь всегда полна противоречий и тайны, и, пытаясь постигнуть ее, он становится как бы в центре самых жгучих интересов человека. Ибо человек начался тогда, когда над ним в какой-то момент кончилась на время власть хлеба, власть голода, и он получил возможность свободно взглянуть в самого себя».

Писатель не драматизирует эти мятежные душевные состояния человека в мире, обновляемом множеством явлений. И в частности научно-техническим прогрессом. Не следует делать этого и исследователям, хотя анализ произведений Петра Проскурина, в которых эти состояния, всякие дисгармоничные душевные движения, «диссонансы» души, возникают, анализ прежде всего повестей и рассказов 70-х годов крайне поучителен, актуален и для будущего. Актуален и в широком социально-психологическом плане, и в более узком — педагогическом. Педагоги наших дней, как отмечала «Правда», то и дело сталкиваются с проблемой так называемой «утечки одаренности»: «Если фантазия, любопытство... удаляются как якобы ненужные, в итоге может вырасти сухой и черствый человек, «думающая машина» без души

и сердца. Весьма вероятно, что у него окажутся слабо выраженными и творческие способности... происходит своего рода утечка ранней детской одаренности. Малыш, блиставший живостью ума, свежестью восприятия, довольно часто вырастает в весьма заурядного взрослого. И дело здесь не в недостатке каких-то задатков»...

Молодой герой, преодолевший власть вещей, победивший силу обыденности, проходит у Петра Проскурина через многие романы, повести и рассказы.

Ленька Лукашов («В дождь»), обычный тракторист из среднерусского села, живущий, как говорят, «справно», способный исчислить все будущие достижения и прибавки, провидеть восхождение к очередной ступени житейского благополучия, вдруг словно «ломается», начинает сбиваться. Писатель в свойственной ему манере, чаще всего в форме несобственно-прямой речи, запечатлевает сумбур этих полупроявленных настроений ненастного дня.

«...Жить можно, жена прилично зарабатывает на телятнике, свое вон хозяйство — два кабана, гуси, куры, корову опять прошлым годом купили, а все нет-нет да и шевельнется в груди тоска, как вот теперь: к чему все? И пройдет жизнь в работе да в самогоне, то откармливай кабана, то коли его да ешь...»

Отчего сжимается сердце в тоске среди этой отлаженной и полумеханической уже жизни? Не томит ли героя смутная мысль, что, может быть, он непременно жертвует чем-то важным? Ленька Лукашов вдруг взглянул на себя со стороны и увидел конечный смысл своих «успехов». «Свеча» его сознания, горевшая спокойно, пусть неярко, стала задуваться каким-то сквознячком сомнений. Неотразимые примеры иначе проживаемой жизни сильнее навеянных его ближайшей средой эталонов успеха. И вот он уже не удовлетворен самим собой, обнаруживает, что в нем возникают желания, не вытекающие из его распланированного бытия. И, не боясь необычности своих поступков, Лукашов помышляет о поездке в новые края... А пока бродит ночами у окна некой, городской еще по всему кругу интересов агрономши. Кто она ему? Да просто новый человеческий тип. И ее «окно» — окно в незнакомую, необычную жизнь!

Никакого особого сдвига еще не произошло. Но важно отметить, что все значительное, интересное, возвышенное прочно связано для Лукашова на этом этапе с необычностью, непохожестью нового для него человека. И когда он видит, как ту же агрономшу, похожую на школьницу, обнимает парень в куртке и «агрономша повисла у него на шее, болтая ногами и смеясь», его реакция беспощадна и груба. Он обманут в своем поклонении выдуманной красоте, его «неспелый» идеал померк. Ну чем же отличается она от всех известных ему женщин? Обычная нежность, обычное озорство — нет, не это хотел он увидеть.

Есть еще нечто традиционно-патриархальное, «детское» в надежде того же Лукашова, как и его соседа Егорова, сманивающего героя на Сахалин, где даже «киты плавают и хвостами машут», обрести нечто новое там. Счастье, идеальная жизнь — где-то за синими морями, «где нас нет», «за горами, за долами»... И оно, это счастье, может быть осознано и «потреблено», если будет «нарядным», небудничным.

Все еще может произойти с такими героями. Иной покипятит-

ся, поищет «изящной» жизни в городе, где-нибудь на пепыльной работе в сфере обслуживания и явит собой разновидность агрессивного мещанина, «окающего» по-деревенски. Но при последовательном самоконтроле, при глубоком стремлении к подлинной гражданской активности может родиться яркий человеческий характер, светлая душа, быстро изживающая временный наряд псевдозначительной жизни, проходящая без особого очарования сквозь всякие «эстрадно-опереточные» предбанники культуры.

И свершаются эти превращения быстро. Бегом, все бегом... Старухи, героини повести «В старых ракитах», говорят и о таких, как Лукашов, и о других, постигающих все и оценивающих многое на бегу:

«— Какая-то не такая нынче жизнь пошла, какая-то запойная, — вздохнула бабка Пелагея.

— Во, во! — с готовностью поддержала ее бабка Анисиха. — Сеют бегом! Убирают бегом! Налетят воронами, все перекопают! Глядишь, нету никого, нет ничего! Господи, прости, антихристы!

— Расхныкались, расхныкались, — не удержалась бабка Чумазая. — В один бок всего сразу не кинешь! «Раньше, раньше!» А что раньше? А теперь пенсию каждый месяц тебе домой».

«Мнений» и «сомнений», обид и надежд в произведениях Петра Проскурина звучит много. Голоса «Руси домашней», голоса улицы, вагонные диалоги он слышит очень ясно. И не спешит с выводами. Не оставляет сразу героев, находящихся на промежуточном уровне, у истоков движения к новым, более утонченным, менее «косным» формам бытия. Наоборот, его внимание к судьбам таких, как Лукашов, обостряется тем, что они существуют уже не только в соседстве, скажем, с матерью, родителями. Соседство и полемика с матерью не самое страшное испытание для их незрелых устремлений к «нездешней» красоте. Что она за философ? Она не хочет никуда ехать из родной деревни, и в ее доводах много искреннего благородства:

«— Не-ет, господь с ним, а я уж здесь останусь, вся родня в своей земле лежит, а я повезу свои кости на какой-то Сахалин? Да пусть он там провалится, этот твой хвост с китой».

Гораздо труднее спорить и Лукашову, и его жене Вере, готовой тоже искать лучшей — без труда в огороде, в хлеву, без «возни» с коровой, курами и прочей живностью — доли на Сахалине, в тайге, спорить с апологетами иных, более сложных, не сразу распознаваемых в своей фальшивой сущности «ценностей». Ведь, уходя от узких интересов, так легко впасть в поклонение другой, псевдоширокой, мнимовозвышенной жизни. Трудно спорить с расчетливыми и бездушными эгоистами, возводящими в принцип потребление житейских удобств на ультрасовременном уровне. А он, этот соблазнительный уровень, оказывается видоизмененным вариантом старого «счастья» с самозабвением наживы.

В рассказе «Утренние росы» писатель продолжает исследование характера, освободившегося в известной мере от власти быта, в более сложных условиях. Лену Пересыпкину, героиню рассказа, мы видим в пути на восток. Не на Сахалин она едет, правда, а всего лишь во Владивосток. И ненадолго: она — официантка вагона-ресторана, ритм ее жизни определяет путь «туда и назад», на восток — на запад. Но для писателя важен,

собственно, один рейс — из Москвы, рейс, связанный с разрывом, очень важным для нее, с бесом-искусителем наивного сознания, неким инженером Львом Огнивцевым.

Кто он, этот герой, отнюдь не случайно наделенный громкой «театральной» фамилией? Он, цинично издевающийся над слабостью пожилой официантки Настасьи Яковлевны, привыкшей брать грошовые чаевые, «разрешающий» себе — за подачку в двадцать рублей — покуражиться в ресторане над этой жалкой и обездоленной женщиной, в сущности, здесь ведет спор с Леной, бежавшей от него. Он унижает чаевыми не Настасью. Зная, что Лена узнает обо всем случившемся в вагоне-ресторане, он унижает именно ее. За розовый якобы идеализм, за «нелепое» стремление жить во имя других, за ее незнание «власти денег»...

«И ей (Лене. — *В. Ч.)* припомнился один разговор, когда она, потеряв терпение, сказала, что с ним скучно, что она задыхается рядом от этой сытой пищи и что в мире словно никогда не было революций.

— Все было, — ответил он, лежа на тахте и пристально изучая свои ногти, — и есть. А я вот такой, я сам себя люблю больше, чем целину, новостройки и прочее...

— Мы всю жизнь так и будем? Одни, неизвестно зачем и никому не нужные, только себе».

Все попытки героини «перестроить» его, «опровергнуть», опираясь на единственную опору в борьбе — обезоруживающую в старые времена любой эгоизм любовь, — не имели успеха. Героиня не находит еще доводов в споре с этим открытым цинизмом. И вот теперь она уехала от него, от всей его системы фальшивых, «освященных» лишь эгоизмом ценностей... Но Огнивцев погнался за ней, ощутив внезапно пустоту жизни, одиночество. Ему невыносима мысль о поражении. Финал рассказа — Левка Огнивцев спрыгнул на ходу с поезда, доказывая Лене мужество, дерзновенность, «антиэгоизм» своей натуры. В этом финале чувствуется нечто недоговоренное, писатель оставляет простор для домысливания.

Рассказы и повести Петра Проскурина 70-х годов вновь, как и рассказы первых книг «Цена хлеба» и «Таежная песня», взаимосвязаны, они продолжают дополнять друг друга.

Сибирь, Сахалин, Владивосток... Манящие точки на карте для многих душ, стесненных в чем-то в среде, живущей чересчур узкими интересами. В повестях «Тихий-тихий звон» и «Тайга» герои уже не стремятся сюда, за тридевять земель, даже не едут уже... Они там живут. И что же? Схватки, споры о смысле жизни, об истинных моральных ценностях и мнимых в этих произведениях еще более остры.

Современный сибирский или дальневосточный «малый» город, поселок при руднике, леспромхозе — это «площадка» для многих конфликтов, сопутствующих росту, становлению личности. Здесь ничего заранее не запасено многими. Каждый такой город рождает сейчас массу социологических, психологических проблем. Здесь очень многими молодыми рабочими, впервые ступившими в котлован стройки или на буровую площадку, и инженерами, оставившими студенческую скамью, и вчерашними солдатами обретаются главные истины жизни, обретаются основательно, не в «эскизном» исполнении. Фронт исканий охватывает все сферы. Почему? Да потому, что ничего, даже той ста-

ромодной мудрости, которой делится с Ленькой Лукашовым мать («Зажрались теперешние-то! Ты бы пожил, как мы жили, вот что тебе надо. А теперь вам и электричество, прямо дома кино стоит»...), никто заранее не припас. А мудрость пастуха Ильки из рассказа «Тяга земли», несколько тяжеловесно и назидательно изложенная в поучение молодому председателю Шатилову? Она наивна, смешновата была на родине, где таких стариков еще много. Но здесь, в шумных общежитиях, в разнородных коллективах? В ней слышится нечто очень важное всем, но не все еще могут расслышать ее:

«— Земля, она свою тягу имеет, ты ее разными выкрутасами да «елочками»-палочками не обманешь, председатель.

— Это какую же тягу? — насмешливо улыбается Шатилов.

— А такую. Имеет — и все, и ты, председатель, не скалься зря. Тебя эта тяга еще закрутит, подожди. Или ты человеком станешь на земле, или она тебя от себя отшвырнет подальше».

Увы, в молодости человек часто слышит только самого себя, рвется излагать свои, даже скромные открытия, несущие прелесть новизны. И в проскуринских повестях «Тихий-тихий звон» и «Тайга» мы как раз видим подобное. Каждый здесь, как на общий стол, «выкладывает» свои запасы жизненно-философских формул, свои нравственные ресурсы. И не просто выкладывает, как «домашний харч» в общий котел. Здесь порой кулаками приходится завоевывать уважение к твоему мнению, твоей правде! Убеждения твои не должны здесь «краснеть» за твои дела.

Сергей Тюрин, герой повести «Тихий-тихий звон», работает в артели сплавщиков, рядом с фронтовиком Самородовым, рядом с Козиным, человеком желчным, с неудовлетворенным честолюбием. Рядом с ними трудится сирота Венька Чижиков, поддерживающий на свои заработки младших сестер и братьев. Само пребывание в рабочей среде Тюрин вначале эгоистически рассматривает как некое временное, переходное состояние на пути к более «полноценному», «настоящему» существованию, которое для него якобы начнется после сплавного сезона и щедрого расчета. Купленный «на свои» домик, хорошая невеста, учеба... Из зыбких, неопределенных картин, сформированных наставлениями матери, старшины в армии и других, складывается это заманчивое «прекрасное далеко». И все для Тюрина здесь, на сплаве, как бы ненастоящее, он ко всему еще невольно подделывается. и это тонко подмечают окружающие. Не пьет сам, но дает деньги на общий спирт... и т. д.

Как тонко иронизирует Петр Проскурин над чисто эмпирическим толкованием понятия «народ»! Тюрин подделывается к чему-то примитивному, простенькому, грубоватому. Ему кажется, что войти «в народ» легко — стоит только начать пить, сквернословить, «рычать» на сплавское начальство...

Тюрин боится утратить «личность», самобытность. Не утвердив себя мужеством, духовной силой, трудовым опытом, как Самородов, он пытается «утвердить» себя в народе подделкой, притворством: то рьяно подражает внешней грубоватости людей, то вдруг наивно «самоутверждает» себя, уклоняясь от побочных заработков — работы по снятию с мели баржи.

И в этом своем неопределенном состоянии Тюрин, как Лена в «Утренних росах», становится объектом злой иронии Козина. Козин, человек промотавший жизнь, мстит людям за свои неуда-

чи. Он мелочно наслаждается своим «тиранством» над здоровяком Васькой Мостовцом, а на Тюрина изливает желчную неудовлетворенность, подправленную изрядной долей демагогии:

«Стоило хватать друг друга за горло, делать революцию, сидеть в тюрьмах, идти на каторгу? Стоило, а? Чтобы выросли вот такие амебы, инфузории, — он указывает на меня пальцем... — ха-ха-ха! Да у меня десять лет назад таких, как ты, гавриков под рукой две с лишним тысячи было, ты мне не в диковину. А личность где, где личность, я вас спрашиваю? Куда вы личность упрятали? Вот я о чем! — восклицает он истерически, с собачьими подвсхлипываниями, с крупным нервным дрожанием плеч, и во всем этом я чувствую что-то фальшивое, ненастоящее».

Козин пробует отделить Тюрина от Самородова. Уловив элементы индивидуализма в парне, он провоцирует его, то льстя Самородову («Такие нас с тобою еще проглотят и не облизнутся. Они за благородные порывы, как мы с тобой... горбить не будут»), то с презрением бросает тому же Самородову и бригаде, как бы льстя Тюрину: «На таких, как ты, только и ехать... Вы не заслужили даже очищенный древесный спирт, скоты!»

Тюрин, хоть и ненавидит Козина как демагога, циника, все же до поры до времени бессилен перед ним: он и сам ведь собирается сбежать отсюда! И от этого его метания, сумятица чувств. Он то лезет в драку с Козиным, то вглядывается в Самородова, ловя себя на желании заслужить его похвалу. Приближение кризиса, перелома ощущается по всему. Ведь нельзя долго жить в нейтральной нравственной зоне. И этот перелом случился в штормовую ночь, когда на реке среди залома, отчасти по вине Козина, погиб Венька Чижиков, его ровесник, товарищ по артели.

Смятение, охватившее Тюрина, заставляет его, не замечая уже иронии Козина, начать пересмотр детских иллюзий («...хорошо быть маленьким, когда стрижи в небе и рядом руки матери — руки, защищающие от всех невзгод мира, мягкие, теплые, всемогущие руки»). Эти миражи улетают, и только одна подробность остается в сознании — шрам на руке матери и ссадина на ладони мертвого Веньки Чижикова. Становление личности — это всегда цепочки реакций на добро и зло, мысль о себе и общем, поиски новых связей с миром.

В душе героя зазвучал «тихий-тихий звон», как звон из глубокого колодца. В нем словно возникло ощущение подлинной народной жизни, где бы она ни протекала, в городе или на сплаве. Герой понял, что в этом спокойном, внешне однообразном и тяжком труде Самородова есть смысл, который именуется зарождением, развитием, приумножением жизни, в конечном счете творчеством, Тюрин видит нерестилище кеты, сокровенное место, где также зарождается жизнь. и впервые обнаруживает там не хаос и бессмысленность, а простой и сложный порядок, видит стихийное самопожертвование и исполнение долга. Нет, это не козинское понимание жизни: «сгорание, обмен — мы амебы».

«Что и как бы я ни подумал об этих рыбах, им наплевать, они выполнили свое, раз и навсегда им заказаны свои пути, и они никогда не свернут с них, сколько угодно можно иронизировать, ничто не изменится в этой не зависимой ни от кого жизни. Наконец, я отрываю глаза от воды и как-то сразу понимаю,

что никуда не уйду от этой реки с таким звучным названием Игрень, не смогу уйти» — этим наивным, но чистым нравственным обязательством, данным самому себе, начинает утро своей зрелости герой Петра Проскурина.

Этот вывод, освещающий жизнь молодого героя, — словно искра от высокого костра. Именно теперь, когда он не будет бояться среды, ему нет необходимости подделываться под нее, сосредоточиваться душевно на этой мимикрии. Он будет даже спорить с другими, входить в сложные отношения с людьми, созидая себя и свою судьбу, но это будет уже жизнь, а не скольжение по ней.

Повести Петра Проскурина, созданные в 70-е годы на «северном» или, вернее, сибирском и дальневосточном материале, опровергают представление, будто в условиях Севера, Дальнего Востока действует «голый человек на голой земле».

Когда-то Джек Лондон сказал об одном из своих влечений: «Фундамент общественного здания — вот что меня привлекает. Тут я хочу работать, налегать на рычаг...» («Что значит для меня жизнь»). Нравственный фундамент личности интересует Петра Проскурина во всех спорах, стычках героев. Но он, этот фундамент, «нулевой цикл», здесь часто не виден. Современный художник испытывает особые трудности, обращаясь ко множеству героев, ведущих напряженную борьбу в суровых условиях Севера, на стыке двух стихий: еще не освоенной, не обжитой природы и «второй» природы, в виде могучих машин, агрегатов, средств связи, созданных всецело человеком... Патриархальных ночевок у костра, бесед с дедом-таежником, золотоискателем или охотником, пастухом, раскрывавшим секреты промысла и нравы зверей, сейчас стало меньше. И значение их, таких исповедей, на уровне наивного сознания, уменьшилось. Петр Палиевский справедливо отметил, что «в наши дни поверхность, сквозь которую обязан писатель пройти, стала прочнее», что «чувство существа» в современнике ушло вглубь. «Мы говорили про прочность ее (жизни. — *В. Ч.)* поверхностей. Но если уж они вскрываются, то обнажают на изломе мир, превосходящий своей насыщенностью и сосредоточением любые предположения. Двадцатый век принес катастрофическое напряжение и полярное сгущение человеческих свойств», — говорит он в книге «Пути реализма».

В повести «Тайга» Петр Проскурин исследует необычный конфликт двух новоявленных северян-пришельцев, доходящий в кульминационный момент борьбы чуть ли не до прямого поединка, до схватки.

Что же произошло в малоизвестном поселке?

«Все началось с того, что в диких, малоисследованных Медвежьих сопках исчез почтовый самолет с трехмесячной зарплатой рабочих леспромхозов, звероводческих совхозов... и весть эта быстро распространилась по всей округе на сотни километров... Горный массив, захвативший сотни безлюдных квадратных километров, дикие неприступные скалистые ущелья, распадки и склоны; тайга, заваленная вековым буреломом, метровыми снегами удивительной голубоватой чистоты, бездонные провалы, скрытые под той же слепящей и, казалось бы, совершенной белизной...». Писатель, как опытный постановщик весьма драматичного спектакля, выбирает сценическую площадку, декорации

и... актеров. Большие деньги, великие опасности, нешуточные страсти... Кто же эти действующие лица, которые, повинуясь заложенному в каждом убеждению, «разыграли» предложенную стечением обстоятельств драму?

Их двое... Молодой рабочий Иван Рогачев, осознающий свою жизнь, труд, радости и заботы как полноценное, человечески значительное бытие, сталкивается в глухих таежных местах с бухгалтером Горяевым, в котором индивидуализм, жажда самоустройства получили самое крайнее, резкое выражение. Этот герой хотел бы даже узаконить эгоизм и безнравственное самовозвеличение. Известие об упавшем в тайге самолете «с зарплатой», большой суммой «ничьих» денег всколыхнуло в нем хищника, «микронаполеончика»... И, найдя самолет, набив рюкзак деньгами, он уже по-волчьи хищно озирается, защищая добычу. Он готов всадить в Рогачева, идущего по его следу, заряд... Даже когда Рогачев, искренне удивляющийся этой незнакомой ему рваческой силе, бессовестности (Горяев даже не похоронил погибших летчиков!), спас затем этого новоявленного хищника из ледового плена, то и тогда не раскаяние, а активную проповедь своих «идеалов» слышит он:

«— Погоди, Рогачев, успокойся. Не псих, на учете не состою, и ниоткуда не сбежал, — остановил его Горяев с возбуждением, у него все росло желание переломить сидящего рядом, пусть совершенно чужого и ненужного ему человека. — Ты послушай, это нам только внушили, что все вершины доступны, что жизнь как линейка... Как встал на дорожку — и на другом конце свои почетные похороны видишь с оркестром, речами и орденами на подушках. Собачья чушь это, Рогачев, в жизни не так...»

Рогачев, предусмотрительно вынувший затвор из винтовки Горяева и уходящий прочь, знает, «как» хотел бы, «как» уже пробовал «пробиться» вверх этот индивидуалист... Он знает конечный смысл этой индивидуалистической философии и поэтому оставляет его наедине с ней, с темной злобой на мир. Злоба Горяева на мир, на тишину и покой, на «косность» добродушного Рогачева так велики, что Горяева мучит даже «подавляющая мощь» каменного мира природы. Мучит его даже то, что Рогачев не стал ни отнимать, ни тем более делить деньги, а великодушно и с презрением оставил его с этим сокровищем. Рогачев отвергает ту «модель» мира, где всяк за себя. Он выглядит продолжателем дел, духовным собратом других проскуринских героев — и Савичева, и Тюрина, и Дмитрия Полякова... Это равнодушие и обесценило «успех» Горяева. «Ты, может, повыше, чем в генералы, — говорит Рогачев Горяеву, — метишь, гляди, корень твой не выдержит, неглубоко торчит».

Внезапно вспыхнувший поединок двух мировоззрений вновь оборван, «не досказан» до финала. Писатель и не стремился завершить повесть утешительным назиданием. Проскурин вообще часто отстраняет героев от решения на уровне житейской морали. И в романе «Имя твое» Захар Дерюгин в тот момент, когда много лет спустя после войны к нему явился на исповедь бывший полицай Макашин, всего лишь величественно поспорил с ним и... отпустил. Сгинешь, мол, сам и от суда жизни не уйдешь! Своеобразный протест в отношении подсказок здравого смысла — одно из средств писателя, не всегда, правда убедительного в ходе повествования. Но у Проскурина, помимо био-

графии героя или конкретно-исторических событий, есть всегда более сложные нравственно-философские характеристики личности, звучат приговоры, более суровые, нежели юридические, выносимые в суде.

Порок сокрушен, но поединок коллективизма с силами, словно стремящимися «ампутировать» душу — источник всех идеальных, прекрасных поступков, помыслов, продолжается. Писатель словно предупреждает, что перспектива бездушного, механического существования еще не отпугивает очень многих. И новые схватки с участием иных героев вспыхнут перед духовным взором всех, кто озабочен сохранением человечности в человеке.

Повесть «Шестая ночь», рассказ «Вечерняя заря» и особенно повесть «В старых ракитах» (1980) свидетельствуют, что вопрос о «правых» и «виновных» в остродраматических спорах, поединках, решенный в «Тайге» с полнейшей наглядностью, стал обретать иное звучание, далекое от схематизма. Если Рогачев и Горяев («Тайга»), Тюрин и Козин («Тихий-тихий звон») попросту друг друга отрицают, они почти несовместимы — после выяснения их позиций — на одной площадке, в одной среде обитания, то герои новых повестей находятся в более сложной взаимосвязи. Эти герои словно скованы чем-то надличным, им как будто все предсказано наперед. И удел их очень долгое совместное сосуществование, чередование периодов взаимных притяжений и отталкиваний. И степень правоты одних героев и «виновности» других очень долго остается неясной.

В рассказе «Вечерняя заря» писатель знакомит читателя с героем, который стал воплощением некой коллективной совести павших воинов, сверхчуткой совести земли... Во всяком случае, этот герой, отставной полковник, Николай Матвеевич, живущий в избушке, в глуши лесов, у безвестной могилы, способен к неожиданным, каким-то необычным по силе жизнеощущениям, обостренному осознанию космического пространства.

Если поэт Н. Рубцов сказал как-то:

В комнате моей светло —
Это от ночной звезды, —

то герой Проскурина свет звезд, запах звезд ощущает с редкой остротой, всей, если можно сказать, структурой души. Надо принять этот язык пейзажа, слегка «смирив» себя, — он не очень привычен: «Звезды в самом деле пахли, он только теперь понял, что такого, почти неуловимого запаха чистоты на земле не бывает, и он идет оттуда, с бесконечных высот, и начинает чувствоваться, лишь когда земная жизнь затихает и все краски и запахи слабнут».

Столь же чуток этот герой — бесспорно, какой-то внеличной, как будто доставшейся ему от всех не доживших до победы солдат чуткостью — и к человеческому благородству, и к подлости. Есть святыни, которые он защищает от прикосновения черствых душ, нечистых рук. Есть характеры, которые эту чистоту звезд внесли в жизнь. Когда к нему обращается за помощью Маша, молодая замужняя крестьянка, его воспитанница, она и не предполагает, что ее просьба и бытовой грех ее мужа вызовут столь

сложную реакцию в главном герое. В конечном счете — его смерть.

Она жалуется, в сущности, на заурядные грехи мужа:

«— Да что, в город ездит теперь. Там у него, говорят, учительница из молоденьких завелась... Шикует он, а с чего бы? Зарплату домой, правда, несет, ну, там немножечко, а так с чего бы? Позавчера опять костюм новый купили...»

Ситуация в чем-то очень знакомая. Дрязги быта, суета сует, борения в товарищеских судах, «страсти-мордасти» бытового измельчания, которые страшны, как всякие мелочи, одним: в них вязнешь, как в зыбком песке...

Что происходит в рассказе? Когда муж Маши Сапрунов просит отставного полковника не вмешиваться в его семейные дела, вспыхивает странный спор, объяснимый только особенностями характера главного героя и всей творческой манеры писателя. Он-то, автор, явно «дышит» за плечами героя:

«— Зачем вы приехали работать в село, Сапрунов? — спросил Николай Матвеевич неожиданно».

Вопрос, естественно, остался без ответа. Но, как обвал, ощущение неприязни, физического отвращения овладело Николаем Матвеевичем. И он, вероятно, только он один слышит невысказанный ответ, вернее, вопль Сапрунова. Тот защищает себя перед «динозавром праведности» на своем языке:

«— Да будьте вы прокляты, старый сыч! Почему я пошел в колхоз? Я и это вам скажу. Скажу, скажу! Да потому, что это первая ступенька к тому, что я называю жизнью».

Безмолвный спор, обмен не репликами, а как бы «потоками» невысказанных мыслей столь остер, накален, что воцаряется атмосфера боя; к Николаю Матвеевичу пришли ощущения штыковой атаки, ожили «искаженные ненавистью» лица врагов, и он упал с невыносимой болью в затылке. Маша осталась в его избушке, среди лесов... А Сапрунов? «И ему вдруг стало все противно: и эта избушка, и березовая роща, и эта дурацкая могила со странной травой...» Ведь современный эгоист не изолирован от мира и не выводит из себя одного цель, а затем и средства своей деятельности. Он ясно понимает, что достичь чего-то, замыкаясь или делаясь предельно «общительным», можно только с помощью общества. Но он бесконечно боится, что, опираясь на известную среду, учреждения и обычаи, в своем движении к ему одному дорогой цели он выйдет из этих соприкосновений измененным! Или изменится его цель! Сапрунов после беседы с Николаем Матвеевичем, после смерти его ощутил себя «увязшим» на этой первой ступеньке восхождения. Он, вероятнее всего, тоже уйдет отсюда, будет исторгнут той страшной силой, что вспыхнула в последний миг в Николае Матвеевиче. Сила эта — моральное завещание павших, их чистота, свет их душ, энергия судеб, энергия полета в будущее, прерванного когда-то в боях...

В повести «Шестая ночь» такой же спор, поединок о смысле жизни разделяет старого искусствоведа Юреньева и молодого инженера Кондратьева, жениха Наташи, дочери старого друга Юреньева Екатерины Ивановны. Оставить Наташу, «не ломать ей жизнь» — об этом просит Кондратьева Екатерина Ивановна. Этого разрыва, молчаливо присоединяясь к ней, желает и Юреньев. Странное, еще более нелепое вмешательство в судьбы еще

не родившейся семьи! Возмущен — и очень — Кондратьев, который не может понять: чем же он плох?.. Оправдываясь перед Екатериной Ивановной, он говорит, смешивая воедино и обиды на серенькую жизнь, и гордость своей заурядностью:

«— Я высидел институт, тянулся из последних сил, а свою звезду не зажег. Нет бы на заводе у отца остаться, продолжить «династию», вот мои настоящие горизонты, рабочая династия Кондратьевых, — звучит? В нас воспитали презрение к станку, к плугу и к земле, нам твердят о высотах, о подвигах, в нас еще с пеленок начинают подогревать честолюбие Папанины, Расковы, Терешковы, и — вот результат налицо: кто мы? Воинствующая серость, клерки с нимбом вокруг головы...»

Что искренне и что наигранно, напето с лучших голосов в этом монологе — не сразу поймешь! Вроде бы герой спорит с упрощением, с устаревшей «схемой», в которой все очевидно: зло исходит от явного злодея, добро — от добряка, долг каждого прост и ясен.

Но на самом деле все не так просто. Странная смесь ощущений, полуистин — гордости позой «обличителя», накатанными поворотами мысли и, в сущности, обидой вечного иждивенца, горделивого мещанина — «живет» в герое. Какой я умненький! А где же рукоплескания? Именно рядом с таким философствующим мещанином с деревянной душой, вероятнее всего, и завянет Наташа, унаследовавшая во многом традиции духовной культуры, высоту помыслов матери, Юреньева.

Впрочем, сама она об этом не знает. И в обиде на мать она пробует возвеличить своего избранника, обвиняет ее в черствости, в бесплодной погоне за журавлем в небе...

Как трудно дается взаимопонимание даже родственным душам! Поколеблена в чем-то после разговора с матерью Наташа, но и сама мать смотрит вдруг с печалью на прожитое. Есть ли в этом прошлом нечто значительное? Юреньев говорит Екатерине Ивановне: «У вас тó есть, чего у других днем с огнем не отыщешь. У вас какой-то свой секрет в жизни есть, рядом с вами и я себя спокойнее чувствую, а почему? А вот и не знаю...»

Моральная сила высших обязанностей человека вообще заключается не только в знании этих обязанностей, но и в их безмерности, Екатерина Ивановна, невольно, кропотливо и ненавязчиво вникая в интересы Наташи, Юреньева, создавала в течение всей жизни авторитет не себе, а множеству прекрасных понятий. Ее сердце было прибежищем, «гаванью» самых лучших нравственных решений. Черты духовной красоты, значение не осязаемой многими работы сердца, творящего, излучающего добро, презрение к самодовольству и эгоизму посредственных, ожесточившихся натур — все, что составляет подлинное нравственное богатство, есть в этой женщине. И потому она вносит свои коррективы в решения и выбор дочери. Дух высокой настороженности перед натиском мещанства, готового обесцветить любой порыв, убить ожидание чуда, передается сложными путями. Повести Петра Проскурина переносят читателя в мир, где действуют прекрасные люди, способные побеждать обстоятельства, жить не «вполнакала», а во всю мощь талантливых и самобытных натур. Повести его напоминают о том, что в жизни есть место высокому полету души и мечты о прекрасном, идеальном человеке не миф, не легенда утешителей.

Повесть «В старых ракитах» — самое глубокое проникновение писателя в одну из тайн, не исчезающих и при ярком свете просвещения, — тайну смерти и сложнейшей работы нравственной памяти человека.

Память... В современной поэзии и прозе, судя по поэмам Е. Исаева «Суд памяти» и «Даль памяти», роману Ю. Бондарева «Выбор», где нравственный поединок героев идет в особом пространстве воспоминаний и предположений, роману-эссе «Память» В. Чивилихина, как бы открыто сейчас это особое нравственно-философское пространство, необычная «даль». Даль истории, даль памяти... Явления и судьбы в этой дали не утрачивают конкретных очертаний, но писатель получает возможность рассматривать события и как очевидец, и как летописец, и с начала, и с конца. К тому же в памяти становятся не только равноправными мнения, голоса уцелевших и, скажем, погибших на фронте, но обретают огромное значение, так сказать, нереализованные, «вариантные», или альтернативные, возможности исторического процесса. Уцелел, например, герой «Выбора» Ю. Бондарева Илья Рамзин в сложном водовороте войны, плена, стал «итальянцем» Рамзеном, гостем на своей же Родине. Но в памяти матери, друзей, для Родины он «погиб»... И этот вариант его судьбы, эта альтернатива его испытаний («погиб») оказывается «убедительнее», сильнее, чем нынешний вариант («выжил»). Отбросить это мнение — «лучше бы ты погиб!» — герой в итоге споров, переносимых в даль памяти, не смог и тридцать лет спустя.

Герои Петра Проскурина и раньше, наблюдая смерть близких, дорогих им людей, словно ощущали: за миром очевидным, предметным, во всем подвластным им, как будто лежит, приоткрываясь чуть-чуть, обдавая «нездешней прохладой», некий неподвластный им мир, та «страна, где мир да благодать» (С. Есенин). Проникнуть в тот мир, откуда, по Гамлету, «не приносил никто вестей», расколдовать тайну смерти — это значит обрести большую уверенность в ненапрасности, целесообразности жизни. И герой повести Петра Проскурина «В старых ракитах» Василий Крайнов, полный сил, энергии, в момент смерти матери-крестьянки, жившей у него на городской квартире, лишь начинает догадываться о тайне, от которой он отмахивался до сих пор. Но это в финале.

А в начале... Смерть обычная, тихая, смягченная редкой покорностью старухи, верой в сына, который, конечно же, исполнит ее волю. Какую? Похоронит мать в Вырубках, выморочном селенье, где остались доживать четыре ее древние ровесницы. Обычная и ошеломляющая смерть.

«Василий подождал, почему-то не вставая с колен, но отодвигаясь все дальше и дальше от кровати. Он натолкнулся затылком на что-то теплое, это были руки жены...

— Что ты, Вась, ждали ведь? — приглушенно и как-то буднично сказала она и помогла ему встать...»

Собственно, ничто не предвещает чрезвычайных нравственных бурь, взыскательной переоценки важных сторон бытия героя. Он, в сущности, пока не готов к такому виду страдания. Для проскуринского героя с момента смерти матери многое, если не самое главное в самопонимании, только и началось. Прежде всего он осознал вдруг, что для него «теперь впереди открытое, никем не защищенное пространство»... С уходом матери впереди

действительно никого больше не было, теперь он сам вышел на первый рубеж, и это было главным».

Какой «первый»? Странно это — и не для одного, вероятно, Василия, — ведь немощная старуха, выходит, тоже занимала этот первый рубеж, «защищала» и его? От чего? От манящей глубины какого пространства, какой безвозвратной дали?

Неожиданно, в воспоминаниях о детстве, о послевоенной весне, когда подорвался на мине старший брат Костя, всплыла подробность, забывшаяся до этого: «Она (мать. — *В. Ч.)* не отрывалась от невероятно белого, какого-то мраморного, почти светящегося лица старшего. И ни сын, ни мать ни на что больше не обращали внимания; они сейчас не могли нарушить той последней и нерасторжимой связи, что установилась между ними незримо для других, и для них существовала и была важна только эта последняя связь...»

Василий, испытав в час похорон удивительное единение с былыми поколениями, поняв, что «и землю, и небо, и ракиты, и ветер, и его самого соединял в одно целое какой-то один ток, один непрерывный согласный звук», не смог примирить с этим ощущением досаду от торгашеского предложения: продай, мол, избу на дрова или начинай пускать дачников... Он ищет ответа на иные вопросы. Когда вновь будут возрождены эти и другие деревни? Почему произошел такой отлив людей в города и далекие окраины страны? «Так уж распорядилась жизнь, такую дулю в этом повороте выставила...» И что толку спорить с такими приливами и отливами, сберегая пустой дом, с натугой преодолевая сопротивление иных детей, знать не желающих ни «корней», ни «истоков»?

Петр Проскурин в известной мере идет сходным путем раздумий, исканий, чуждым и ностальгии по ушедшему, и вздохам у кладбищенской ограды, который пройден в поэтическом творчестве таким певцом деревни, как Сергей Викулов. Есть самое серьезное испытание для любого явления — испытание будущим. Это испытание определит, что́ уцелеет, что́ исчезнет из былого уклада. И для лирического героя Сергея Викулова и для героя повести П. Проскурина это испытание будущим важнее всех сладостных видений из мира детства. Чтобы «остаться», надо часто «уйти», чтобы «сохраниться», надо непрерывно «изменяться»! Наука трудного постоянства в любви к Родине сложнее однозначных заклинаний, призывов к верности статичным и уже устаревшим кумирам.

...Жизнь, она и впрямь — река:
не через леса течет и долы —
через горы и через века.
Шире, шире все ее владенья,
ей границы старого тесны:
затопляет берег промедленья,
подмывает берег тишины,
остров страха, желтый мыс застоя...
Супротив теченья той реки
выгребать — занятие пустое,
только намозолишь кулаки...

(С. Викулов)

Юность, этот чудесный период человеческой жизни, во все времена знала множество опекунов. Идеальность прекрасных порывов, богатство надежд, устремленных в будущее, сама ее непрактичность, без которой скучны и однообразны сухие практики, — все рождало к ней, к юности, не возрастному этапу, а состоянию души, напряженнейшее внимание художников-гуманистов.

Александр Герцен, долгие годы проживший вдали от родины, с грустью писал в «Былом и думах» о том, как уродливо тратится энергия юности в мире приобретательства, нравственного измельчания: «Большая часть французской молодежи отбывает юность артистическим периодом, то есть живет, если нет денег, в маленьких кафе... в нем (этом периоде. — *В. Ч.)* наскоро и довольно мизерно тратится сила, энергия, все молодое — и человек готов в приказчики торговых домов. Артистический период оставляет на дне души одну страсть — жажду денег, и ей жертвуется вся будущая жизнь...»

Замечал он и иные формы прожигания, разбазаривания замечательной энергии юности и приходил к выводу: «Я считаю большим несчастием положение народа, которого молодое поколение не имеет юности...»

Советской литературе — и повести Петра Проскурина свидетельствуют об этом — дорог молодой герой, который активно и целеустремленно, не боясь мнимого прозаизма и обыденности своих дел, не обращаясь к риторике и словесному украшательству, отдает все души прекрасные порывы великим делам, историческому по смыслу созиданию будущего. «Зов вершин» — так назвал цикл своих стихотворений Петр Проскурин.

Как бесконечно тяжек зов вершин
С их тайной, вечно скрытой облаками!
Зачем же ты на этот зов спешишь
С обугленными жаждою губами? —

писал автор «Судьбы» и «Имени твоего», словно обращаясь к своим же юным героям. Эта «спешка» неостановима, прекрасна. Зов вершин — это и неосознанное, не сформулированное вначале влечение молодых героев к подвигу, к яркому свершению. Это и осознание ответственности за судьбы наследия отцов и дедов. Это и дерзость первооткрывателей, шагающих за еще нераспознанную грань будущего.

●

НАШЕ ОБОЗРЕНИЕ

СИМВОЛ ЗРЕЛОСТИ

Творчество Алима Кешокова давно и прочно заняло одно из важных мест в многонациональной советской литературе.

Каждое новое произведение Кешокова читатели встречают с большим и оправданным интересом, основанным на авторитете глубоко мыслящего художника, который писатель приобрел своими книгами.

В романе «Грушевый цвет» писатель, как и раньше, остается верным своему родному краю и его замечательным людям.

Время действия романа А. Кешокова — последние годы Великой Отечественной войны, ставшей великим испытанием не только обороноспособности нашего молодого государства, но и самой серьезной проверкой прочности братских уз между народами и национальностями нашей страны. Хотя фашистские полчища и недолго пробыли на Северном Кавказе, память об этом страшном времени еще жива. Еще не зажили раны, полученные на фронте, еще не выплаканы слезы вдов, матерей, детей.

Глядя из сегодняшнего дня на уже далекие от нас события, писатель старается понять и с помощью художественных образов донести до читателя их неповторимое своеобразие во всей полноте.

Время испытаний тем и характерно, что здесь человек полностью раскрывает все свои способности, все свои возможности. Предельная обнаженность человеческих чувств и отношений вместе с тем усложняет задачу писателя, который обязан суметь отделить в человеческом характере подлинное от временного, рожденного суровыми условиями военного времени.

Показывая нам жизнь своих земляков во всем ее многообразии, основываясь на живых примерах и прототипах, писатель одновременно

А. Кешоков. Грушевый цвет. Роман. — «Октябрь», 1980, № 7—8.

стремится и к широким обобщениям, которые позволяют судить не только о кратком периоде из жизни одного района, но дают возможность составить представление о народе, о путях его развития под руководством партии.

А. Кешоков выразительно рассказывает, как рядовые члены партии активно борются за восстановление народного хозяйства, за укрепление трудовой дисциплины, доказывая, что единственной заботой партии и ее верного помощника — комсомола является народное благо, счастье каждого советского человека.

Доти Кошроков, главный герой «Грушевого цвета», бывший полковой комиссар, возвращается в родные края после тяжелого ранения, но не об отдыхе и покое он мечтает. Высокое звание коммуниста накладывает отпечаток на его дела.

Получив задание ехать в один из отдаленных уголков Кабарды, чтобы помочь населению собрать без потерь урожай, герой романа Кешокова, активно выполняет его, потому что хлеб нужен прежде всего фронту.

Опираясь на сознательность населения и местных коммунистов, герой романа в самых сложных ситуациях находит правильные решения, помогающие ему выполнить далеко не простое задание.

Не приукрашивая действительности, писатель показывает своего героя в столкновении с людьми и явлениями, противоречащими нормам морали советского общества. Кошроков способствует разоблачению тех, кто за звонкой, но пустой фразой прячет свое равнодушие к государственным интересам и жизни тружеников, отдающих последнее для победы над врагом. Вступая в открытый конфликт с очковтирателем Чоровым, Кошроков не боится обвинения в политической слепоте или нежелании подчиниться партийной дисциплине. Он уверен, что правда всегда на стороне тех, кто трудится не за страх, а за совесть, кто заботится не о личном своем благополучии, а об общем народном деле.

Прослеживая судьбы двух этих людей, писатель не торопится выносить окончательные приговоры. К тому же Чоров далеко не так прост, он умело прячет свой эгоизм, трусость, свои чисто корыстные интересы за «правильными» словами.

Конфликт романа «Грушевый цвет» осложнен еще и тем, что действие его происходит в стране с древними и прочными обычаями, регулирующими отношения между людьми разных поколений, между женщинами и мужчинами, между отцами и детьми. Уделяя достаточно много места национальным кабардинским традициям, Алим Кешоков подходит к ним с объективных позиций, четко отделяя правильные и нужные, помогающие людям жить, от вредных, отживающих, мешающих становлению новых отношений между людьми.

Ничего нельзя, например, возразить против обязательного у горцев почтительного уважения старших по возрасту, оказания им заслуженного внимания и в простой беседе, и за праздничным столом, и в любом другом деле, где необходимы их мудрый совет и непосредственная помощь. С другой стороны, пи-

сатель резко отрицательно относится к обычаям, принесенным мусульманским духовенством, вставшим во время оккупации на сторону врага.

Ярким примером к сказанному может служить случай с молодым председателем колхоза красавицей Апчарой, не побоявшейся пойти против религиозных обычаев, объявлявших свинью нечистым животным, прикосновение к которому считалось одним из самых больших грехов. Девушка, прекрасно зная, как отнесутся к этому ее односельчане, для пользы дела, для того, чтобы помочь своей стране в тяжелое время, решилась создать в своем селе первую в Кабарде свиноводческую ферму.

Апчара, воспитанная Ленинским комсомолом и всем строем нашей жизни, не боится нарушать те обычаи, которые мешают жить ее народу, мешают достижению скорейшей победы над общим врагом. Широко известно бесправное положение женщины в мусульманском мире, и Апчаре надо было проявить незаурядное мужество и твердую веру в свою правоту, чтобы пойти против обычаев и своей матери, решившей ее выдать замуж против ее воли.

Она отказывается стать женой искренне и сильно полюбившего ее Доти Кошрокова не из девичьего упрямства, а потому, что не хочет его обманывать, так как уже давно любит другого человека...

Жизнь сложна, она находится в постоянном движении, не давая человеку остановиться, успокоиться на достигнутом. А. Кешоков, не отрываясь от будней своих героев, менее всего занят простым бытописательством и умело наводит читателя на глубокие размышления о происходящем. Содержание романа «Грушевый цвет» гораздо шире тех конкретных событий, которые происходят в Чопракском районе.

Глубокий смысл самого заглавия романа объясняет на первых же страницах Доти Кошроков: «Грушевое дерево — символ зрелости плодов, благополучия, символ радостного мирного труда». Вполне естественно, что людям, живущим среди щедрой природы Северного Кавказа, свойственно поэтическое восприятие окружающего их мира. Писатель, чувствуя неразрывное единство со своим народом, хотел сказать нам своим романом, что дерево народной жизни каждой новой весной будет расцветать еще сильнее.

Давно уже залечены раны, нанесенные нашей стране фашизмом, еще краше стала наша земля, любовно возделываемая руками ее законных хозяев.

И то, что искусство постоянно напоминает о жертвах, которые принесли наши народы ради общей победы, говорит о том, что тема эта еще до конца не исчерпана и каждое новое произведение добавляет новый штрих, новую черту в ту величественную картину, которую мы называем нашей историей.

Роман Алима Кешокова, его герои надолго запомнятся читателям не только цветущей Кабарды, но и всей нашей многонациональной страны, уверенно идущей к новым победам.

Л. ВУКОЛОВ

НА ПУТИ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

Статьи, собранные в книге критика и литературоведа Ю. Прокушева, писались на протяжении почти четверти века. Они охватывают путь русской поэзии от Пушкина до наших дней.

Книга Ю. Прокушева может быть отнесена к тем работам, которые, исследуя художественное и идейное содержание литературных произведений, стремятся определить их значение для духовного мира современника. Книга состоит из трех разделов, посвященных трем периодам развития отечественной поэзии.

Первый раздел посвящен нашей классике — русской (Пушкин, Некрасов, Никитин) и советской (Демьян Бедный, Блок, Маяковский, рабочие поэты Октября). Трудность подобного подхода в том, что анализируются здесь поэты очень разные — и по вкладу в сокровищницу русской литературы, и по степени таланта, по складу судеб. Но объединяет их гуманистическая суть творчества, человечность, утверждаемая ими, передовые идеи, направлявшие их перо. Автор книги стремится подчеркнуть прогрессивное начало в каждой писательской судьбе. В этой связи хочется остановиться на статье, посвященной Ивану Саввичу Никитину. Положение его в истории русской поэзии знаменательно. Юрий Прокушев, давний исследователь Есенина, не мог не обратиться к творчеству этого поэта-демократа, сочетавшего в стихах чуткое чувство красоты родной природы, уважение к труду земледельца и стремление к улучшению его жизни. Эти мотивы, совершенно иначе выраженные, проявились впоследствии и в поэзии Есенина.

Ю. Прокушев стремится сразу же определить место воронежского поэта в развитии прогрессивной русской культуры — показать истоки высокой его духовности: «Творчество Никитина вобрало, впитало в себя очень много из того, что было истинно гуманного, истинно народного в русской поэзии, — от «Слова о полку Игореве» до Пушкина. Пушкин, Лермонтов, Кольцов каждый по-своему стали той высочайшей нравственной точкой отсчета, с которой неодолимо и дерзко поднялся к вершинам духовной свободы, преодолевая огромные нравственные перегрузки действительности, могучий и прекрасный сокол русской поэзии, каким был и останется для нас Иван Саввич Никитин».

Останавливаясь на основных темах поэзии Никитина — теме родины, теме гражданского подвига во славу ее, протеста против рабства, сострадания угнетенным, — автор книги отмечает, что поэт испытывал порой минуты отчаянного одиночества, когда ты и «другим не нужен, и себе-то в тягость». Что же поддерживало его в эти минуты? Не только ростки нового, упорно пробивавшиеся сквозь грязь повседневности, не только вера

Юрий Прокушев. Время. Поэзия. Критика. М., «Художественная литература», 1980.

в свое жизненное предназначение, в свой поэтический дар. Само отчаяние становилось предметом поэтического осмысления, становилось темой стихов — и словом побеждалось, преодолевалось, эстетически и этически осваивалось. Можно увидеть в этом соответствие будущим мучительным метаниям Есенина, который путем своеобразного поэтического очищения преодолевал тяжелые душевные конфликты, порожденные переломной эпохой.

Используя собранные нашим литературоведением факты, Ю. Прокушев говорит в первой части книги о величии поэзии, о ее гуманизме, ее служении передовым идеям общественного прогресса, утверждает преемственность прогрессивной линии русской культуры.

Казалось бы, речь в этом разделе идет о ценностях несомненных, об оценках устоявшихся, о репутациях неколебимых. Но ведь некоторые статьи, включенные в этот раздел, были написаны автором еще в 50-е годы, и они сыграли свою роль в становлении бесспорности сегодняшних концепций. Включенные в книгу работы Ю. Прокушева пятнадцати-двадцатипятилетней давности свидетельствуют о выверенности его творческого пути, о том, что движение времени оправдало его оценки.

И конечно же, полностью эта мысль относится ко второму, главному разделу, посвященному творчеству Есенина. Ю. Прокушев был в первых рядах того отряда литературоведов, который взял на себя благородный труд заново открыть народу богатства поэзии Сергея Есенина. Этот процесс проходил далеко не просто, в преодолении наносных веяний. Возвращение творчества Есенина широкому читателю — это составная часть, показательная черта процесса формирования социалистической культуры.

Особое впечатление оставляют страницы, посвященные детским и юношеским годам великого поэта. Здесь Ю. Прокушев показывает себя неутомимым собирателем фактов, этого «хлеба науки». Со сколькими близкими, земляками Есенина успел переговорить исследователь! Именно его прозорливость позволила сохранить многие драгоценные свидетельства. Безыскусные рассказы о детских шалостях, о простой трудовой деревенской жизни, о еще наивных духовных исканиях отрочества, о раннем признании со стороны чутких наставников... Они делают поэта ближе нам, по-человечески понятнее, дороже — он предстает таким простым, ясным, не отдаленным от нас величием таланта. Читаешь эти страницы и понимаешь: именно так и тогда формировалась суть человеческого, суть творческого характера Есенина.

Следуя своей целостной концепции творчества Сергея Есенина, Юрий Прокушев и дальше прослеживает его жизненный и творческий путь, вовлекая в исследование все доступные факты, характеризующие светлые, прогрессивные стороны характера, творческие устремления молодого поэта.

Как и следует ожидать от книги о литературе, это и книга о жизни. Многие страницы, многие эпизоды вызывают читателя на размышления, с одной стороны, об общих путях развития культу-

ры, с другой — о явлениях сегодняшней действительности. Конечно, ряды таких ассоциаций у каждого свои, зачастую, может быть, произвольные и прихотливые. Для меня, например, очень значимыми стали страницы, посвященные литературному дебюту Есенина.

Видимо, можно сказать. что молодой рязанский поэт пришел вовремя. Память о великом брожении крестьянских масс в первой русской революции была еще свежа, и деятели культуры пристально всматривались в столь далекий, столь непонятный для них лик народа. Очень ясно показывает это переписка Александра Блока с Николаем Клюевым, сохранившаяся часть которой полностью опубликована лишь в наши дни.

Позже Есенин сам, по воспоминаниям одного из друзей, перечислял всех, кто ввел его в литературу, — среди них и Городецкий, и Горький... Однако был еще один пласт, который поначалу питал творчество Есенина, как питает чернозем пронзающий его зеленый росток. Речь идет о литераторах, в круг которых Есенин вошел еще в Москве в период учебы в Университете Шанявского.

Плохие писатели есть всегда. Литература представляется нам в виде пирамиды или ступенчатой башни. Много написано о том, как вступает в литературу новичок. Гораздо меньше — о том, как преодолевает он нижние ступени, прежде чем займет подобающее ему место.

К творчеству малоталантливых литераторов мы обращаемся как к свидетельству каких-то переломных событий эпохи либо изучая среду, из которой вырос литературный гений (поэтому сравнительно хорошо изучено салонное стихотворство конца XVIII — начала XIX века — предпушкинский период). В первые годы XX столетия демократическое искусство было представлено не только огромной фигурой Горького, но и десятками других имен. Таков, скажем, Скиталец, а также многие другие, известные лишь дотошным историкам литературы. Своим творчеством они знаменовали брожение масс, которым революция откроет широкий путь к созданию новой культуры. Поэты-шанявцы, участники Суриковского кружка по мере своих талантов стремились высказать то, что было на душе простого человека из народных низов. Они были тесно связаны с социал-демократическим движением, призывали на борьбу за прогрессивное переустройство общества.

Период революции стал для Есенина периодом жаркой творческой активности, быстрого взлета на высоты мастерства. Ведя разговор о произведениях поэта 1917—1918 годов, Ю. Прокушев точно определяет их место в наследии Есенина. Да, они интересны как сиюминутные свидетельства удивительной исторической эпохи. Да, они знаменательны, как поиски небывалого языка для рассказа о небывалых событиях. Но собственно поэтические их достоинства, взывающие к сердечному чувству читателя, не так уж велики. Должно было пройти время, должны были свершиться серьезные перемены в судьбе поэта, чтобы он смог зрело

изобразить эпоху «Октября и Мая».

Рассказ о жизни Есенина, о литературных схватках, об искусе имажинизма, кажется, движут сами его лирические стихи, бессмертные строки, находившие, несмотря ни на что, мгновенный отклик в сердцах читателей. Обретение новых высот, шаги в освоении ленинской темы — трудно найти в мировой поэзии подобный невероятный творческий взлет — и вот безвременная гибель... Написанные ярко, с нескрываемой любовью к поэту, эти страницы, эти главы занимают одно из центральных мест во всей советской Есениниане.

«Я сердцем никогда не лгу», — сказал о себе Есенин. Вот это нелгущее сердце, вот эту предельно искреннюю поэтическую душу и стремится постичь исследователь. Тонкий анализ стихов, привлечение широкого круга фактов, изучение прессы, позднейших мемуаров, беседы с близкими поэта — все это дало возможность создать запоминающийся образ великого народного певца, который еще на заре Советской власти задал высокую ноту всей последующей поэзии.

В заключительном разделе книги собраны статьи, посвященные Василию Федорову, Сергею Васильеву, Ярославу Смелякову, Леониду Мартынову, Ювану Шесталову, Эдуарду Асадову, Егору Исаеву. В контексте книги этот раздел читается как единое целое, как панорама современной советской поэзии. Особую теплоту этим статьям придает то обстоятельство, что автор лично знаком со всеми своими героями, черты их человеческого облика и особенности поэзии возникают на страницах книги в органичном единстве. В центре внимания Ю. Прокушева — жанр поэмы, к которому плодотворно обращались рассматриваемые поэты. Выделяя черты индивидуального стиля каждого, автор опять же стремится подчеркнуть значение их творчества, показать их место в культуре нашего времени.

Название книги Ю. Прокушева «Время. Поэзия. Критика» прочерчивает путь двойного отражения: как поэзия отображает картину времени, так и критика стремится разобраться в основных ценностях, созданных поэтами, чтобы, в свою очередь, понять сегодняшний мир. Время меняет поэзию, уточняет взгляды критиков. Но великие ценности поэзии времени неподвластны. Так же как и главные концепции, выработанные нашей критикой. Неся в себе черты времени, они приобретают значение свидетельства, ценного на долгие годы.

Леонид АСАНОВ

СТАНОВЛЕНИЕ

Уже в самом названии первой книги молодого прозаика Сергея Луцкого легко угадывается скупая и четкая интонация армейской лексики. Это не случайно, ибо произведения писателя знакомят нас с героями, для которых опыт

армейской службы стал немалым нравственным опытом. Обращение к жизни современной армии интересно и примечательно у С. Луцкого тем, что автор исследует важные проблемы гражданского и морального становления личности.

Герой повести, давшей название всей книге, Виктор Мостовой, отслужив полтора года в ракетных войсках, едет на побывку домой и на десять суток возвращается к «гражданской жизни». Однако военная форма меняет героя не только внешне. И дело не в том, что, очутившись в родных местах, он не спешит сбросить ее. Мостовой, как это достаточно убедительно показывает писатель, всякий раз проверяет себя, «доармейского», собой нынешним, повзрослевшим.

Виктор Мостовой — характер сложный и противоречивый, не укладывающийся в привычные представления о солдате-отпускнике — пареньке незамысловатом, простом, думающем лишь о «воскресном увольнении, дэпэ у знакомого повара и мировом фильме с артистом Ильинским в главной роли». Виктор довольно остро реагирует на окружающее, трудно прощает обиду, способен на глубокие оценки. С. Луцкий далек от мысли показать нам статичного героя с набором истин на все случаи жизни. Мостовой тем интересен, что много еще в нем юношеского нигилизма. Вот, не задумываясь, он бросается спасать ребятишек, тонущих на льдине, а потом наедине с собой мучительно страдает от разъедающей душу самоиронии: «Думать о том, что произошло возле реки, было до невыносимости стыдно... Вдруг с пронзающей ясностью понял, как... выглядело все это со стороны: среднестатический солдат с риском, конечно, для жизни спасает среднестатических детей... От таких мыслей становится так неловко, что пресекалось дыхание». Не сразу обретает Мостовой веру в действительные жизненные ценности. Нравственно взрослея, он постепенно выпрямляется внутренне, приходит к пониманию необходимости быть самим собой. «Я постоянно стесняюсь, — признается он, — боюсь быть естественным, боюсь делать простые хорошие вещи — господи, они мне кажутся пошлыми! Только лишь потому, что кто-то их делал уже до меня, а близорукие, неумные люди из мелконьких своих интересов сумели засалить и изгадить их...»

Становление героя С. Луцкого происходит в столкновении с привычным и близким ему. В этом смысле интересна сцена в гостях у закадычного дружка Вовки Майстрышина. Здесь Виктор раскрывается как человек, активно не приемлющий пошлого, легкого и бездумного отношения к жизни. Эпизод с Анатолием — слепым братишкой Володи, даст возможность увидеть, как в характере Виктора ощущение чужой боли перерастает в активное стремление помочь, заслонить, защитить... Он солдат, а значит — защитник. Эта черта особенно привлекательна в герое С. Луцкого. Здесь он внутренне уже определяется в своей жизненной позиции.

Мы расстаемся с героем повести в тот момент, когда он

С. Луцкий. Десять суток, не считая дороги. Повесть и рассказы. М., «Современник», 1980.

делает выбор в своей жизни, решая поступать в военное училище. Предопределенность именно такого шага обусловлена логикой развития характера. И недаром в конце своего отпуска Виктор вместе с отцом едет в село, где тот родился. Цель их поездки вроде бы совсем прозаическая: надо помочь бабушке вскопать к весне огород. Однако именно здесь придет к герою пронзительное чувство родной земли, своих корней, без которых человек, что «хата без хозяйки, немая и неприкаянная, будто потеряла свою душу...».

Движение героя к гражданской и нравственной зрелости в значительной мере ускорено и обусловлено теми качествами, которые он обрел в армейском коллективе. С. Луцкий подводит нас к этой мысли, умело чередуя в композиции повести главы, повествующие об отпускной жизни Виктора с эпизодами его армейской жизни. Интересен в этом отношении образ капитана Шведа — любимого командира Виктора: «В жесткой армейской определенности это был, пожалуй, единственный человек, к которому Виктор, нежная душа, подходил без опасения за свое самолюбие. Ему даже казалось порой, что он сильней и неуязвимей капитана, и он был благодарен ему за то, что тот не кричит и не пыжится, хотя имеет на это все права. Виктор чувствовал в капитане родственную душу и был готов для него на все». Встреча с человеком, сознательно подчинившим себя воинскому долгу (в душе художник, капитан редкие минуты досуга проводит за мольбертом), — откровение для Виктора, у которого, как он сам считает, жизнь пока «складывается совсем не так, как мечталось раньше». Рассказывая о буднях современной армии, не впадая в риторику, автор сумел показать действительную романтику повседневного и нелегкого ратного труда.

Однако, читая повесть, сочувствуя и сопереживая Виктору, ловишь себя на мысли, что рисуемая автором сложность мировосприятия молодого героя в иных местах неоправданно преувеличена. Не только Виктор порой слишком любуется собой, таким умным и сложным, но и автору, к сожалению, изменяет здесь чувство меры. Так, чуть-чуть свысока глядит Виктор на пожилого таксиста, относящегося к нему с «грубоватым добродушием»: «Не всегда это было ему приятно, но он понимал людей, видящих в нем и его друзьях, во всех солдатах вообще свою румяно-щекую юность...» Чуть-чуть торопится он оттолкнуть от себя своего закадычного дружка Вовку Майстрышина, слишком поспешно причисляет его к рангу людей недалеких, пустых и пошлых. Огорчает и некоторая торопливость финала повести, не дающая герою времени осознать себя в новых связях с миром. Автор словно опасается, что решение, принятое Виктором Мостовым, обеднит его образ, лишит присущей ему сложности и внутреннего обаяния.

Герои рассказов, помещенных в сборнике, по пытливости и широте устремлений, да и по возрасту сродни Виктору Мостовому. Они не приемлют готовых истин, социально активны и упорны в своем стремлении сердцем постичь закономерность извечных законов жизни, высоких нравственных проблем. Таковы Ленька, герой рассказа

«В тринадцать лет», Ваня из рассказа «Ванюша», Коля Синьков из рассказа «Коля-Николай». Правда, и здесь автор иной раз подменяет действительную психологическую сложность умозрительностью, некоторые ситуации грешат надуманной многозначительностью (рассказы «Что же он знает?», «Ясная жизнь»). Но в целом книга запоминается лучшими страницами, а их в сборнике немало. С. Луцкий, мне думается, нашел свою тему и своего героя, не только размышляющего, но и действующего, переживающего второе, гражданское свое рождение.

Татьяна МАРУСЯК

ЖИВАЯ ДУША ПРИРОДЫ

Книга В. Пескова «Лесные глаза» ведет нас по родной земле, по ее заповедным лугам и по тайным лесным тропинкам, предлагая пристальнее вглядеться во все, что нас окружает. Мы перелистываем страницы и радуемся вместе с автором сенокосам и листопадам, разливам рек, первому снегу и первым ландышам. Радуемся встрече с природой, встрече со всем живым.

Книга состоит из публицистических очерков и ряда небольших лирических миниатюр о природе и человеке.

Продолжая пришвинские традиции, В. Песков поэтично повествует о нерасторжимой связи природы и человека.

Не всегда люди помогали природе, часто бесцеремонно и незванно вторгались в ее мир. Даже сегодня, уже почувствовав возможность экологической катастрофы, мы не всегда хозяйничаем разумно. В. Пескову приходится приводить печальные тому примеры.

В очерке «Речка моего детства» В. Песков рассказывает о маленькой речушке Усманке. Усманка почти совсем пересохла, потому что вырубили вокруг леса, а ведь она главный приток славной реки Воронеж, на которой строился когда-то русский флот и по которой шли на Азов русские корабли. Сейчас по реке Воронеж и лодка не везде пройдет. Исчезают травы, кустарник, гибнет соседний лес...

Тысячи лет воздух был чистым, воды текли прозрачные, и человек верил в великую тайну, охраняющую его душу, его природное начало.

В XVIII веке человечество произвело промышленный переворот, который за следующий век подготовил стартовую площадку для невиданного по своим масштабам и скорости взлета технического прогресса.

Человек приносил разрушения природе, но земля в состоянии была залечивать раны. Сегодня же мы в огромных количествах выкачиваем богатства природы, заполняя образующуюся пустоту горами ядовитых отходов разных

Василий Песков. Лесные глаза М., «Советская Россия», 1979.

отраслей промышленности. Оказалось, что, придумав новые вещества, мы забыли позаботиться о том, чтобы они, попав в землю, вернулись к нам обратно.

«Взнуздав химию, человек уподобился всаднику, вскочившему на дикую норовистую лошадь. Чуть ослабил поводья — лошадь может скинуть и растоптать. Значит, очень крепкой должна быть узда и очень бдительным должен быть всадник», — пишет В. Песков.

Большая трагедия произошла под Ярославлем, где слишком ретивые хозяйственники умудрились отравить химикатами целый лес со всей его живностью: лосями и всякими мелкими зверьками и птицами. И это не единичный случай. На полях, полизав удобрения, гибнет много «братьев наших меньших». Пытаясь уничтожить одного мелкого врага, какого-нибудь жучка, мы посыпаем инсектицидами целый лес и губим друзей, а враг появляется снова, вооруженный невосприимчивостью к нашему яду.

Не раз предупреждали человечество о грозящей опасности прозорливые умы. На каждом шагу факты напоминают нам о том, что мы отнюдь не властвуем над природой, что мы, наоборот, нашей плотью и кровью принадлежим ей. Об этом сто с лишним лет назад писал Ф. Энгельс.

Слишком велик долг человечества перед природой. И сейчас она предъявляет счет.

Не пора ли нам перестать называть себя властелинами и покорителями, а быть просто друзьями всему живому? Прав был мудрец, сказавший, что «подчинить себе природу можно, только подчинившись ей».

Мещерский тракторист, например, рассказывал Василию Пескову: «Вы вот с птицей имеете дело, а знаете ль — журавлиные перья счастье приносят... Да нет, я серьезно... Было двенадцать лет. Отец сказал: «Ищи, Алешка, перо журавлиное. Только стрелять не моги. Надо, чтоб сам потерял». А журавли, известное дело, редко перо теряют. «Надо пораньше вставать. Перо дается в руки, кто видит, как поднимается солнце», — внушал отец. Стал подниматься до солнца. На утренних зорях и птицы и рыбы веселят душу. Узнал, как начинаются речки в лесу, как ночью сову подманить, узнал названия мещерских трав и однажды разыскал гнездо на болоте. Там лежали яйца и два журавлиных пера. «Ну, береги. Теперь ты счастливый...» — засмеялся отец».

Везло с тех пор трактористу. А может быть, везло бы и всем людям, если бы они сохранили хоть частицу этой наивной, светлой веры в счастье?

Во всем потоке экологической литературы главным остается один вопрос: что будет с человеком при таких бешеных темпах изменения окружающей его среды? Но разные ответы дают книги. В отличие от пессимистично настроенных буржуазных авторов, наши ученые и писатели доказывают, что новые общественные отношения способны соединить интересы природы и человека.

В. Песков известен как писатель, эколог, натуралист. Документальность — неотъемлемая черта его творчества. Но публицистическую заострен-

ность его очерков, надо надеяться, будущее снимет. И это, наверно, для всех станет самым желанным результатом. Пусть ни у кого в будущем не станет поводов писать о бедах природы. Но навсегда останется другая черта книг В. Пескова — та особенная теплота задушевности и поэтичности, которая позволяет говорить о продолжении автором лучших, гуманистических традиций советской литературы. Останется память о людях, для которых боль живого вокруг — их собственная боль.

Природа сама позаботилась о том, чтобы мы не забывали о кровном родстве с нею. В каждого из нас вложила она зерно глубокой нравственности. И какое развитие оно получит, зависит от общества, зависит от нас самих. Об этом и напоминает нам книга Василия Пескова.

Светлана ФЕДОРОВСКАЯ

Первая и четвертая страницы обложки журнала: фотографии Л. Шерстенникова и АПН к материалам «В памяти навсегда», публикуемым в «Товарище» (стр. 170).
Рисунки в номере художников Л. Белова (стр. 9, 127 и 230) и В. Халютина (стр. 44).

Главный редактор **Анатолий ИВАНОВ**

Редакционная коллегия: **Валерий ГАНИЧЕВ, Вячеслав ГОРБАЧЕВ** (заместитель главного редактора), **Владимир ГРОШЕВ, Нодар ДУМБАДЗЕ, Александр ИГОШЕВ** (ответственный секретарь), **Борис ЛЕОНОВ, Михаил ЛОБАНОВ, Борис ОЛЕЙНИК, Петр ПРОСКУРИН, Иван САВЕЛЬЕВ, Владимир СЕМЕНОВ, Владимир СОЛОУХИН, Иван УХАНОВ, Василий ФЕДОРОВ, Владимир ФИРСОВ, Вячеслав ШУГАЕВ, Виктор ЯКОВЕНКО** (первый заместитель главного редактора).

Художественный редактор В. Недогонов

Технический редактор Н. Строева

Сдано в набор 04.04.81. Подп. в печ. 22.05.81. А09761.
Формат 84×108 1/32. Печать высокая. Условн. печ. л. 16,8.
Уч.-изд. л. 21,4. Тираж 872 500 экз. Цена 60 коп. Заказ 462.
Типография ордена Трудового Красного Знамени
изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

Переносный стереофонический транзисторный двухскоростной четырехдорожечный сетевой магнитофон II класса «САТУРН-202-СТЕРЕО» обеспечивает высококачественную запись стерео- и монофонических музыкальных и речевых программ с последующим воспроизведением записи через выносные громкоговорители или стереотелефоны.

Предусмотрена возможность синхронной двухканальной монофонической записи и воспроизведения ее, автоматического останова при окончании или обрыве магнитной ленты, отключения магнитофона от сети через 2—3 минуты после срабатывания автостопа, а также световая индикация режима записи.

Система шумопонижения обеспечивает значительное уменьшение уровня помех при воспроизведении записи. Приводной пульт дистанционного управления позволяет производить управление магнитофоном на расстоянии. С помощью счетчика ленты можно быстро находить необходимые записи и определять расход ленты.

Желаемый тембр звучания устанавливается при помощи раздельных регуляторов тембра по высшим и низшим звуковым частотам.

Стоимость магнитофона 500 руб.

ЦКРО «РАДИОТЕХНИКА»

54

Цена 60 коп.
Индекс 70544